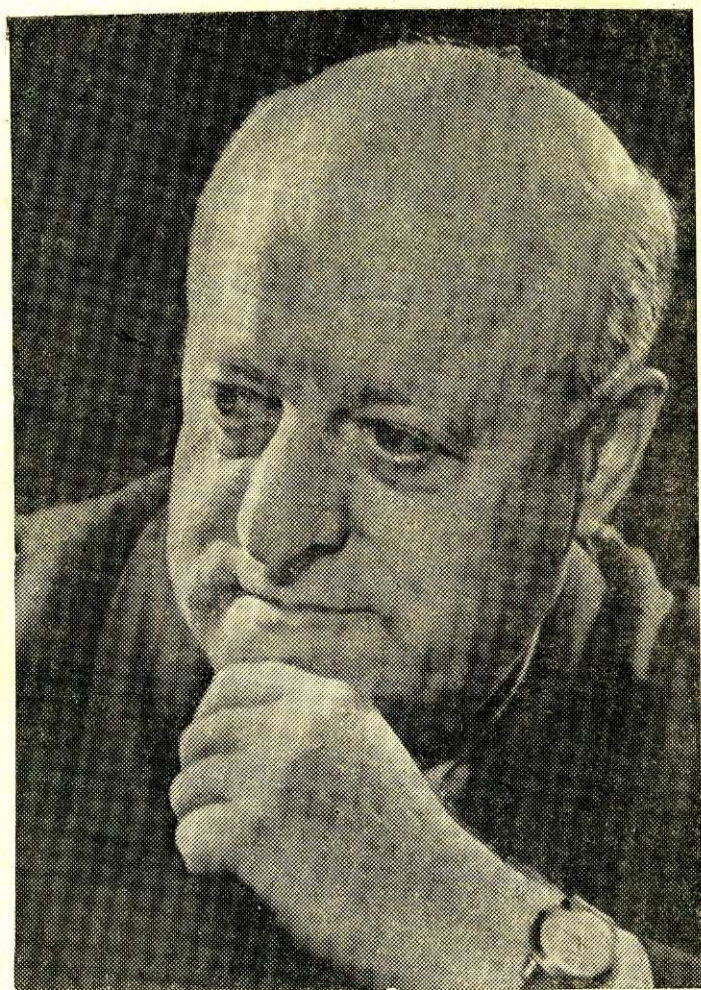




24(2)55-6Евр/6

М 604

БОРИС МИЛЛЕР



ЯСНОСТЬ

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ
НОВЕЛЛЫ

Перевод с еврейского

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА • 1974

КОЛЛЕКЦИЯ
КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Биробиджанская областная
научная библиотека
им. Шолом-Алейхема
СЕКТОР НАЦИОНАЛЬНО-
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

12648

На дальневосточной земле, среди новостроек первых пятилеток, известен и город Биробиджан — центр Еврейской автономной области. Борис Миллер, один из старожилов области, в повести «Ясность» и во многих рассказах показывает людей, с энтузиазмом осваивающих Дальневосточный край. Среди героев повести мы видим и Эммануила Казакевича, жившего в начале тридцатых годов в Биробиджане и здесь начавшего свой путь в большую советскую литературу.

Произведения, собранные в этой книге, отличаются глубоким социальным оптимизмом, любовью к людям, которые трудом своим преобразуют землю.

© Перевод на русский язык, издательство «Советский писатель», 1974 г.



ПОВЕСТИ



ЯСНОСТЬ

Глава первая

Не знаю, почему человек этот вдруг так ясно всплыл в моей памяти. Произошло это совсем неожиданно, потому что, как и множество других людей, событий, происшествий, он давно уже покоился под плотным слоем забвения, где-то на самом доньшке сознания. И вот через столько лет — всплыл. Воскрес из мертвых! И сразу будто пристал ко мне с сердитым упреком: «Неужто до сих пор ты не поведал обо мне миру?» Точно миру так уж необходимо знать о нем! Я пробовал отмахнуться от него — не отстает: расскажи!

Может, это в самом деле важно? Возможно, он и его история помогут кому-то лучше разобраться в некоторых событиях, которые еще и сегодня потрясают мир, раздираемый противоречиями и конфликтами.

Попробую рассказать.

Никогда раньше не приходилось мне встречать мужчину подобной красоты. Обычно принято говорить о красоте женщин. А о мужчине судят так: «Не урод — так и ладно!» Этот же человек выделялся своей какой-то совершенно исключительной красотой. Высок ростом, на голову выше самых высоких моих знакомых. Косая сажень в плечах, богатырская грудь. Густая светлая шевелюра, ниспадавшая на высокий чистый лоб, такие же светлые холеные усы и борода придавали нечто львиное всему его облику. Из светлого обрамления шевелюры, усов и бороды снисходительно и покровительственно поблескивали золотисто-карие глаза.

Знакомясь, я протянул ему руку и почувствовал — она утонула в его огромной ладони, как в мягкой, теплой подушке.

— Шолом Либкин, — пробасил он. Его низкий, бархатистый голос тайл, казалось, в себе то же очарование, что и вся его статная, мощная фигура.

Мы познакомились с ним в тот весенний вечер, когда пришли к Эммануилу домой. Очевидно, ради него и собрал нас Эмма, желая познакомить со своим новым другом.

Эммануил Казакевич, или, как мы его в своем кругу близких друзей звали просто, Эмка, только что вернулся из командировки в Москву и в некоторые западные области страны, куда он и другие ответственные работники ездили вербовать переселенцев для Еврейской автономной области.

Область была тогда еще очень молода. И двух лет не прошло с тех пор, как Михаил Иванович Калинин подписал постановление ВЦИКа об образовании Еврейской автономной области на базе Биробиджанского национального района. Молодая область нуждалась в людях. Вербовка новых переселенцев рассматривалась как важное партийное и государственное задание, доверяли его ответственным работникам и энтузиастам, подобным Казакевичу, которые приехали сюда первыми или почти первыми, перенесли и успели преодолеть немало трудностей и были уверены в том, что они делают важную работу не только для евреев-переселенцев, приехавших сюда или собирающихся приехать, но и для всей страны, для которой дальнейшее развитие Дальнего Востока имело большое и важное значение.

Командировка группы работников, среди которых был и Казакевич, увенчалась успехом: в Биробиджан шли два эшелона с переселенцами — один из Белоруссии, другой с Украины. Эммануилу предстояло провести некоторую работу на месте в связи с прибытием этих эшелонов, находившихся пока в пути, и он, пересев в Москве на скорый поезд, успел приехать в Биробиджан раньше их. Вместе с ним приехал и Шолом Либкин.

Либкин ехал сюда на тех же основаниях, что и другие переселенцы, но Эммануил взял его с собой в скорый поезд, так как сразу прикипел душой к этому человеку и, кроме того, хотел избавить его от тех неудобств, которые связаны с поездкой в эшелоне. Больше же всего ему хотелось, чтоб Либкин скорее прибыл в Биробиджан, познакомился тут с его, Казакевича, старыми друзьями и

вместе с ними впрягся бы в работу, а в работе он уже себя покажет! — в этом Эммануил не сомневался.

И вот на второй или на третий день после приезда Эмка и собрал нас, чтобы познакомить с Шоломом Либкиным.

Мы давно уже знали за Эммануилом одну его слабость: стоит ему встретить человека, у которого, как ему кажется, есть талант, неважно какой — литературный, музыкальный, артистический, — и он прикипает к нему, расхваливает перед всеми и жаждет, чтобы и другие относились к нему точно так же. Случалось, что Эммануил ошибался в некоторых своих кумирах, но это не мешало ему вскоре отыскивать новых, восхищаться ими и заставлять восхищаться других.

«Вот и еще один объект чрезмерных Эмкиных восторгов», — так мы, близкие друзья Эммы, не без иронии думали о Шоломе Либкине, до того еще, как нам пришлось его увидеть. Но, познакомившись с ним в тот вечер, мы единодушно пришли к выводу, что нет, на сей раз Эммануил, пожалуй, не ошибся. Он действительно познакомил нас с человеком незаурядным. Сама его внешность уже говорила о многом, но у этого человека были и другие достоинства, которые обнаружили в тот же вечер.

К нашей мальчишеской компании присоединилось на сей раз и несколько девушек. Среди них особенно выделялась Галя, высокая, стройная, с продолговатым, смуглым от загара лицом. Она работала в обкоме комсомола. Ее несколько суженные черные глаза таили в себе приглушенный блеск.

Отозвав Галю на кухню и указав на банки консервов и корзину с картошкой, Эмма сказал:

— Мобилизуй-ка девчат, и сделайте из всего этого какой-нибудь толк. Главное — чтоб была горячая картошка и рассыпчатая!..

Оглянувшись — не видно ли из другой комнаты? — Эмма крепко поцеловал Галю в щеку и, выбежав из кухни, громко объявил:

— Ребята, будет горячая картошка, да такая, что дым коромыслом!

Галя осталась стоять на кухне, как бы в чад. Щека ее пламенела. Но в следующую минуту она вихрем влетела в комнату и порывисто потянула за руки девушек, не спуская глаз с Шолома Либкина.

— Симка! Лилька! Пошли чистить картошку! — В голосе ее было столько восторга, точно она звала их совершить невесть какой подвиг...

Обе девушки без особого желания повиновались, и все три скрылись на кухне.

А тут пошло шушуканье:

— Либкин-то каков!

— До чего красив! А?

— Надо же!

— А фигура!

— А борода!

Лиля вдруг вспыхнула:

— Как вы думаете, девочки, если такой бородач да поцелует?... А?

— Мы этого никогда не узнаем. Наши мальчики не носят бород, — сказала Сима.

— Они и целоваться-то не умеют, — заметила Лиля.

— Ну, это они как раз умеют, — возразила Галя.

— Твой Эмка умеет — это мы знаем. Но вот мой Гиршке...

— Откуда ты знаешь, что Эмка умеет? — бросив спешный взгляд на Симу, спросила Галя.

— Ты думаешь, мы не видели, что у вас тут было, на кухне?

— Ладно, хватит! — смущенно перебила подругу Галя. — Давайте чистить картошку!

Лучше всех работа спорилась у Симы. Очистки беспрерывной тонкой лентой уходили из-под ножа, мелькая в ее ловких пальцах. При этом она весело напевала какую-то детскую песенку, притопывая в такт маленькой ножкой. Все, за что бы Сима ни бралась, она делала вот так — весело напевая и пританцовывая, и за это ее любили дети из младших классов, в которых она преподавала, любили коллеги по школе, за это любил ее и Гиршке.

Эх, Гиршке, Гиршке... Он был журналистом и поэтом. Журналистом был он неважным, его терпели в редакции только из уважения к его поэтическому дару, — но дар этот был незаурядный. А в жизни Гиршке был не мастак. Лишь с самым близким человеком, да и то не часто, мог он разговориться по душам. Невысок ростом, широк в плечах, одно плечо чуть пониже. Тонкий длинный нос как бы с любопытством тянется розовым кончи-

ком к широкому рту. Узкие зеленовато-серые глаза всегда таят какое-то нездешнее, задумчивое выражение. На правой щеке, под глазом, едва заметный шрам, еще с детства. . . Таков Гиршке — неважный журналист и одаренный поэт. Он был сейчас с нами. В шумной, сразу ставшей тесной комнате он по своему обыкновению отыскал самый укромный уголок и сидел там, незаметный, рассеянно-задумчивый, молчаливый. Но как только Галя увела за собой на кухню Симу и Лилию, он тут же встрепенулся и уже больше не спускал с кухни настороженного взгляда.

Гиршке давно уже был влюблен в Симу. Ему нравились ее ладная фигурка, легкость, чуть припухшие губы и большие черные, немного выпуклые, но очень красивые глаза — странные глаза, которые на маленьком смуглом личике Симы жили какой-то своей особой жизнью, со своими грезами, мечтами и тайнами. . .

Ах, будь у него хотя бы малая доля той уверенности в себе, что была у Эммануила! С тех пор, как Гиршке познакомился с молодой учительницей, он еще ни разу не говорил ей о своих чувствах и полагал, что ни она, да и никто другой об этом не догадываются. . .

Гиршке пришлось сегодня пережить несколько мало-радостных мгновений, когда он перехватывал восхищенные взгляды Симы, устремленные на Либкина. . . Подобное мог бы пережить и Эммануил, будь он в состоянии замечать в этот вечер что-либо еще, помимо того, что касалось его нового друга. Ни на минуту не отходя от него, он был готов исполнить каждое его желание. Это было мало похоже на Эмму.

Низкий, бархатистый голос Шолома Либкина, голос, который сам по себе мог очаровать любого, царил и властвовал в тесной от гостей и изрядно накуренной комнате. Он стал рассказывать о новом французском романе, недавно изданном в Париже.

— Роман этот, — с уверенностью говорил он, — новое слово не только во французской, но, пожалуй, и в мировой литературе.

Никто из его собеседников еще не слышал об этом романе? Жаль. Возможно, его еще не успели перевести, но конечно же это будет сделано — такой роман следует перевести на все языки. Откуда он-то о нем знает? Читал. В оригинале — да.

— Вы знаете французский? — спросил кто-то.

— Ну да.

— Откуда?

В ковненской гимназии, где он учился, этот язык преподавали. Ну, и потом он долгое время жил в Париже.

— В Париже? — удивилась Лиля.

— Да, в Париже, — повернувшись к ней, ответил Либкин. Ему понравилось наивное и восхищенное выражение ее красивого лица с милыми ямочками вокруг вишнево-сочного рта.

— Ну да, — повторил он, улыбнувшись ей, — в Париже.

Лиля, Сима и Галя опять были среди нас. Картошка уже варилась. И хотя на кухне еще оставалась работа, они явились сюда все трое, привлеченные чарующим голосом Либкина, а также необычностью того, о чем он рассказывал, и даже самой его манерой говорить.

Я перехватил взгляд Гали, брошенный сначала на Эммануила, затем на Либкина — они оба стояли у окна, — и в ее глазах я прочел нечто похожее на внезапный страх. Видимо, она невольно сравнила их и впервые, должно быть, увидела, что Эмма не так уж высок ростом, как ей до сих пор казалось, и не в меру худощав... Выпиравший у него кадык, наверное, тоже впервые сейчас бросился ей в глаза... Вот она, Галя, и испугалась... Но через минуту так же, как Сима и Лиля, опять не спускала восхищенных глаз с Либкина, вовсе забыв, что на кухне еще осталось немало работы.

Но тут вдруг последовала команда Эммануила:

— Девчата, на кухню! Хватит глазеть на Шолома! Вижу — понравился. Но вашим глазеньем он сыт не будет. Не так ли, Шолом?

— Как сказать, — ухмыльнулся Либкин в свою холерную бороду.

Девушки ушли на кухню, и вскоре туда к ним явился и Эммануил. Он пробыл там довольно долго, время от времени слышно было, как то одна девушка, то другая заливается смехом. Вышел он оттуда с таинственно-заговорщическим видом — что-то, значит, придумал!

Подойдя к комоду, Эмка порылся в нем и с видом факира, готовящегося показывать чудеса, крикнул:

— К трапезе славной да будут накрыты столы!

В тот же миг на столе засверкала белая скатерть, и вся комната, точно по волшебству, сразу празднично преобразилась.

Эммануил ударил в ладоши:

— А сейчас пусть принесут мясные блюда!

Из кухни показалась Сима. В одной руке она несла тарелку с нарезанной колбасой, в другой — тарелку с мясными консервами. Поставив оба блюда на стол, она отошла в сторонку.

— А сейчас да принесут рыбные блюда!

Лиля уже стояла на пороге кухни, в одной руке у нее было блюдо с нарезанной селедкой в белых кольцах лука, в другой — крабы. Она поставила то и другое на стол и тоже отошла в сторонку.

На цыпочках, осторожно, Эммануил приблизился к порогу кухни. Словно маг-волшебник, — стоит ему только взмахнуть палочкой, выйдет из пещеры царевна, — приказал:

— А сейчас да внесут — с пылу, с жару — картофель под горячим паром!

С огромной миской, над которой действительно клубился пар, появилась Галя.

— А теперь подавайте заморские вина! — скомандовал Эммануил и бросился сам выполнять свою же команду. Из укромного угла между стеной и шкафом он стал одну за другой извлекать бутылки и ставить их на стол.

Либкин наблюдал всю эту церемонию с восхищением, а увидев бутылки, приподнялся с места и чуть ли не со слезами взмолился:

— И мне... И мне дайте хоть что-нибудь принести!

— Ты же гость наш, — остановил его Эммануил, — тебя-то мы и собираемся потчевать...

— Но я не желаю больше быть гостем...

— Прекрасно! — воскликнул Эммануил. — Надо еще что нести, девочки?

— Надо, надо! — В тот же миг три девушки окружили Либкина и принялись усердно подталкивать его к кухне.

— Да они тащат меня, как дьявол праведника! — захохотал Либкин.

Эммануил никак не мог вспомнить, что же еще осталось принести из кухни. Но коль девушки говорят, значит, кое-что есть. Ему хотелось встретить Либкина каким-

нибудь двестишлем в рифму. Он не знал еще, к чему подбирать рифму, но знал, что рифма будет. Ага!

О, главное из главных подавай —
Внеси нам хлеба свежий каравай!..

Довольный, сияющий Либкин, чуть пританцовывая, приближался к столу, держа высоко над головой поднос с нарезанным хлебом. А девушки тем временем снова удалились в кухню и уже скромно, без парада, стали вносить «мясные и рыбные» блюда.

Все расселись за столом. Опытным взглядом неизменного тамады Эммануил оглядел стол и сразу заметил непорядок.

— Э, нет, — воскликнул он, обратившись к Гиршке, — так дело не пойдет!

— Ничего... Как-нибудь... — пробормотал тот со своего места на отшибе, у края стола, и, как всегда, когда вдруг оказывался объектом общего внимания, смутился.

— Нет, нет! — продолжал Эмка. — Ты у нас слишком хороший поэт, чтобы сидеть на таком плохом месте...

Недолго думая Эммануил подошел к Гиршке, взял его за руку и вывел к середине стола. «Подвиньтесь, подвиньтесь маленько!» — сказал он, усаживая Гиршке рядом с Симой. Та, смутившись, подвинулась немного, но Гиршке даже не взглянул в ее сторону. Сидеть возле Симы — при всех. Да лучше бы ему провалиться сквозь землю...

А Эммануил уже снова был на своем месте.

— Вот эту бутылку видишь? — обратился он к Либкину. — Прочитай, что написано на этикетке!

Тот взял бутылку в руки.

— Здесь написано: «Горный дубняк».

— Ну вот. Достаточно, однако, выпить пару рюмок этого вина, и ту же самую этикетку ты будешь читать наоборот: «Дубовый горняк»...

— Вот как! — рассмеялся Либкин. — Так надо же попробовать. В Париже такого вина не найти...

Выпили, потянулись к закускам, в первую очередь к горячей картошке.

— Я предлагаю тост, — несколько торжественно начал Эммануил, поднимаясь с места. — Тост за нашего гостя — одаренного писателя и журналиста Шолома Либкина.

Заметив наши недоуменные взгляды, Эммануил продолжал:

— Это имя, возможно, пока еще вам мало о чем говорит, хотя Шолом уже печатался, правда, не много и не у нас. Но главная суть в тех вещах, над которыми он сейчас работает, и в его замыслах, удивительных замыслах! Вот попросите — пусть он вам что-нибудь расскажет...

Либкин сидел, склонив голову, всем своим видом как бы показывая, что не заслуживает такой чести.

— Расскажите, Либкин!

— Расскажите! — слышалось со всех сторон.

Он встал и, смущенно усмехаясь в холеную бороду, сказал:

— Много о чем можно рассказать. Не знаю, собственно, что именно...

— Что хотите.

— Разве что...

Поглаживая рукой бороду, Либкин заговорил неторопливо, тихо, снисходительно-добродушно обводя всех присутствующих своими золотисто-карими глазами.

Когда он кончил говорить, все зашумели:

— Интересно!

— Очень интересно!

— Да это замечательно!

— Расскажите еще что-нибудь, Либкин, — попросила Лиля. Она ни на секунду не спускала с него глаз, все время улыбаясь ему своими милыми ямочками на щеках.

— Ну хорошо. Вот еще, к примеру, такое...

И в том же снисходительно-добродушном тоне он рассказал еще что-то, названное им сюжетом для рассказа.

— Сюжет для небольшого рассказа, как вы помните, у Чехова в «Чайке». Но у меня здесь совсем иной поворот.

— Чудесно! Прекрасно! — раздались со всех сторон голоса.

— Как у О'Генри, — восхищенно промолвила Сима.

— Как вы сказали? — спросил Либкин, повернувшись к ней.

— Как у О'Генри, говорю я, такой же неожиданный конец...

— Извините, — сказал Либкин, — вы немного отстали. О'Генри уже порядком устарел. В наше время он ни-

кого ничему не может научить. Есть авторитеты посolidней. . .

— Кто, к примеру? — спросил Гиршке. Ему, как и всем, понравился сюжет, рассказанный Либкиным. Но вовсе не понравилось восхищение, прозвучавшее в голосе Симы, и не понравился легкий, пренебрежительный тон, с которым Либкин отзывался о хорошем писателе. Пропустив уже пару рюмок, Гиршке чувствовал себя теперь уверенней, и он повторил свой вопрос: — Кто же, к примеру?

Либкин посмотрел на него удивленно, словно только что увидел его, и ответил:

— Например, Кафка.

— Кто?

— Кафка. Франц Кафка. Не слышали о таком?

— Нет, не слышал, — ответил Гиршке даже с некоторым вызовом: дескать, не слышал — ну и что?

— Жаль, — спокойно ответил Либкин. — А между тем есть такой писатель. На Западе он в почете. Чех. Собственно, еврей по происхождению. Пишет на немецком.

Эммануил, хорошо владевший немецким, был единственным среди нас, кто знал кое-что о Кафке, но то, что речь зашла об этом писателе, ему не понравилось. Он боялся, как бы это не привело к размолвке между его новым товарищем и старыми друзьями, — а он желал, чтобы они поскорее сблизились, — к тому же ему не совсем было ясно, относится ли Кафка к тем писателям, которых стоит пропагандировать. Поэтому, воспользовавшись правом тамады, он постучал по столу.

— О'Генри, Кафка — что за споры! Вышибем пробки и выпьем по стопке! — скаламбурил он. — Закуска есть еще, девушки?

— Есть! — разом откликнулись Галя, Лиля и Сима и устремились на кухню.

Эммануил ничуть не был пьян, лишь глаза из-под больших стекол очков блестели сильнее обычного. И вот он уже сильным своим голосом затянул любимую еврейскую песню:

Ой, какая же бу-ма-га белая
И какие же чернила чер-ные. . .

Оживленный взгляд его из-за очков настойчиво требовал от всех, чтоб поддержали песню, и вот уже каза-

лось, что, не выдержав мощи слившихся голосов, обрушится потолок. . .

Закончив эту песню, Эммануил тут же затянул вторую:

Давайте все вместе, все вместе, все вместе
Воздадим гостю честь.

Таким образом чествовали Либкина, затем девушек — всех вместе и каждую в отдельности, потом остальных, и после каждого чествования все громче повторяли припев:

Давайте все вместе, все вместе, все вместе
Выпьем немного вина. . .

С таким же подъемом спели затем русскую песню «По долинам и по взгорьям. . .», украинскую — «Распрягайте, хлопцы, кони. . .», и голос Эммануила, не ведая устали, парил над всеми остальными голосами.

Еврейские песни Либкин пел вместе со всеми. Затем он молча смотрел на поющую вокруг себя молодежь и думал: Эммануил был прав, когда рассказывал ему о своих товарищах, — действительно толковые парни. Правда, в них нет ничего выдающегося, но как внимательно они его сегодня слушали. . . Ну, а девушки просто клад, все три, — не скажешь даже, какая лучше. . . Вот эта, например, Лилей ее, кажется, зовут. Эмма сказал ему, что она медицинская сестра. Как мило она улыбается ему своими ямочками.

— Вы хотите мне что-то сказать? — спросил он, наклонившись к ней.

— Да, я хочу у вас кое о чем спросить.

— Пожалуйста!

— Вы говорили сегодня о своих литературных замыслах. Мне они очень понравились.

— Благодарю!

— У вас много их?

— Хватит на солидную книгу. А может, и не на одну.

— Ну, а сколько из них вами уже реализовано?

— Что?

Рядом с ними слишком громко пели, он, очевидно, не расслышал, и, наклонившись, она громче повторила свой вопрос.

Либкин чуть отшатнулся от нее и рассмеялся.

— Чему вы смеетесь? — смутилась Лиля.
— Ха-ха!.. Мне нравится ваш вопрос... «Реализовано» — сказали вы? Вы имеете в виду — написано?
— Ну да, много ли вами уже написано?
— Это, милая моя, дело десятое — написать, — ответил Либкин, взяв двумя пальцами, как ребенка, Лилю за подбородок. — Был бы замысел, задумка — это главное! А написать — просто, — закончил он, глядя на раскрасневшуюся девушку, не спускавшую с него восхищенного взгляда.

Гиршке, сидевший рядом, вдруг поднялся. Хотел, видимо, что-то сказать, но тут заметил, что Сима направляется в кухню, и пошел за нею.

* * *

Когда мы всей компанией высыпали из дома, было уже довольно поздно. Эмма и Либкин тоже вышли, и все вместе мы отправились вверх по Октябрьской улице. Миновали обширное болото и вышли к деревянному мосту, уводившему к далекой сопке... Эта сопка выглядела сейчас в моем затуманенном вином воображении как голова некоего гигантского зверя. Голова, склонившись вниз, дремала на передних лапах, а продолговатое тело этого сказочного животного тянулось вдоль железной дороги...

Светила луна, и ясно были видны деревянные мостки в тех местах, где со временем, очевидно, будут проложены тротуары. Но о тех будущих тротуарах никто из собравшихся здесь не думал, и вообще никто из нас не ощущал тогда каких-либо неудобств оттого, что жил в этом таежном краю, где молодой город, собственно, только еще зарождался. Наоборот, все мы были счастливы сопричастностью к тому большому и новому, что появлялось здесь. И это чувствовалось и теперь в приподнятом настроении, царившем среди нас, в веселых шутках, радостных восклицаниях.

Лиля первая спохватилась, что пора домой.

— Завтра же с утра на работу! — сказала она.

Сима поддержала ее:

— Дома и не знают, где я так поздно пропадаю!..

Лиля с тайным трепетом надеялась, что Либкин проводит ее домой. Однако он ушел вместе с Эммануилом и

Галей, и Лиля утешила себя мыслью: в городе он человек новый, ночует у Эмки, вот и неудобно ему уходить. Лиля очень хотела надеяться, что Либкин еще будет провожать ее домой.

Гиршке подошел к Симе.

— Идем? — спросил он.

Ему хотелось объяснить ей, почему он так плохо чувствовал себя за столом, почему он не смог даже взглянуть в ее сторону. Но именно этим Сима была обижена и очень сухо теперь ответила:

— Мы с Лилей сами дорогу найдем. — И потянула подругу за рукав. — Пошли, Лилька, уже поздно!

Гиршке махнул рукой и отошел в сторону.

Девушки ушли, а ребята долго гуляли еще по центральной улице. Разговор больше всего вертелся вокруг Либкина.

— Ну и хлопец! Ну и добрый же молодец, а?

— И где только Эмка его раздобыл!

— Эмка — да не раздобудет! У него особый нюх на таких!

— Слыхали, сколько у него разных тем, сюжетов! Так и сыплет ими, как из рога изобилия!

Один, второй, третий, дойдя до своего дома, прощались. Компания редела. И вот мы остались втроем — я, Гиршке и немолодой уже журналист, работавший на радио.

— А не кажется ли вам, ребята, — сказал журналист, — что этого самого Либкина Эмка привез сюда на свою же голову?

— Как это?

— Не заметили разве, какими глазами смотрела на него Галя?

— Ну и что?

— А то!

— Галя Эмку никогда ни на кого не променяет.

— Ни на кого из нас, — ответил журналист. — Но вот когда откуда ни возьмись сваливается на голову такой вот удалец... Комплексия!.. Борода!.. Чего в сравнении с ним стоит Эмка со всеми его талантами? Кожа да кости да очки в придачу?.. А к такому, как этот Либкин, чтобы вы знали, женщины даже помимо воли идут сами, как кролики в пасть к удаву...

— Циник... Ты мерзкий циник! — крикнул Гиршке и, весь дрожа, встал перед журналистом.

Тот посмотрел на него сверху вниз и спокойно промолвил:

— Твое счастье, Гиршке, что ты пьян и что я уже почти дома. Адье!

Мы остались с Гиршке вдвоем. Он весь как-то съежился и, пряча голову в плечи, молча шагал, угрюмо глядя себе под ноги.

— Что с тобой?

— Ничего.

— Все же?

Он не ответил.

— Сима?

— Что — Сима?

— Хватит тебе притворяться.

— Да не в Симе дело, — недовольно буркнул он.

Облака непрерывной чередой плыли навстречу луне, стоявшей в самой середине неба. Кроме нас, в этот поздний час на улице никого не было, и в тишине отчетливо раздавались наши шаги по деревянным мосткам.

В лунном свете глаза Гиршке, устремленные на меня, казались зелеными. Обычно скрытный, молчаливый, он вдруг заговорил мягко, плавно, но с большими паузами, словно вытягивая слова из потаенного колодца где-то внутри себя. Я уже привык к этой его манере разговаривать и не торопил его.

— Я все думаю об этом человеке, — сказал Гиршке, — о Либкине...

Помолчав, добавил:

— Все хвалят его, не нахвалятся. И Эмка...

Глядя на меня в упор, он спросил:

— А ты вот что думаешь, только откровенно?

По правде говоря, я еще толком не разобрался в своих мыслях и сказал об этом Гиршке. Тот испытующе посмотрел мне в глаза и сказал:

— А меня вот точно обухом по голове ударили...

— Зачем же такие страшные слова? — спросил я.

— Зачем? Вот все мы живем здесь, работаем. Каждый занят своим делом, и каждому из нас кажется, что от него есть какой-то прок. Кое-чего мы уже добились, глядишь, со временем добьемся и большего и для нас, и для тех, кто будет после...

Гиршке вдруг остановился:

— Хочешь, открою тебе секрет?

— ?!

— Я пишу роман. Об этом никто еще не знает.

— В стихах?

— Нет, в прозе. Считаю, что романы надо писать только в прозе. Если ты, конечно, не Пушкин. Хочешь знать, о чем роман? О нас с тобой. О таких, как мы, молодых. И о тех, кто постарше, тоже. Из разных мест приехали сюда, в тайгу, люди, и вот все вместе, — такие разные, такие непохожие, — а это и надо показать в романе, — делаем одно общее дело. И мне казалось, что, как и мы все, я тоже способен кое-что сделать, — например, написать задуманный роман.

— Ну и прекрасно, — заметил я.

Мое замечание Гиршке пропустил мимо ушей.

— Но вот сегодня я вдруг почувствовал, что ни я, ни ты никогда ничего путного не сделаем, понимаешь?

— Нет, не понимаю, — ответил я.

— Не понимаешь? — Гиршке недоверчиво взглянул на меня. — Тогда тебе легче!

Губы его скривились в иронической усмешке, и он продолжал:

— Вот Шолом Либкин — кто он есть? Человек? Нет, живой фейерверк! Замыслы, сюжеты — целая прорва, так и сыплются, словно манна небесная... Ну, а записать, зафиксировать их на бумаге? Ты бы послушал, что он ответил нашей Лильке, когда та спросила, много ли им уже написано, или «реализовано», как она выразилась. Я сидел при этом, и меня чуть не взорвало! Оказывается, написать — для него это последнее дело. Главное — замысел. Понимаешь? А я? Скажу о себе. О тебе и о других не знаю. Может, вы мастаки еще похлеще Либкина. Дай вам бог!

Тут Гиршке надолго умолк и затем, как бы возвращаясь откуда-то издалека, снова заговорил:

— Ищешь тему, сюжет. Собственно, никогда не перестаешь искать. И вот, кажется, нашел! А на проверку — интересный факт, не более. Но этого мало, нужно нечто большее, обобщающее. Вот и отбрасываешь одно за другим. Наконец находишь то, что искал, — есть тема, идея, сюжет. Остается пустяк — написать. Для Либкина, ока-

зывается, это легче легкого, а для меня тут-то и начинается самое трудное. . .

Гиршке снова замолчал. Он шагнул рядом, углубленный в свои мысли, и, видимо, совсем забыл про меня.

— Ну и что же? — напомнил я ему о себе.

— Ну вот и ну, — как бы просыпаясь от сна, откликнулся он. — Начать новую вещь — значит для меня пуститься в неизведанные дебри. . . Тебя манят десятки троп, а по какой из них пойти? Одна заводит в бурелом, другая — в непроходимую чащу, а третья — и вовсе черт знает куда. . .

— Но есть ведь и та тропа, — сказал я, — которая ведет к цели?

— Конечно, есть! Но ее ведь нужно найти! А сегодня, — продолжал Гиршке, — я увидел человека, для которого все эти мои тяжкие поиски вовсе не существуют. Чепуховое дело какое-то, которому не стоит придавать значения. Кто же он такой? Гулливер? А мы с тобой? Лилипуты?

Я понял причину подавленного настроения Гиршке, но утешить его не мог. Он высказал то, что весь этот вечер мучило также и меня. Мы расстались с ним, когда уже занимался новый день.

Глава вторая

В то время, о котором идет речь, я работал учителем. Окончив Московский государственный педагогический институт, я с путевкой Наркомпроса приехал в Биробиджан. Получение этой путевки давало возможность осуществиться одному из моих давних желаний. Дело в том, что в Биробиджан я должен был приехать еще несколько лет назад, когда туда из Харькова отправились мои близкие друзья — Эммануил Казакевич и другие. Они и меня звали с собой. Но мне в мои тогдашние семнадцать — восемнадцать лет хватило ума сказать: «Приеду, когда окончу институт. И я для Биробиджана, да и он для меня тогда окажемся намного полезней».

Мои друзья восприняли эти слова с удивлением, и хотя знали, что не в моих это правилах, все же подумали, что поступаю я так не без мысли о собственной выгоде. Но мое решение было твердым, и я остался.

До того, как нам пришлось расстаться, мы часто собирались в клубе «III Интернационал». В этом клубе мы и познакомились, а затем подружились.

В Харькове, тогдашней столице Украины, в начале Пушкинской улицы, там, где она выходит на площадь Тевелева, высилось большое кирпичное здание. Когда-то здесь была хоральная синагога, а в конце двадцатых — начале тридцатых годов помещался еврейский рабочий клуб. Рабочие парни вроде меня и Гиршке, приехавшие из своих маленьких местечек в Харьков работать на фабрике или на заводе, едва переступая порог клуба, сразу же устремлялись в буфет. Здесь за сносную цену всегда можно было получить недурной винегрет. Так, сидя однажды за столиком и поглощая свои винегреты, мы и познакомились с Гиршке Диамантом и с тех пор уже не разлучались с ним. В клубе часто происходили литературные вечера, диспуты. Здесь можно было увидеть многих еврейских писателей, в ту пору уже известных: порывистого и в то же время сосредоточенно-задумчивого Переца Маркиша; солидного, медлительного Льва Квитко, смахивавшего на обычного служащего, с умным взглядом из-под роговых очков Ицика Фефера; тогда еще совсем молодую, миловидную, с большими зеленовато-серыми глазами поэтессу Хану Левину; невысокого, рыжеволосого Даниэля и многих других.

В летние месяцы клуб переносил свою работу в небольшой сад — на Черноглазовскую, 3. Сад с небольшими беседками и разноцветными лампочками, подвешенными меж деревьев, выглядел очень уютно.

Я, Гиршке и еще трое-четверо наших сверстников делали тогда первые пробы пера. Заняв одну из беседок, мы отдавали на суд своих друзей кое-что из написанного. Первые мои рассказы я тогда целиком составлял в голове, в то время как руки были заняты нелегкой, но привычной работой — шлифовкой в никелировочном цехе фабрики металлических изделий. То, чего я не успевал продумать за работой, додумывал ночью, лежа на жесткой постели, — я снимал угол и приходил туда лишь затем, чтобы переночевать. Все свободные часы проводил в городской библиотеке имени Короленко. Здесь писал свои рассказы сразу набело, точно мне кто-то диктовал их, так как все, до мельчайших деталей и до последней строчки, было заранее «написано» в голове. Было ли

в моих рассказах что-то путное, я не знал, и меня скорее удивило, нежели обрадовало, когда в одной из беседок на Черноглазовской я, набравшись решимости и прочитав рассказ, вдруг услышал, что он — хорош. Пока такую оценку давали Гиршке и еще кое-кто, я не придавал этому особого значения. Но когда слово взял Эммануил Казакевич и тоже сказал: «Хорошо!» — у меня радостно забилося сердце. . . Эмка знает, что говорит!

С ним мы также познакомились в клубе. Как-то мы присутствовали на диспуте. Слово предоставили немолодому уже, грузноватому человеку, с живыми глазами, добродушно смотревшими из-за узких стеклышек очков. Он темпераментно и остроумно полемизировал со своим оппонентом. Рядом с нами сидел долговязый, худощавый юноша с густой шевелюрой и в роговых очках. Мы его тут часто видели, и нам всегда бросалось в глаза, как свободно, непринужденно держал он себя со всеми. Стесняясь своей провинциальной неосведомленности, я все-таки решил спросить у юноши, кто выступает.

Тот повернулся ко мне и Гиршке и, внимательно посмотрев на нас, просто и непринужденно ответил:

— Мой отец.

Так мы познакомились с Эмкой.

Отец его был видным еврейским критиком, публицистом и издательским работником.

Вскоре в нашей группе начинающих Эмка занял ведущее место. Дело было не только в том, что известные писатели, на которых мы, вчерашние местечковые парни, так наивно палили глаза, когда видели в клубе, — до этого мы вообще их знали только по школьным хрестоматиям, — запросто приходили к Казакевичам в дом и трепали за щечку Эмку, когда тот был еще маленький. К тому времени, когда мы с ним познакомились, — ему тогда было неполных семнадцать, — он уже и сам писал, да так, что нам можно было многому у него поучиться. Если каждый из нас, начинающих, писал либо стихи, либо прозу, Эмка пробовал себя во всех жанрах. Никто из нас не знал тогда ни одного иностранного языка, а Эмка хорошо уже владел немецким. Помню, как он всех нас ошеломил, прочитав нам стихи Гейне на немецком, а затем на еврейском языке, в собственном переводе.

В другой раз, пригласив нас к себе домой, он прочитал нам большой отрывок из исторического романа, над

которым тогда работал. Особое впечатление, помнится, почему-то произвели на нас длинные эпиграфы к каждой главе и имена, стоявшие под ними. . . Шекспир, Вальтер Скотт, Гюго, Стендаль. . . Эти имена для большинства из нас в ту пору еще были не открытыми островами, мы завидовали Эмке и испытывали гордость за него. . . Он тогда также заканчивал драматическую поэму и приступил к работе над романом в стихах.

Зная все это, можно не удивляться тому, что на Эмку, хотя он был моложе некоторых из нас, мы все смотрели чуть ли не как на своего учителя. И если еще учесть его открытую и искреннюю привязанность к нам, его способность зарядить всех и каждого веселым, приподнятым настроением, то станет совершенно ясной та роль, которую он играл среди нас. Вот почему у меня так забилося сердце, когда Эмка о моем рассказе сказал: «Хорошо!»

Мы все завидовали Гиршке, к которому Эмка относился с особой теплотой. Стихи свои Гиршке писал неизвестно когда и неизвестно где. Никто из нас никогда не видел его с карандашом и бумагой. Он никогда не предлагал нам послушать его стихи, — об этом надо было спрашивать его. Был он великий молчальник. Мы могли часами шагать с ним, полностью отрешенные от окружающего нас уличного гомона, и молчать. Иногда он, вдруг нарушив молчание, как бы про себя, начинал читать строку за строкой. И неизвестно было, сочинил ли он эти строки давно, или они рождаются только теперь, на ходу. . .

Трудно было представить себе более противоположных людей, чем Эммануил и Гиршке. Несхожи они были во всем. И, может быть, именно поэтому Эмка к нему проявлял повышенный интерес. Но Гиршке этого как будто и не замечал. Единственный среди нас, он не считался даже с мнением Эмки, когда дело касалось его собственных стихов.

Однажды мы поздно вечером втроем — Эмка, Гиршке и я — возвращались из клуба домой. Гиршке, как обычно молчавший, вдруг заговорил. Он высказал, очевидно, давно затаенное желание — услышать мнение о своих стихах одного известного поэта.

— Вот как?! — воскликнул Эмка, называя поэта не по известной его фамилии, а просто по имени, как, оче-

видно, называли его у них в доме, и тут же добавил: — Хочешь, я завтра же сведу тебя к нему?

— Завтра? — растерялся Гиршке. — К чему такая спешка?

Эмка был в отличном настроении, и в такие моменты он нередко любил беззлобно подшучивать над своими друзьями.

— В кои-то веки, — сказал он, смеясь, — появилась у Гиршке смелая мысль — и он тут же, сразу, в кусты от нее.

— Не понимаю, к чему спешить? — повторил Гиршке со свойственным ему выражением обиженного ребенка и, нахмурившись, замолчал.

Но Эмке уже, очевидно, осенила какая-то идея. Вообще он был горазд на выдумки и планы, которыми тут же зажигался сам и зажигал ими всех нас.

— Идея! — воскликнул он. — С поэтом, — он опять назвал его по имени, — я познакомлю вас всех. Мы все явимся к нему домой. Я знаю, он будет рад! К тому же он не только поэт, но и отличный прозаик. Мы все будем читать ему свои рассказы, стихи. . .

Назавтра Эммануил и мы всей компанией вечером явились к поэту. Эммануил чувствовал себя здесь как дома. Я же, Гиршке и другие были как бы заморожены всем происходящим. Впервые в жизни мы видели большого «живого писателя» не на портрете, не в клубе даже, а у него дома. . . Просторный, светлый кабинет с застекленными книжными шкафами и с картинами на стенах, казалось, излучал какой-то неведомый свет. . . Мы с восхищением смотрели на миловидную жену поэта, угощавшую нас чаем, на его маленькую дочь. . .

Я сидел на краешке стула, опасаясь лишний раз пошевелиться, слушал чтение моих товарищей, потом и сам что-то прочитал. И весь этот вечер не покидало меня ощущение нереальности всего происходящего. . . Неужто это правда, думал я, что мы, такие простые ребята (Эмка не в счет), сидим в доме у этого человека, чьи портреты отпечатаны в школьных хрестоматиях, и он слушает то, что мы читаем ему? Неужто ему, прославленному поэту Льву Квитко, больше нечем заняться? Рослый, плотный, большеголовый, с мягким, доброжелательным взглядом карих глаз, Квитко медленно шагал по кабинету и, во-

преки ожиданию, говорил с нами очень тихо, чуть ли не шепотом.

— Из того, что вы здесь прочитали сегодня, — приглушенно говорил он, — видно, что в каждом из вас что-то есть и что из всех вас может выйти толк. Но при одном условии, — еще тише добавил он, — если вы будете учиться и работать над собой. — И, как бы нашептывая каждому из нас важный секрет, добавил: — Наше с вами ремесло требует работы. . .

«Наше с вами ремесло», — сказал он и этим самым нас, молодых, только-только начинающих, как бы зачислил в свой цех, сделал своими братьями по перу. . .

Каждый из нас, разумеется, понимал, что все сказанное имеет, возможно, какое-то отношение к нашему будущему, но никак не к настоящему, когда хвастать еще совершенно нечем, но все же с того вечера мы стали уважительнее относиться сами к себе и, уходя от Квитко, чувствовали, что за спиной у нас выросли крылья.

— Ну, что я вам говорил? — хлопал нас Эмка весело по плечу.

Мы, конечно, были ему очень благодарны. Он впервые ввел нас в освященные чертоги поэзии и познакомил с одним из ее признанных жрецов.

Спустя некоторое время и я, набравшись решимости, тоже высказал свое сокровенное желание — о моих рассказах я хотел бы послушать мнение кого-либо из известных прозаиков.

— Это проще простого! — с готовностью отозвался Эмка и тут же назвал фамилию одного из маститых писателей.

Услышав эту фамилию, я оторопел. Меня испугала сама возможность войти в контакт с человеком, написавшим свои первые вещи, когда меня и на свете еще не было. . . С человеком, первые произведения которого оценивал сам Ицхок-Лейбуш Перец. . . И еще меня страшило: то, о чем этот человек в то время писал, как небо от земли отличалось от содержания моих первых рассказов. У меня — местечко, колхоз, фабрика. . . У него — сказочные горы, небожители. . . Этот крупнейший мастер слова отдавал тогда щедрую дань символизму, и я опасался, опустится ли он со своих высоких символистских небес на землю, чтобы поинтересоваться тем, что я написал.

Когда я высказал свои опасения Эммануилу, тот рассмеялся.

— Ты совершенно не знаешь его. — И вместо общезвестного псевдонима писателя он назвал его по имени, и я удивился, до чего это простое еврейское имя. — Пиня очень хороший человек, — сказал Эмка, — ты в этом убедишься сам.

И он действительно познакомил меня с ним. До того, по своей юношеской наивности, я был убежден, что искусство создают необыкновенные — даже внешне необыкновенные — люди. Причисляя себя к разряду людей обыкновенных, я был уверен, что никогда ничего значительного не создам. И Гиршке, и все остальные ребята ничего не создадут, потому что и они ничем не отличаются от обыкновенных людей. Единственным среди нас, обладавшим некоторыми признаками необыкновенности, незаурядности, я считал Эммануила и на него одного возлагал какие-то надежды. Печатью исключительности, казалось, был отмечен облик поэта Квитко, к которому нас привел Эммануил, так же как и дом поэта, его семья. «Счастливые, необыкновенные люди», — думал я о них.

И вот знаменитый писатель — Дер Нистор... Еще прежде чем он успел обратиться ко мне с первым словом, он уже перевернул вверх тормашками все мои прежние представления о людях, создающих искусство.

Очевидно, думал я, с изумлением глядя на него, искусство создают и обыкновенные люди... Все в этом человеке было чересчур даже обыкновенно — и рост небольшой, и манера держаться, и чуть согнутые плечи, и будничная одежда, и речь...

Я полагал, что Дер Нистор заговорит со мной о тех высоких материях, о которых пишет в своих сказках и эссе в только ему одному присущем, несколько затейливом, но так плавно и свободно льющемся стиле. Однако — ничуть не бывало! — совершенно неожиданно для меня он начал расспрашивать о моих родителях, о том, где и как они живут. Услышав, что живут они в Новозлатопольском районе Запорожской области и трудятся в колхозе, он заинтересовался, вдоволь ли имеют они хлеба. Я был ошеломлен: писатель, которого я представлял витающим всеми чувствами и помыслами в заоблачных высях, интересуется хлебом насущным... Так мог бы спросить и мой отец, простой еврей, никогда не по-

мышлявший ни о каких высоких материях, — есть ли вдоволь хлеба.

Но что было действительно необыкновенно в этом человеке — его глаза: черные, большие, проницательные, они напоминали глаза Ицхока Переца, как мы представляем их по портретам. Выражение их во время беседы было полно доброты и благожелательности.

Меня уже вовсе не пугало, когда впоследствии несколько рассказов, которые должны были составить мою первую книжку, попали на рецензию к этому большому мастеру. Вернее, я не боялся, что он станет пренебрегать обыденным их, «земным» содержанием, но в то же время, конечно, очень опасался за их судьбу. Ведь он мог сказать, что рассказы эти просто плохо, беспомощно написаны. Полный душевного трепета, я отправился к писателю домой, когда он пригласил меня на беседу. В доме его на всем лежал тот же отпечаток простоты и безыскусности, что и на нем самом.

— Прочитал ваши рассказы, — сказал он.

И тут же добавил:

— Я в них ничего не исправлял. Инструмент свой вы уже довольно уверенно держите в руках.

Помолчав немного, продолжал:

— Но что удастся вам инструментом этим сделать в жизни — это зависит целиком от вас. Мой совет — вам надо учиться, много учиться. Это главное.

Учиться! Это было и моим сокровенным желанием. Писать и учиться! Ради этого я в шестнадцать лет оставил родное местечко, родительский дом, уехал в Харьков, работал, снимал угол, частенько недоедал. Учиться!

Потому-то и на предложение Эммануила поехать в Биробиджан я спустя некоторое время ответил:

— Не теперь. Сначала окончу институт.

* * *

Между тем Эмму осенила новая идея. О нашей небольшой группе начинающих поэтов и прозаиков уже знали в литературных кругах. Однажды, когда мы по обыкновению собрались вместе и познакомили друг друга с несколькими новыми рассказами и стихами, которые, помню, всем понравились, Эммануил, весьма обрадованный этим, вдруг воскликнул:

— Что же мы за литературная группа? У нас ведь нет еще и названия!

И тут же он объявил блиц-конкурс на лучшее название для нашей группы.

Никто из нас ничего не мог придумать. И тут Эммануил буквально сразил нас.

— «Птичье молоко», — сказал он.

— Почему «Птичье молоко»?

Эммануил охотно пояснил:

— Когда хотят сказать, что всего в достатке и даже сверх того, говорят: лишь птичьего молока не хватает... Так и в нашей литературе теперь лишь птичьего молока не хватает. И вот мы, молодые, и создадим это птичье молоко — самое лучшее и прекрасное, что только можно создать!

Эммануил искренне был убежден, что и он и мы на это способны. Что касается нас, его друзей, мы намного скромнее оценивали свои силы, но, слушая Эммануила, тоже прониклись большой верой и в него, и в самих себя, и в то, что мы способны создать невозможное.

— Ну вот, название у нас уже есть, — сказал Эммануил, — теперь необходимо нам выработать декларацию. Что же мы будем за группа без своей декларации?

Надо сказать, что всякого рода литературные декларации были тогда в большой моде. Мы предложили Эммануилу, чтобы он сам эту декларацию и составил, так как никому из нас никогда в жизни этим заниматься не приходилось. Что же касается Эмки, он умеет все, сумеет и это.

Но тот не согласился.

— Нашу декларацию мы должны составить сообща, — заявил он.

Решено было собраться еще раз, а пока каждый из нас должен был продумать, какие пункты следует включить в декларацию.

Собираться по этому поводу пришлось нам не раз, Эммануил все пытался вытянуть из нас что-либо путное, но безрезультатно.

— Понятия не имею, как это делается, — признался я. Отнекивался и Гиршке:

— Стихотворение — хорошо ли, плохо — написать могу, но декларацию — увольте.

Эммануил не на шутку рассердился. Волнуясь, он всегда начинал чуть заикаться.

— Писатель, — повысил он голос, — д-должен все ум-меть! А если н-нет, к-какой же он писатель!

— А никакие мы и не писатели, — сердито отозвался Гиршке и покраснел.

Эммануил больше ни на чем не настаивал. Мы давно заметили — никогда не терявшийся Эмка иногда пасовал перед робким, застенчивым Гиршке. Так было и теперь, и мы разошлись ни с чем.

Но, как мы позже узнали, Эммануил не отступил от своего. Он решил посоветоваться с отцом.

В прохладной, полутемной комнате, где отец отдыхал в свободный час, Эммануил рассказал ему о нашей группе «Птичье молоко».

— Название придумал ты? — спросил отец у Эммануила, щуря под очками темные глаза.

— Я.

— Так я и знал.

— Почему?

— Я видел твоих ребят, когда они приходили к тебе. Хорошие, простые парни. Видно, крепко стоят на земле...

— А я? — спросил Эмка.

— Ты? — Отец озабоченно взглянул на сына. — И ты неплох... Но тебе не хватает... — Отец умолк.

— Чего?

— Не мешало бы и тебе поработать на заводе, иногда недоспать, недоесть, как они. Кстати, интересовался ли ты, как живут твои друзья, что едят после того, как ты с ними расстаешься?

Эммануилу стало не по себе. Нет, он не знает, как они живут и что едят, когда расстаются с ним. Он, по правде говоря, об этом и не думал, полагая, что с этим у них обстоит все так же благополучно, как и у него. И может ли быть иначе?

А отец между тем продолжал:

— Вот пожил бы ты хоть немного их жизнью, узнал бы истинный вкус простого куска хлеба и не искал бы ты птичьего молока... Им-то оно ни к чему...

Смысл этих слов тогда не дошел до Эмки. Всегда полный замыслов, идей, которые так и роились у него в голове, он в эти дни жил мыслями о декларации, с которой должна была выступить группа «Птичье молоко».

После того, как друзья отказались ему помочь, он сам набросал проект декларации и принес ее теперь показать отцу.

Любовь и забота сквозили во взгляде отца. Немолодой уже Генах Казакевич любил своего Эмку за то, что тот весь был в него — и темпераментом, и жизнерадостностью. Но, кроме того, сын обладал еще писательским даром. Отец понимал, что теперешние литературные опыты семнадцатилетнего Эммануила мало что стоят, в них много книжного, надуманного и очень мало от жизни. Он пробует себя во всех жанрах — в поэзии, в прозе, драматургии, — и трудно сказать пока, в каком из жанров его будущее. Но в том, что будущее у него есть, отец был уверен, и это неведомое пока будущее он тоже любил в своем сыне.

И именно потому он жестко сказал:

— Все это выведенного яйца не стоит!

— Что именно?

— Да хотя бы вот это твое «Птичье молоко».

— Почему?

Генах приподнялся на локте — он лежал на кушетке у окна — и ответил, глядя сыну в глаза:

— Литературных организаций, всяких групп, группировок — хоть пруд пруди: «ВУСПП», «Ваплитэ», «Бой»... И чего же ты хочешь — чтобы была еще одна? А к чему? И, кроме того, у тебя сразу же спросят: «Что это еще за «Птичье молоко»? Чем оно может быть полезно рабочему классу?»

Эмка обиделся:

— Но нельзя же в вопросах искусства быть настолько утилитарным.

— Нельзя? Необходимо! — воскликнул отец.

— Отчасти об этом и речь в моей декларации. — Эмка протянул отцу несколько густо исписанных листков.

Генах не читая отложил их в сторону.

— И это лишнее.

— Но ты же не читал...

— Не в том дело.

— Но как же может утвердить себя литературная группа, не имея своей декларации?

— Очень просто. Пишите хорошие рассказы, стихи и поэмы — вот и утвердитесь!

Больше разговоров о декларации с нами Эмка не заводил. А о своей беседе с отцом он рассказал нам значительно позже.

Так и вышло, что название «Птичье молоко» нигде и никогда не было зафиксировано и лишь мы, члены этой группы, иногда упоминали о нем — с легкой иронией, отнесившейся и к названию, и к самим себе...

Необходимо рассказать еще об одном эпизоде.

Как-то раз вся наша группа с Эммануилом во главе собралась в маленькой комнатухе на шестом этаже, у одного из знакомых Эмки. Парень этот — звали его Сашей — работал на заводе. Отец его, ответственный работник, часто выезжал в командировки. На этот раз дома не было и матери, и мы, принеся с собой несколько бутылок вина и закуску, устроили что-то вроде вечеринки.

Не успели мы выпить по второй рюмке, как Эмка всех нас ошелошил новостью:

— Завтра к нам в гости придет Михоэлс.

Сказал он это таким тоном, словно появление среди нас Михоэлса самое заурядное, будничное дело. И именно этим нас ошелолил.

Шутка сказать — Михоэлс! Мы столько читали, столько наслышались о нем. Каждый из нас лелеял мечту увидеть его когда-нибудь на сцене. Но беседовать с ним? Об этом мы, разумеется, даже мечтать не могли.

Московский ГОСЕТ в те дни гастролировал в Харькове. На центральных улицах висели большие афиши на еврейском языке: «Десятая заповедь», «Три изюминки», «Путешествие Вениамина Третьего»... Нам очень хотелось побывать на этих представлениях, но все билеты давно были распроданы. И вот Михоэлс придет к нам... Это казалось невероятным, и я спросил:

— А зачем, собственно, к нам придет Михоэлс?

— Чтоб познакомиться с нами, — ответил Эммануил.

— А кто мы такие, — подал голос Гиршке, — чтобы Михоэлс отложил все свои дела и помчался знакомиться с нами?

— Очевидно, это ему интересно, — сказал Эммануил, и нам все еще было неясно, шутит он или говорит серьезно.

— А откуда тебе известно, что интересно Михоэлсу? — спросил Гиршке.

— Я разговаривал с ним.

— Ты? С ним?

— Ну да.

— Когда же?

— Вчера. Вчера днем мы с отцом зашли в театр на репетицию. Отец и Михоэлс старые друзья. Он познакомил меня с ним. Ну, и я рассказал ему о нашей группе «Птичье молоко».

— И он тебя стал слушать?

— Да еще с каким интересом! Потом сказал: «Так, может быть, ваша группа «Птичье молоко» сообща возьмется и напишет для нашего театра хорошую современную пьесу?»

— Так и сказал?

— Слово в слово.

Мы расхохотались.

— Чему вы смеетесь? — рассердился Эмка. — Я ему ответил, что это вполне возможно, и он сказал, что придет с нами лично об этом поговорить.

Тут же Эммануил прочел нам «лекцию» о значении репертуара для театра.

— Без современного репертуара, — сказал он, — театр не может жить. В этом деле никакие классики — ни Менделеев, ни Шолом-Алейхем, ни Перец — ничем ему помочь не могут. Тут можем помочь только мы...

— Пьес я писать не умею, — решительно заявил Гиршке.

— Ой, Гиршке, Гиршке! — обратился к нему с упреком Эммануил. — Ты еще и сам не знаешь, на что способен. Да и всех нас если хорошенько потряхнут, еще такое можно вытряхнуть...

Я в эту ночь не сомкнул глаз. Из головы не выходил завтрашний вечер. Как это все обернется? Что нам скажет Михоэлс? И что мы скажем ему?

Назавтра мы опять встретились в маленькой комнатке Саши на шестом этаже. Все были взволнованны. Эммануил, радостно-возбужденный, каждый раз вскакивал из-за стола и бежал к двери. Ему казалось, что звонят.

Прошел час.

— Вероятно, где-то задержался, — успокаивал нас Эмка и снова бежал к двери.

Михоэлс не пришел.

Мы не допускали мысли, что Эмка обманул нас, — на такое он не был способен. Он с Михоэлсом говорил, и тот

обещал ему прийти. Значит, обманул Михоэлс. Но и в это мы не могли поверить. Скорее всего — забыл или какие-то важные дела помешали ему прийти к нам.

Эммануил был огорчен. Мы тоже. Но, говоря по правде, в глубине души мы были довольны, что «смотрины» не состоялись. О чем мы, желторотые юнцы, могли тогда говорить с Михоэлсом?

* * *

Вскоре Эммануилом овладела еще одна идея, вытеснившая все прежние, — Биробиджан. Отца его посылали туда на руководящую работу, и Эмка решил поехать вместе с ним. Более того — он был глубоко убежден в том, что поехать с ним должна вся группа «Птичье молоко», в полном составе. Именно там, говорил он, на дальневосточной земле, мы как следует расправим крылья.

Тогда-то я и ответил Эммануилу, что останусь пока здесь, поступлю в институт, а по окончании его приеду в Биробиджан. Он пытался меня переубедить, но, увидев, что я твердо стою на своем, отвернулся и холодно проронил:

— Поступай, как знаешь.

Эммануил уехал с отцом в Биробиджан. Мать его пока еще оставалась в Харькове. Уехало и несколько ребят из «Птичьего молока».

Через год Эмка вернулся в Харьков за матерью. Он порядком изменился за этот год — стал выше ростом, заметно похудел, лицо загорело на дальневосточном солнце.

— Да, солнце у нас жарит посильнее, чем здесь! — сказал он. Слова «у нас» относились не к городу, где прошло его детство и начало юности, а к дальневосточной земле, на которой он прожил всего лишь год. Но, видимо, этот один-единственный год имел в его жизни едва ли не большее значение, нежели все прожитые до этого годы.

Привез он с собой тонкую книжечку своих стихов, отпечатанную в типографии биробиджанской районной газеты. Книжка была в скромной обложке, бумага серая, газетная. Это была первая книга Эммануила Казакевича и первая книга на еврейском языке, отпечатанная в том далеком крае.

Вместе с Эммануилом приехал молодой кореец Ким — славный паренек с черными раскосыми глазами. Эмма-

нуил всюду брал его с собой и представлял как своего близкого друга. Юный кореец улыбался всем доброй беззубой улыбкой и на ломаном русском объяснял, что Эммануил отличный товарищ, они с ним ловят рыбу на Бире и в Амуре и вместе ходят в тайгу на охоту.

Молодой кореец Ким — в этом, по-видимому, заключалась его главная роль — должен был подтвердить перед всеми харьковскими друзьями и знакомыми Эмки, что там, в далеком Биробиджане, действительно все ново, молодо, прекрасно, что в этот богатый, изобильный край не только можно — нужно ехать!

Вскоре Эммануил вместе с матерью и Кимом уехал обратно в Биробиджан.

Письма от него приходили редко, но стало известно, что в Биробиджане Эммануил с первых же шагов окунулся в работу, быстро накапливая тот жизненный опыт, которого ему недоставало раньше.

Работал он и председателем колхоза, и заведующим Домом культуры, позднее стал организатором и первым директором местного театра. Перевел несколько пьес, поставил и свою веселую комедию. Но театр отнимал слишком много времени, и он перешел на работу в редакцию газеты. Здесь он имел возможность часто бывать в командировках, встречаться с людьми, писать о них.

На этой работе я и застал Эммануила, когда после окончания института приехал в Биробиджан.

К этому времени Эммануил уже жил один. Незадолго до того, в течение одного года, умер отец, а спустя несколько месяцев и мать. Жил он теперь в той большой квартире, которую раньше занимала вся семья.

Не нашел я и следа той беззаботной улыбки, которая ранее, во времена «Птичьего молока», сквозила обычно в уголках его мальчишески припухлых губ. Лицо его осунулось. Передо мной стоял мужчина с жестковатым взглядом, говорившим о пережитых испытаниях и о твердой решимости ни перед какими испытаниями не пасовать.

Гиршке мало изменился. Он успел уже отслужить в армии, на границе, и опять работал в редакции. Остался он тем же застенчивым молчаливником, каким был прежде. И теперь никто не знал, когда он пишет свои стихи, да и пишет ли он их вообще. Но в стихах его, ко-

торые он изредка печатал в газете, все более отчетливо проступала зрелость.

Что касается других членов группы, некогда входивших в состав «Птичьего молока» и приехавших сюда вместе с Эммануилом, один работал в местном радиокомитете, второй уехал учиться в Москву.

В Харьковском педагогическом институте меня интересовал литературный факультет — я и поступил туда после окончания специальных подготовительных курсов. Через год я перевелся в Московский институт, на тот же факультет. После окончания — долг платежом красен — нужно было поступить на педагогическую работу. В одной из биробиджанских школ, куда меня направили преподавать литературу и язык, совершенно неожиданно для меня самого я обнаружил в себе склонность к педагогической работе, и дела у меня пошли на лад. К одному только не мог привыкнуть — к составлению подробных планов каждого урока. Не понимал: к чему, собственно, надо заранее так уж тщательно все раскладывать по полочкам? Урок, полагал я, — это ведь творчество и в значительной мере импровизация. Необходимо хорошо знать, что тебе нужно сказать, а как сказать — это зависит от способностей, таланта. Потому-то у себя в тетради я записывал план урока совсем кратко: тема, что спросить, что задать на дом. Заведующая учебной частью, Лиза Моисеевна, добрая, приветливая и милая женщина, в то же время была, как и подобало ей по должности, довольно строгой и несколько раз указывала мне на то, что мои планы необстоятельны. Она даже специально посетила несколько моих уроков, желая проверить меня. Но, очевидно, уроками она осталась довольна, так как больше моих планов не проверяла и замечаний мне не делала.

Работа в школе — подготовка к урокам, просмотр тетрадей, внеклассная работа (я руководил и школьным литературным кружком) — отнимала много времени. Учителей тогда было мало, мне дали еще часы в вечерней школе. Поэтому с Эммануилом и Гиршке я мог теперь видаться только изредка, тем более что они сами частенько бывали в командировках. Эммануил к тому времени приобрел немалый авторитет в городе, был членом обкома комсомола. И получилось так, что я его не видел долгое время, вплоть до того вечера, когда он, только

что вернувшись из командировки, пригласил всех нас к себе, чтоб познакомить со своим новым другом Шоломом Либкиным.

Глава третья

В фойе театра стоял приглушенный гул. Медленно, встречными потоками, двигались люди, переговариваясь кто тише, кто громче. С каждой минутой в фойе становилось теснее. Два ряда плафонов разливали матовый свет.

Слева, поближе к двери, стояли Галя, Сима и Лиля. Все были принаряжены, каждая на свой вкус, каждая по-своему привлекательна. Только в глазах у Гали пробежали искорки досады.

— Что ты расстраиваешься? Разве ты не знаешь, где он? — спросила Лиля.

— Почему же не знаю? — тихо ответила Галя. — Он за кулисами. Где же еще ему быть перед премьерой?

— Такой уж он, Эмка, его не переделаешь, — встала Сима.

— Да я вовсе не хочу его переделывать, — сказала Галя, — пусть будет такой, какой он есть, но пусть он только будет.

Девушки рассмеялись, и звонче всех Лиля. В платье из светлого крепдешина, она сегодня была особенно привлекательна и вся светилась в радостном возбуждении.

— Что-то не стоит тебе сегодня на месте, — заметила Сима.

— Не выдумывай! — Лиля рассеянно глядела по сторонам, ища кого-то глазами, и — нашла!

Шолом Либкин, высокий, с холеной бородой, сразу же бросался в глаза, в каком бы углу фойе ни появлялся, и всюду, где появлялся, усиливалось движение вокруг него, как в реке, когда в стаю мелких рыбешек заплывет вдруг крупный осетр. . .

В театр пришел он вместе с Эмкой, Гиршке и девушками — Галей, Лилей и Симой. Эмка тут же оставил их, проронив: «Я туда и обратно». Кто-то отозвал Либкина, Лиля потеряла его из виду, потом нашла и наблюдала, как он переходит от одной группы к другой, вовсе забыв о тех, с кем сюда пришел.

С девушками остался один Гиршке. Он чувствовал себя с ними очень неловко, а когда в этой сутолоке его

ненароком прижали к Симе, он и вовсе растерялся. Переминаясь с ноги на ногу, он искал и не находил предложения, чтобы уйти. Был он в том же будничном пиджаке, в котором его можно было видеть на работе в редакции, и его ничуть не волновало, что этим он невыгодно выделяется среди празднично приодетой публики. Единственной данью торжественности этого вечера в наряде Гиршке был криво повязанный, необъяснимого цвета галстук.

Вдруг он вздрогнул, ощутив у себя на шее внезапное прикосновение ловких пальчиков Симы.

— Галстук у тебя совсем съехал набок, — сказала она.

Это было уже слишком! От растерянности Гиршке так резко повернул голову, что галстук съехал еще больше, а сам он нырнул куда-то в сторону и был таков.

Но тут, как на беду, перед ним вырос Шойлек Ушацкий!

Когда Шойлек Ушацкий появлялся в редакции, Гиршке убежал в другую комнату и просил сказать, что он в командировке. Шойлек в печенках сидит у него со своими бесчисленными стихами и рассказами, которые не перестает приносить в редакцию. И вот он тут как тут перед ним — долговязый, в роговых очках с одним надтреснутым стеклышком.

— Только не стихи, Шойлек! — взмолился Гиршке. У Шойлека уж такая привычка — кого ни встретит, тут же начинает наизусть читать свои стихи.

— Какие могут быть стихи? — обычной скороговоркой выпалил Шойлек. — Мы ведь не где-нибудь, а в театре.

— Вот-вот, — успокоился Гиршке.

Шойлек, совсем молодой еще парнишка, учился на втором курсе педагогического техникума. Он очень гордился тем, что родители его приехали на станцию Тихонькую с самым первым эшеленом, еще в 1928 году, и любил рассказывать, как на первых порах они тут «хлебнули горя». Об этом же Шойлек писал в своих стихах и рассказах, но когда он рассказывал просто, без затей, слушать его было интересней.

— Театр этот, — сказал он, — мы строили своими руками.

— Кто мы? — спросил Гиршке.

— Что значит кто? Я, мой отец, моя мать, мои братья, мои сестры, мои...

— Что же, одна ваша семья, выходит, его и построила?

— Нет, почему же? Весь город строил! Один разве субботник мы тут вкалывали? Глину месили — пар шел! Из глины делали блоки, из блоков клали стены. Вы знаете, что наш театр построен из глинобитных блоков? — Шойлек сказал это таким тоном, словно речь шла по меньшей мере о граните или лабрадоре. . .

— Ну, а хотя бы одно стоящее стихотворение ты об этом написал? — спросил Гиршке.

— Одно стихотворение? Сколько я их вам уже показывал!

— Нет, Шойлек, те стихи, что ты мне до сих пор показывал, не то. . . Напиши такое стихотворение, чтоб каждое слово его так же плотно лежало в строке, как глинобитные блоки в этих стенах. Ты понял меня?

— И тогда вы напечатаете?

— Конечно!

У Шойлека от неожиданности чуть-чуть с носа не упали очки, и в ту же минуту его как ветром сдуло. Не иначе, подумал Гиршке, как побежал «замешивать» новые стихи.

Гиршке не раз доводилось бывать в еврейском театре в Киеве, Москве. Он видел крупнейших мастеров сцены — Михоэлса, Зускина. И теперь, в фойе, после того, как Шойлек Ушацкий оставил его одного, он вдруг ощутил в себе настроение, схожее с тем, которое испытывал когда-то в Московском ГОСЕТе. Но что общего, с удивлением подумал он, между этим совсем молодым еще театром и тем, всемирно прославленным? Разве только одно то, что большинство местных актеров училось в театральной школе при ГОСЕТе и вылетело, таким образом, из гнезда Михоэлса. Нет, не одно это, были и другие связующие нити. . .

Но Гиршке не удалось додумать эту мысль до конца.

— О чем замечтался наш поэт? — Эти очень громко произнесенные слова вместе с увесистым хлопком по спине обрушились на Гиршке совершенно неожиданно откуда-то сверху. Он поднял голову.

— А, Клафтерман? Гилел Клафтерман?

Это был известный стахановец с обозостроительного завода, Гиршке не раз писал о нем в газете.

— Как дела?

— Как видишь, всем семейством пожаловали в театр. Мы не пропустили еще ни одной премьеры.

Клафтерман придвинулся ближе.

— Когда мы, ребята из Аргентины, в тридцать первом приехали на станцию Тихонькая, а потом отправились в Волочаевку строить коммуну «Икор», могли ли мы тогда думать, что у нас вскоре будет здесь такой театр? .. Ну ладно, мечтай, поэт, мечтай, не буду мешать! — махнул он на прощанье рукой. — Я где-то в толпе тут потерял жену и сына. . .

Гиршке так и не мог вспомнить, о чем он думал до появления Клафтермана, и сейчас, когда тот удалился, стал думать о нем и его аргентинских «ребятах». Шутка сказать, откуда их сюда принесло, — из Южной Америки! И разве только оттуда приезжали сюда? Гиршке внимательно взгляделся в публику. Вот неподалеку стоят со своими женами несколько молодых мужчин из Литвы. А вон та красивая парочка — из Польши, — учитель и учительница. Чуть поодаль стоит пожилая, со вкусом одетая женщина — она из Парижа.

Всматриваясь в лица людей, заполнивших фойе, Гиршке вдруг увидел в противоположном конце чету Шпиглер. Они стояли в группе мужчин и женщин, работников швейной фабрики, и о чем-то оживленно с ними беседовали. Сам Шпиглер невысок, у него круглое, немного бледное лицо со спокойным, мягким выражением светлых глаз. Она выше его, голова гордо вскинута в обрамлении выющихся черных как смоль волос. В длинном вечернем платье она выглядела очень эффектно. Вениамин Исаакович — так звали его, Мариам Абрамовна — ее. Знакомые звали ее просто Мариам, а между собой — «красавица Мариам». Из-под темных крыльев бровей ее блестящие черные глаза и не пытались скрыть сознания своей красоты.

Гиршке хорошо знал Шпиглеров. Как-то раз он пришел на фабрику — нужен был репортаж для первомайского номера. Секретарь партбюро, с которым он посоветовался о том, кто заслуживает быть включенным в праздничный репортаж, в числе других назвал и заведующего закройным цехом Вениамина Исааковича Шпиглера.

— Это опытейший мастер, — сказал о нем секретарь, — если хотите — профессор в своем деле, и к тому же очень скромный человек. Новые методы работы, кото-

рые мы ввели с его помощью, позволили достигнуть высокой производительности труда и отличного качества.

Гиршке встретился с Вениамином Исааковичем, узнал все, что требовалось для репортажа, и уже собирался уходить, когда тот вдруг заметил, что знаком с его стихами, что они ему нравятся и что стихи эти особенно по душе его жене.

Для Гиршке это оказалось полнейшей неожиданностью.

— Ваша жена тоже работает на фабрике? — спросил он.

— Нет, она не работает, — ответил Шпиглер, — она больна. Но много читает, любит поэзию. Блока, например, знает почти всего наизусть.

— Блока? — удивленно переспросил Гиршке. — Это мой любимый поэт.

Назавтра Гиршке побывал у Шпиглеров дома. Жена Вениамина Исааковича почему-то представлялась ему пожилой болезненной женщиной, к тому же близорукой, в очках. Он был немало удивлен, когда на пороге опрятно прибранной, уютной квартиры его встретила высокая, довольно молодая и красивая женщина. Гиршке даже растерялся было в первые мгновения и уже не рад был собственной смелости, приведшей его сюда, но деваться было некуда. Он вошел в дом, и не прошло и получаса, как от его чувства растерянности не осталось и следа. Он даже не заметил, как пробежали несколько часов, которые провел здесь.

В первый же вечер их знакомства Мариам ему читала Блока.

— Что бы вы хотели послушать сначала? — спросила она, взглянув на него своими большими, черными, сияющими глазами.

— «Незнакомку».

— Хорошо.

У Мариам был такой приятный голос, что ему могла бы позавидовать профессиональная актриса. Читая, она как бы раскрывала душу каждого слова, каждой строки. Когда она кончила, Гиршке долго и восхищенно жал ей руки — такое с ним случалось впервые.

— Читайте еще! — едва слышно прошептал он.

И она читала.

Гиршке стал часто бывать у Шпиглеров. У них исчезали его обычные застенчивость, скованность, робость, он чувствовал себя легко и непринужденно.

Однажды — это было днем — они вдвоем сидели с Мариам в ее уютной, затемненной широкими шторами комнате. Она читала ему Блока, а он ей — свои стихи, — честь, которой редко кто удостоивался. Прослушав несколько его стихотворений, Мариам заметила, что они чем-то напоминают ей стихи Шварцмана.

— Вы знаете Шварцмана? — изумленно спросил Гиршке.

— Чему вы удивляетесь? — ответила Мариам. — Шварцмана я очень люблю. Почитать вам что-нибудь?

— Больше всего я люблю у Шварцмана стихотворение о матери: «Не нужен мне сейчас никто, а только...»

— «...мама, — подхватила Мариам. — Будь она со мной, я ей сказал бы...»

Она наизусть прочла это стихотворение до конца. Гиршке смотрел на Мариам широко раскрытыми глазами.

— Почему же вы молчали о том, что... — тихо произнес он.

— О чем именно?

— Что в Биробиджане живет женщина, блестяще знающая Блока и Шварцмана — двух моих самых любимых поэтов...

— Я полагаю, что в Биробиджане, может быть, живет не одна такая женщина, — ответила Мариам.

— Вы так думаете? — спросил он и заметил в ее глазах веселые огоньки. Никогда еще Гиршке так не хотелось обнять женщину, как в эту минуту Мариам. Но он испугался этого своего внезапного желания и... бежал. Самым обыкновенным образом — открыл дверь и бежал. А она с порога долго смотрела ему вслед...

После этого он не показывался у Шпиглеров. Пришел тогда лишь, когда, по его представлениям, эпизод с его бегством наверняка уже был предан забвению.

После обеда Вениамин Исаакович ушел на работу. Мариам принялась за мытье посуды, и, хлопоча по хозяйству, она выглядела по-особому грациозной и обаятельной.

Протянув Гиршке чистое полотенце, сказала:

— Не скучайте. У меня никто не сидит без дела. Помогите протереть посуду!

Некоторое время оба делали свою работу молча.

— Я больше никогда не буду вам читать стихи. А еврейские — подавно, — заговорила Мариам.

— Почему? — спросил Гиршке с застывшей вдруг в его руках фарфоровой тарелкой.

— Потому что не хочу, чтоб вы снова от меня бежали.

Тарелка выпала у Гиршке из рук. «Значит, не забыла...» Смущенный, он нагнулся, — тарелка, к счастью, оказалась цела.

— Считайте, что вам повезло, — смеясь, сказала Мариам.

— А если бы разбилась?

— Я не потребовала бы у вас новой взамен, нет! Впервые, вы такой тарелки теперь не найдете...

— А во-вторых?

— Я бы потребовала с вас...

— Чего?

— Стихов!

— Стихов? — Гиршке, вдруг почувствовав в себе какую-то большую легкость, свободу, протянул руку Мариам: — Подавайте-ка скорее ваш альбом!

— Что еще за альбом?

— Тот, в который поэты записывают вам на память свои стихи.

— Какие поэты? — весело рассмеялась Мариам. — Среди всех моих знакомых вы первый, который...

— А Шварцман? А Блок?

Мариам смотрела на него своими сияющими черными глазами.

— Вы действительно думаете, что такой обыкновенной женщине, как я, поэты могли бы посвящать стихи?

— Обыкновенной женщине?! — воскликнул Гиршке. Он вырвал листок из своего блокнота. — Сколько вы даете мне времени?

— На что?

— Чтобы написать вам стихи.

— Мне — стихи? Да сколько угодно!

Она удалилась на кухню, пытаясь скрыть свою радость по поводу того, что ей собираются посвятить стихи.

— Я пока займусь своим хозяйством, — сказала она.

Вернувшись затем в комнату, Мариам заметила на столе исписанный листок.

— Читайте, — сказал Гиршке.

Мариам взяла листок. Стихотворение называлось «Небесная тарелка».

Мне сейчас никто не нужен,
Кроме Мариам,
Будь она моею, я бы ей сказал:
С неба тарелку достань,
Милая моя, — она тебе
По заслугам дань.

Лицо Мариам залилось румянцем. Дальше она читала про себя, пробегая глазами от строчки к строчке. Затем подошла к Гиршке и поцеловала его в лоб. В эту минуту дверь отворилась и вошел Шпиглер. Он вернулся с работы. Гиршке как-то по-детски растерялся. А Мариам, спокойно отойдя от него, протянула Вениамину Исааковичу листок со стихотворением:

— Посмотри-ка, что подарили твоей жене.

И тут же рассказала о фарфоровой тарелке и о том, как появилось стихотворение.

Шпиглер выслушал Мариам, прочел стихи, потом подошел к Гиршке и протянул ему руку:

— Спасибо!

— За что?

— За стихи.

— Но...

— Нет-нет, — сказал Шпиглер, — мне самому давно уже следовало подарить стихи Мариам. Но как поэт я никуда не гожусь. Раза два пробовал — ничего не вышло. Случаются и среди хороших закройщиков плохие поэты, ничего не напишешь... А вот вы сделали это за меня. Благодарю!

Сказал он это искренне, просто, и Гиршке, совершенно успокоенный, пожал руку Шпиглеру.

В тот вечер они еще долго сидели втроем. Шпиглер рассказывал о своей жизни на чужбине, о том, как в 1917 году приехал в Одессу, где во время гражданской войны его чуть было не расстреляли деникинцы.

Потом они долго гуляли по петляющим переулкам вокруг швейной фабрики.

Увидев теперь в фойе Шпиглеров, Гиршке направился к ним, но на полпути остановился. Он заметил, что вы-

сокий журналист из радиокомитета, старый холостяк и циник, которого Гиршке недолюбливал, подводит к Шпиглерам Шолома Либкина. Он, собственно, не знал, почему, но ему страшно не хотелось, чтобы состоялось это знакомство. Однако ничего не поделаешь, вот они ужежимают друг другу руки, и Мариам смотрит на Либкина с нескрываемым интересом.

Кроме Гиршке еще один человек внимательно и ревниво наблюдал за этим знакомством — Лиля. Девушка заметно расстроилась, когда Либкин покинул их, и с нетерпением ожидала его возвращения. Сколько раз ей казалось, что он уже направляется к ним, но каждый раз его кто-нибудь перехватывал. Девушки все еще стояли одни. Эмка так и не вернулся из-за кулис, а потом и Гиршке куда-то исчез.

И вот Либкин наконец направился к ним. Но что это? Около него точно из-под земли вырос какой-то долговзый субъект, — ах, да, он работает, кажется, в радиокомитете, — и уводит с собой. Куда же? А вон туда, где стоит та высокая женщина.

Гиршке так и не подошел к Шпиглерам. Не хотелось ему оказаться с ними в одной компании с Либкиным. К девушкам он тоже не пошел. Со всех сторон его толкали, и он, забившись в самый дальний уголок фойе, так и остался здесь стоять, продолжая наблюдать отсюда за Шпиглерами.

Кто бы мог подумать, размышлял он, глядя на невысокого, тихого и мягкого Вениамина Исааковича, что у этого человека за плечами такая непростая жизнь? Жил в Лондоне, приехал туда пареньком из польского местечка. Немало намытарился, пока стал мастером в своем деле. Активно работал в лондонском профсоюзе закройщиков. Когда в России свершилась Октябрьская революция, его потянуло сюда. В гражданскую войну был на Украине, стал одним из первых организаторов советских профсоюзов в Одессе. Там и встретил Мариам — молоденькую красивую швею. Девушка была опасно больна туберкулезом. О том, чтобы они поженились, она и слышать не хотела, — считала, что жить ей осталось недолго. И кто знает, что было бы с ней, если бы не он, Шпиглер. Вот уже многие годы все его заработки уходят на ее лечение, на курорты. Он вырвал ее у смерти и счастлив тем, что она живет.

После Одессы они жили в Москве. Шпиглер работал на большой швейной фабрике. Начитанный, культурный человек, он состоял членом художественного совета Московского государственного еврейского театра. Он и Мариам не пропускали ни одного представления, Шпиглер принимал участие в обсуждении спектаклей, и к его мнению прислушивались. Однажды даже случилось так, что между ним и Зускиным вспыхнул небольшой спор. В конце обсуждения слово взял Михоэлс и поддержал его, Шпиглера. Конечно, сделал он это на свой лад, весьма тактично и остроумно.

— Я, — сказал Михоэлс, — Вениамин Третий, заявляю, что в споре между двумя Вениаминами — Вениамином Зускиным и Вениамином Шпиглером — правота на стороне Вениамина Второго...

Так оно и осталось.

Обо всем этом Гиршке знал из бесед со Шпиглером и Мариам. И сейчас, стоя в отдаленном углу фойе, он вдруг вспомнил, о чем думал, когда к нему подошел Клафтерман, — ну да, он думал о нитях, связывающих этот молодой биробиджанский театр с тем большим, всемирно известным... Вот и он, Шпиглер, размышлял Гиршке, разве не одна из этих нитей? Он, и такие, как он, и многие из тех, что пришли сегодня в театр, оказались ведь здесь не случайно, как не случайно они оказались и в Биробиджане. Шпиглера, например, привело в Биробиджан желание приложить свои силы к чему-то значительному, важному, — то же самое желание, которое двадцать лет тому назад привело его с берегов Темзы на берега Черного моря.

Из Лондона в Одессу, из Одессы в Москву, из Москвы в Биробиджан — таков путь, который проделал этот с виду тихий, спокойный, мягкий человек. Вот он молча стоит там, в противоположном углу фойе, пока его жена разговаривает с Либкиным, и терпеливо ждет звонка, после которого можно будет войти в зал.

Гиршке перестал смотреть в их сторону и заставил себя думать о другом. Молодой театр, размышлял он, может стать новым творческим содружеством, — возможно, вторым ГОСЕТом. Почему бы и нет? В любом деле стремиться надо к высоким целям, иначе и не стоит ничего затевать. Вот и в Биробиджане сам воздух как бы пропитан стремлением к чему-то большому, важному.

И не потому ли все, что здесь успели уже создать, — первые заводы, фабрики, улицы, — выглядит в глазах их строителей веселее, значительнее, нежели они на самом деле... Вот и здесь, в этом небольшом театре, здание которого построено из глинобитных блоков, царит теперь атмосфера, присущая театру какого-нибудь большого города, и без малейшего намека на провинциальность. А уж зрителями, собравшимися здесь, и подавно можно гордиться.

Обо всем этом Гиршке размышлял, рассматривая большую афишу на противоположной стене фойе с крупно набранным словом «Бойтре». В слове этом звучало что-то набатно-громовое, волнующее. Это было название спектакля, на премьеру которого и собрались все эти люди, до отказа заполнившие фойе.

Прозвенел звонок. Двери распахнулись, и в зал хлынули первые потоки зрителей.

— Злишься? Не надо...

Неожиданно и непонятно каким образом Эммануил очутился возле Гали. Он ласково дотронулся до ее руки.

— Меня немного задержали.

— Немного? — переспросила Галя. — Без тебя, видно, там нельзя было обойтись?

— Да что ты? Посмотрела бы, как все взволнованы, возбуждены. Как же не поддержать ребят в такую минуту?

И громко, чтобы слышали все, продолжал:

— Это будет прекрасный спектакль. В Биробиджане еще такого не видели! Да не только в Биробиджане...

Гиршке, виновато улыбаясь, подошел к Симе. Он, может быть, и не подошел бы, но их места были рядом.

— Куда это ты запропастился? — спросила Сима. Она старалась казаться равнодушной, но это ей плохо удавалось.

Гиршке, пропустив ее вперед, пробормотал что-то невнятное.

Лишь одна Лиля так и не дождалась Либкина. Уже усевшись на свое место около Симы, она вдруг увидела его, входившего в боковую дверь фойе вместе со Шпиглером и его женой. Галантно откланившись ей, Либкин, улыбаясь в холеную бороду, направился к ложе направо и вскоре появился там, рядом с Эммануилом и Галей.

— Что-то ты сегодня сам не свой, — заметила Сима, глядя на Гиршке.

— Тебе кажется.

— Надеюсь, ты уже больше никуда не сбежишь? Сейчас ведь начнется спектакль, я все-таки поправлю тебе галстук.

Гиршке опять почувствовал у себя на шее ловкие пальчики Симы.

В зале стало темно. В ярком свете прожекторов чуть колыхался зеленый бархатный занавес. Вот он медленно начал раздвигаться, и в зал потекла старинная и вместе с тем чем-то очень близкая мелодия:

По обе стороны — лесá,
Сосны и ели. . .

Как только по окончании первого акта в зале вспыхнул свет, Эмка тут же устремился за кулисы.

— Хорошо, очень хорошо! — говорил он, радостно пожимая руки актерам.

Лица актеров под гримом лоснились от пота, глаза лихорадочно блестели и выражали неумное желание услышать, что все идет хорошо. . . Эмка и говорил им, что все идет прекрасно, подбадривая их и будучи действительно уверен, что каждый из них сегодня превзошел себя.

В антракте Либкин снова гулял в фойе со Шпиглерами. Беседовал он в основном с одной Мариам. У обоих радостно светились лица, от этого они выглядели еще красивей, и люди, не знавшие их, говорили:

— Что за прелестная пара!

Шпиглера при них как-то не замечали. Но Мариам то и дело обращалась к нему с вопросом: «Как ты полагаешь, Нюмочка? Не так ли, Нюмочка?» Шпиглер понимал: она это делает для того, чтобы он не чувствовал себя одиноким, — и каждый раз утвердительно кивал ей в ответ головой.

Во втором антракте Лиля не выдержала и встала у ступенек лестницы, ведущих из ложи в фойе. Мимо нее пробежал Эммануил, — видно, опять за кулисы, — и даже не заметил ее. А вот и медленно спускается Либкин. «Заметит или нет?» У Лили сильно забилося сердце.

Да, заметил. Подошел, как тогда, на вечеринке, и, взяв ее двумя пальцами за подбородок, словно маленькую девочку, спросил:

— Ну как, нравится?

И, не дожидаясь ответа, пошел.

Лиля двинулась было вслед за ним, но тут же опомнилась. Хотела что-то крикнуть ему вдогонку и не смогла. На глаза навернулись слезы. Он, видимо, вовсе считает ее ребенком, малым ребенком... Ну конечно, куда ей до той женщины, от которой он весь вечер не отходит!

А Либкин снова гулял со Шпиглерами в фойе. Говорили о спектакле, об игре актеров. Разговор зашел о Моисее Кульбаке — авторе пьесы.

— Так он, оказывается, не только хороший поэт и прозаик, — чего стоят хотя бы его «Зелменянер»! — но и драматург превосходный! — восхищалась Мариам. — Не так ли, Ньюмочка?

— Именно так... — поддержал ее Шпиглер.

— А вы как считаете? — обратилась Мариам к Либкину.

Тот наклонился к Мариам и, как-то странно улыбаясь в холеную бороду, сказал:

— С Кульбаком я знаком лично. Знаете, у него очень большие и некрасивые уши...

Мариам посмотрела на Либкина, и в ее больших глазах застыло удивление.

— Вы шутите? При чем тут...

— Я говорю вполне серьезно.

— Оказывается, Либкин, вы злой человек, — сказала Мариам.

Прозвенел звонок, и все направились в зал.

По окончании спектакля зрители долго не отпускали артистов. Ярко освещенный зеленый бархатный занавес то и дело раздвигался. Публика не расходилась, аплодировала. Это был настоящий триумф.

Эммануил ушел за кулисы — на этот раз вместе с Галей и Либкиным. Туда же направились и Шпиглеры.

Гиршке и Сима тоже устремились было за сцену, но на полпути Сима остановилась.

— Иди один, — сказала она, — а я-то что еще за шишка?

— А я, думаешь, велика шишка? — сказал Гиршке.

— Но ты работаешь в редакции, знаком с актерами.

— Я успею их завтра поздравить.

Гиршке не любил сутолоку и шум, царящие обычно за кулисами после премьеры. Он почему-то чувствовал себя лишним, и сейчас, когда Сима отказалась идти за кулисы, он охотно присоединился к ней, и они вместе направились к выходу.

У Лили не было знакомых среди актеров. Но она все же решила пройти за сцену. Там толпилось теперь так много людей, что Лилию никто не заметил. Она из своего угла, где приткнулась, видела все — плачущих от радости артистов и приветствовавших их зрителей. Вот Либкин поочередно пожимает руки актерам и актрисам и при этом что-то говорит, усмехаясь в холеную бороду.

Понемногу стали расходиться. Вот прошли к выходу Либкин и Шпиглеры, и Лиля готова была врасти в стену, чтоб ее не заметили. Не заметили. Никого почти уже не осталось за кулисами. Чего же ждет она? Лиля сделала над собой усилие, и наконец-то ей удалось оторвать ноги от пола. Но не успела она сделать и нескольких шагов, как перед нею точно из-под земли вырос Либкин.

Откуда взялись у нее силы так стремительно ринуться мимо него? Но он схватил ее за руку и пробежал вниз, вслед за ней, несколько ступенек.

— Куда ты убегаешь, девочка? — добродушно обронил он. — Я хочу проводить тебя домой.

— У вас есть кого провожать! — с обидой и злостью воскликнула Лиля.

— Кого же? — вкрадчиво спросил он, и этот тон окончательно вывел ее из себя.

— Вы сами знаете, кого!

— Глупая ты девочка. . .

— Никакая я не девочка! — Лиля почувствовала, что у нее вот-вот брызнут из глаз слезы. Она хотела бежать, но Либкин, загородив дорогу, галантно протянул ей свою руку.

Минуту назад Лиля готова была, кажется, разорвать на части этого улыбающегося здоровяка. Но, увидев сейчас протянутую руку и преданно улыбающиеся глаза, она неожиданно для самой себя почти без сил склонилась к нему и дала себя вывести на улицу.

Высоко над головой темнело унизанное звездами небо. Веяло прохладой. Последние зрители покидали театр.

— Где ты живешь? — спросил Либкин.
— Вы действительно хотите меня проводить?
— А как же?
— Ну, а та?
— Кто та?
— Та, с которой вы провели весь сегодняшний вечер.
— Ты имеешь в виду Мариам?
— Да, Мариам.
— Не будь ребенком. — Либкин высвободил руку девушки из своей и решительно взял ее под руку.

Некоторое время они шли молча.

— Я живу далеко, — первой нарушила молчание Лиля.

— Что значит далеко?

— Очень далеко.

— Это для меня не важно, — сказал Либкин.

— А что же для вас важно?

Он наклонился к ней и, щекоча бородой ее ухо, тихо сказал:

— Вот мы с тобой познакомимся ближе, и ты узнаешь, что для меня важно.

Лилю вдруг охватила какая-то странная, безотчетная тревога — не столько от слов, сказанных Либкиным, сколько от того, каким тоном они были произнесены.

— Ну, так вот, — сказала Лиля чуть дрогнувшим голосом, — я живу на «Пищепроме». Вы знаете, где это?

— Как ты сказала? Ох, такая славная девушка, а живет где-то у черта на куличках — на пище... прище... прищ... и не выговоришь...

— Напрасно смеетесь, — обиделась Лиля, — это очень хорошее место, немного, правда, далековато.

— Ну, пусть так, пусть так. Я же тебе сказал — расстояние для меня не преграда.

Либкин еще теснее прижал руку девушки, и она прижалась к нему, как бы желая убедиться в том, что он, Либкин, действительно провожает ее домой... Это было так неожиданно... Весь вечер оба антракта она думала о том, что всему конец. Потом, когда она стояла там, за кулисами... Думала, он не заметил... А он заметил и оставил ту, красивую, Мариам. И сейчас провожает ее, Лилю, домой...

Лиля не ведала еще, что многое в жизни, и хорошее и дурное, происходит совершенно неожиданно.

А наавтра весь Биробиджан напевал старинную и чем-то очень близкую мелодию:

По обе стороны — лесá,
Сосны и ели...

И слова этой песни как-то сразу запали в душу, и распевали ее и токарь на обозостроительном заводе, у своего станка, и мотористка на швейной фабрике, и жестянщик на заводе металлических изделий, напевал ее и бухгалтер, перебрасывая костяшки на счетах в конторе, и напевали колхозники в Валдгейме, перебирая картофель.

Казалось бы, что общего было между «разбойником» Бойтре, который сотню лет тому назад расправлялся с богатеями, раздавая их имущество бедным, и этими, нынешними людьми, приехавшими в далекий край строить город, колхозы? Оказывается, общее было. И состояло оно в первую очередь в том, что эти, нынешние, приходились тому Бойтре кровной родней — внуками, правнуками. И не только это. Разве и он тогда, и они теперь не стремились к одному и тому же: сделать так, чтоб меньше зла было на свете, чтобы люди могли свободно дышать, трудиться, любить, — ко всему тому, что теперь-то по-настоящему начало воплощаться в жизнь. Вот и напевали биробиджанцы с таким чувством и задушевностью эту славную песню:

По обе стороны — лесá,
Сосны и ели...

И теперь еще, столько лет спустя, случается — где-то на свадьбе или другом семейном празднике в уютной квартире, обставленной современной мебелью и расположенной в одном из больших, многоэтажных каменных домов, какие в те годы и не снились еще биробиджанцам, кто-то вдруг, обращаясь к пожилой женщине, скажет: — Спойте-ка нам, пожалуйста, песню Бойтре...

Женщина отнекивается.

— Нет, нет, — говорят ей, — вы ее помните, вы так хорошо ее пели в прошлом году, на именинах вашего мужа...

И женщина, довольно еще пригожая, — не скажешь, глядя на нее, что у нее уже внуки, — заливается краской,

будто школьница. Когда в Биробиджане ставили «Бой-тре», говорит, она еще ходила в четвертый класс, поэтому слов как следует не помнит, да и голос у нее уже не тот, что прежде...

Но вот за столом становится тихо, молодые выключают магнитофон с куплетами Высоцкого, и всех захватывает старая песня:

По обе стороны — лесá,
Сосны и ели...

И так — по сегодняшний день.

Глава четвертая

На перекрестке Октябрьской улицы и улицы Ленина Шолом Либкин стоял в окружении шумной компании студентов из двух местных техникумов. Были тут и два педагога, недавно окончившие институты и посланные сюда на работу: совсем еще молоденькая, тоненькая девушка с розовыми щеками и большими, с прозеленью глазами — Октябрина Григорьевна — и математик Исай Давидович, долговязый молодой человек с выпирающим кадыком.

Был тут и Шойлек Ушацкий. Он глядел Либкину прямо в рот, опасаясь пропустить хотя бы одно его слово. В глазах Шойлека Ушацкого Либкин, вращавшийся в литературных сферах и знавший многих писателей, выглядел примерно так же, как некогда святой ребе Коцка в глазах своих фанатичных приверженцев — хасидов. Да и все другие смотрели на Либкина снизу вверх: ничего больше не оставалось — даже долговязый математик был на голову ниже его. Либкин, Октябрина Григорьевна и Исай Давидович долго гуляли по парку и, возвращаясь оттуда, постепенно обрастали студентами. Здания обоих техникумов и их общежития были расположены рядом с парком.

В этот час люди с чемоданами и узлами торопились на вокзал, другие — с вокзала; кто шел с моста, а кто спешил к мосту, ведущему к ближней сопке. Туда и обратно проносились грузовики, проезжали возы, груженные кирпичом, досками, гравием, керосиновыми бочками. Машины, сворачивая у перекрестка, подавали зычные си-

гналы, и возницы то и дело понукали лошадей. По ту сторону вокзала раздавались свистки маневренного локомотива. Громыхали длинные товарные эшелоны, оставляя за собой густые черные клубы дыма и запах сжигаемого угля.

Группа молодежи, стоявшая с Шоломом Либкиным на перекрестке двух оживленных улиц с вытянувшимися деревянными тротуарами вдоль одноэтажных и двухэтажных домов, выглядела со стороны довольно праздной. Но наиболее праздным выглядел среди них сам Либкин, и именно это, очевидно, и влекло к нему молодых людей. Это естественно, когда слишком затягиваются будни. Либкин же был похож на принаряженного гостя, который поторопился на новоселье и застал еще хлопотливых хозяев за побелкой стен.

Постепенно угасал длинный день уходящего лета.

Исай Давидович посмотрел на часы.

— Скоро уже начнется, — сказал он.

— Вы тоже пойдете с нами? — спросила Октябрина Григорьевна у Либкина.

— Посмотрю, — неопределенно ответил тот.

Речь шла об очередном занятии литературной студии. До начала еще оставалось немного времени, вот и остановились пока здесь, на перекрестке.

Студентов, подобно Шойлеку Ушацкому пытавшихся попробовать свои силы в литературе, было не много, но все собирались присутствовать на занятиях студии, которая вызывала особый интерес с тех пор, как занятия в ней стал проводить Давид Бергельсон. Известный писатель в то время жил в Биробиджане. Несколько лет назад он уже побывал здесь, и тогда им была написана книга «Биробиджанцы». Теперь же он приехал, как утверждали, — и он сам этого не отрицал, — для того, чтобы навсегда поселиться в Биробиджане. Знали, что имеется решение о строительстве отдельного дома для него, и этот дом уже начали строить напротив парка и Биры. Пока что Бергельсон занимал одну из комнат в небольшой гостинице, расположенной на втором этаже нового, недавно построенного здания вокзала.

— Интересно, кого старик сегодня возьмет в работу? — размышлял вслух Исай Давидович. Молодой математик проявлял немалый интерес к литературе. Злые языки поговаривали, что он пописывает тайком.

— Мишень всегда найдется, — заметила Октябрина Григорьевна.

Шойлек Ушацкий машинально поднес руку к нагрудному карману — там у него лежала тоненькая, сложенная вдвое тетрадка. Шойлек не знал еще, хватит ли у него храбрости прочитать в студии то, что в этой тетрадке написано...

— Если старик примется за кого — держись! — продолжал математик.

«Старик» — так между собой частенько уважительно и не без молодой бравады называли писателя.

Главный интерес для занимавшихся в студии состоял не в том, чтобы послушать начинающих (чаще всего они были зелены и беспомощны), а в том, что и как Бергельсон об их вещах скажет. А говорил он много любопытного, приводил примеры и из своей собственной творческой биографии, и это было интересно.

— И вы пойдете с нами, товарищ Либкин? — нерешительно спросил Шойлек.

Либкин ничего не ответил, и Шойлек повторил свой вопрос. Тогда Либкин посмотрел на него сверху вниз и, не отвечая прямо, со вздохом заметил:

— Странное дело — хедеров и ешиботов уже давно в стране нет, но вы все, гляжу я, вроде ешиботников, все еще нуждаетесь в поводе — ребенке.

— Меня вы тоже причисляете к ешиботникам? — немного кокетливо спросила Октябрина Григорьевна.

— А что, разве не бывает ешиботников в юбках? Сколько хотите!

Учительница растерялась, хотела что-то ответить, но он перебил ее:

— А знаете ли вы, что Бергельсон уже не годится в ребенке?.. Разве вы не видите, старик-то выдохся?

Подобное простить нельзя и гостю.

— Что вы говорите, Либкин? — спросил Исай Давидович. — Вы читали «Биробиджанцы»?

Октябрина Григорьевна, обиженная на этот раз уже не за себя, а за писателя, добавила:

— А «У Днепра»?

— Читал, читал, — спокойно ответил Либкин. — Поэтому и говорю — выдохся. Все то, что он пишет сейчас, намного слабее его «Когда все кончилось».

— А где сказано, что все должно быть похоже на этот роман? — волнуясь, спросила Октябрина Григорьевна. — Как хотите, но мне Миреле не по душе. Просто не понимаю ее. А «Биробиджанцы» мне нравятся, — это о нас, о нашем нынешнем дне.

— Ну, видите ли, — с пренебрежением отозвался Либкин, — если говорить о литературе с подобной точки зрения...

Октябрина Григорьевна вспыхнула и хотела вступить в спор, но вмешался Исай Давидович.

— Идемте! — сказал он. — Время не ждет. Старик не любит, когда опаздывают.

Перейдя на другую сторону улицы, они, минуя телеграф, все вместе зашагали вниз по улице. Либкин постоял немного один в нерешительности и тоже, как бы нехотя, двинулся в том же направлении.

Редакция, где проходили занятия студии, помещалась в двухэтажном глинобитном здании в начале Октябрьской улицы. С наружной стороны здание было побелено, но частые дожди уже давно смыли последние остатки извести, и оно имело блеклый, непривлекательный вид. Внутри дом изобиловал крохотными комнатками. Верхний этаж занимал горсовет со всеми его многочисленными отделами, нижний — редакции обеих газет: «Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская звезда».

В одной из комнаток «Биробиджанер штерн» и проходили занятия студии.

В комнате, где уже собралось порядком людей, сразу стало тесно, когда там появились студенты и учителя с Либкиным. Вошедшие пристроились кто где — кто нашел свободный стул, некоторые расселись на столах, на подоконнике. Небольшая, без абажура электрическая лампочка, свисавшая с невысокого потолка, освещала комнатку тусклым светом.

За столом, в левом углу, сидел Бергельсон. Рядом с ним сидели несколько писателей, все моложе его. Прищуренные доброжелательные глаза Бергельсона приветливо останавливались на каждом, кто входил в комнату.

При появлении студентов, их педагогов и Либкина Бергельсон повернулся к Эммануилу, сидевшему рядом, и спросил:

— Кто этот, высокий?

— Я вам уже рассказывал о нем, — сказал Эмма, — это Шолом Либкин.

Эммануил был самым молодым из писателей, окружавших сейчас Бергельсона. Однако было заметно, что именно к нему чаще всего обращался маститый писатель, и притом обращался как к равному. Что же касается самого Эммануила, то это его, по-видимому, ни капельки не смущало — к общению с писателями ему было не привыкать.

Эмма подозвал Либкина к столу и представил Бергельсону. Оба некоторое время молчаливо и с любопытством смотрели друг на друга — Бергельсон на Либкина снизу вверх, Либкин на Бергельсона сверху вниз. Затем они перекинулись несколькими малозначащими фразами, и Либкин отправился на свое место.

Бергельсон окинул взглядом собравшихся:

— Ну что же, начнем?

Среди собравшихся были такие, что видели писателя впервые. Но и те, кто знал его, не отрывали от него глаз. Бергельсон был невысокого роста, худощав, но, несмотря на это, выглядел внушительно, солидно, особенно когда сидел.

На коричневом от загара продолговатом лице от крыльев носа к большому рту с тяжелой нижней губой пролегли две глубокие складки. Когда он смотрел вниз, видны были большие набрякшие веки и все лицо его принимало какой-то недовольный, немного даже брезгливый вид. Но вот он поднимает темные, орехового цвета, большие глаза, лицо его озаряется, и вы видите перед собой красивого и мудрого человека.

— Думаю, можно начинать, — сказал Бергельсон. — Кто будет сегодня читать?

В комнате стало тихо.

— Кто же? — повторил Бергельсон.

— Я, — раздалось в тишине.

Шойлек Ушацкий, наверно сам насмерть перепуганный этим произвольно вырвавшимся «я», стоял ни жив ни мертв, понимая, что пути к отступлению нет, — все уже повернулись в его сторону и смотрели, как он извлекает дрожащей рукой из нагрудного кармана свою тетрадь.

— Что вы хотите нам почитать? — спросил Бергельсон.

— Рассказ, — едва слышно промолвил Шойлек. — Собственно, небольшой рассказик.

— Почему рассказик?

— Я имею в виду — небольшую вещицу.

— Ну что ж, прекрасно! Как вас зовут?

— Шойлек. Шойлек Ушацкий.

— Вы учитесь? Или работаете?

— Я студент. Учусь в педагогическом техникуме. На втором курсе.

— Отлично. О чем же ваш рассказ? Как он называется?

На лице писателя отразилось искреннее любопытство к этому худенькому пареньку в роговых очках с надтреснутым стеклышком.

— «Натуралист», — произнес Шойлек.

— Что — натуралист? — не понял Бергельсон.

— Так называется рассказ.

— Что вы этим хотите сказать?

— Ничего. Это рассказ о натуралисте.

Бергельсон слегка нахмурился, посидел немного, опустив вниз тяжелые веки, потом вскинул глаза на Шойлека и сказал:

— Видите ли, молодой человек, на свете есть разные натуралисты. Вот, к примеру, был такой французский писатель Эмиль Золя, который создал целую литературную школу, получившую название натурализм. Последователей этой школы называли натуралистами. Вы это имели в виду?

— Нет, нет, — поспешно ответил Шойлек, — не это.

— Что же тогда?

Шойлек смущенно молчал.

— Вы что-нибудь читали Золя? — не дождавшись ответа, спросил Бергельсон.

— Нет.

— Но вы слышали о нем?

— Кое-что...

— Жаль.

— Натуралистический метод Золя, — пояснил Бергельсон, — оказался несостоятельным. Но читать его нужно, Золя — хороший писатель. А знаете ли вы, чем именно натурализм плох? — Бергельсон перевел взгляд с Шойлека на аудиторию. — Когда в художественном произведении есть пятьдесят процентов жизненной правды,

это хорошо, потому что остальные пятьдесят процентов — это правда синтеза и мы имеем в итоге подлинно художественное произведение. Но когда все сто процентов — одна только жизненная правда, — в итоге получается ложь. Это и есть натурализм.

По комнате пронесся приглушенный шумок.

Математик что-то поспешно записал к себе в блокнот.

— Записывайте, записывайте, — шепнула ему на ухо еще не расставшаяся с привычками вчерашней студентки Октябрина Григорьевна. — Я потом перепишу у вас. Какая сжатая формулировка...

— Так что же за натуралист у вас? — повторил Бергельсон.

Шойлек, смутившись еще больше, ответил:

— Я имею в виду юного натуралиста, садовника...

— А, так и сказали бы! Ну, читайте, читайте...

Шойлек Ушацкий читал минут пятнадцать. От волнения и страха он часто заикался, с лица его лил пот.

Шойлек читал о мальчике, который любит растения, и о том, как он, этот мальчик, и еще несколько его товарищей заложили в молодом таежном городе первый фруктовый сад. Заканчивался рассказ описанием того, как они ждут, чтобы деревья выросли и дали плоды.

Окончив чтение, Шойлек бросил несмелый взгляд по сторонам, желая увидеть, какое впечатление произвел рассказ, но все кругом сидели с холодными, равнодушными лицами. На Бергельсона же он боялся взглянуть. Шойлеку было невдомек, что в глазах присутствующих он уподобился той птичке, которая, ненароком залетев к крокодилу в пасть, еще не ведает, что тот вот-вот с лязгом сомкнет зубы...

По углам о чем-то шушукались.

— Ну, кто хочет выступить? — спросил Бергельсон.

Стало совсем тихо. Потом немного раскачались, взяли слово студенты — один, другой, третий.

— Рассказ мне понравился, — сказал первый студент. — Это же очень важно, чтобы у нас здесь, на Дальнем Востоке, где никогда не росли плодовые деревья, начали разводить сады, как на Украине.

— Писать так, как пишет Шойлек Ушацкий, я тоже умею, — начал второй.

— Почему же вы не пишете? — спросил Бергельсон.

— Потому, что писать надо уметь. Но я-то знаю, что не умею, а Шойлек Ушацкий этого, видимо, еще не знает. Третий студент попытался смягчить этот отзыв.

— Рассказ неплохой, — сказал он, — но у автора малость хромает язык. В некоторых местах он употребляет не те слова...

Больше охотников выступить не нашлось.

— Кто еще хочет что-то сказать? — спросил Бергельсон. — Никто? Тогда у меня к вам вопрос, — обратился он к Шойлеку. — Скажите мне, пожалуйста, что вас побудило написать этот... ну вот то, что вы сегодня нам прочитали?

— Да все это со мною же самим и произошло, — вскочив с места, ответил Шойлек.

— То есть вы хотите сказать, что вместе со своими друзьями заложили сад?

— Ну да.

Помолчав немного, Бергельсон мягко заметил:

— Вы понимаете... Садитесь, садитесь, мы ведь не на уроке в техникуме. Мы здесь просто беседуем с вами на равных о литературе.

Шойлек сел. Бергельсон не спеша принялся закуривать папиросу.

— Понимаете ли, — произнес он, — ни один человек не может стать писателем только потому, что с ним что-то произошло. В таком случае, сколько людей на свете, столько было бы и писателей, с каждым из нас ведь что-нибудь в жизни да происходит. Вот взять, к примеру, Анну Каренину. Вы читали «Анну Каренину»?

— Нет.

— Вы и эту книгу не читали? Жаль. Ну вот, когда прочтете «Анну Каренину», вы увидите — в жизни этой женщины многое произошло. Но написал о ней Лев Толстой.

По комнате пронесся сдержанный смехок.

— А теперь о том, что вы нам здесь читали, — продолжал Бергельсон. — То, что вы с вашими друзьями разбили фруктовый сад, это очень хорошо. Вы вполне заслужили, чтобы о вас напечатали заметку в «Биробиджанер штерн» или в «Биробиджанской звезде». Но то, что вы сами написали... Вы понимаете, в художественном произведении, я вам уже говорил, должна быть не только

сама по себе одна жизненная правда — этого еще мало. Должна быть показана правда жизни, с глубоким обобщением тех жизненных фактов, которые вы описываете. Попытаюсь показать вам это на одном примере.

Бергельсон поднес спичку к погасшей папиросе и зажег ее. Лукаво улыбаясь одними глазами, он продолжал:

— Мне когда-то довелось жить в Германии. И там заведено: куда ни повернешься в доме — часы. В каждом углу тикают разные — большие и маленькие, настольные, настенные, — в общем какие хотите часы.

По комнате прокатился смех.

— Одни часы показывают пять минут третьего, другие — три часа пять минут, третьи — еще что-то. Но вот на улице большие башенные часы пробили три раза, и все знают — теперь действительно три часа. Но вот представьте, что в то же время где-то в заброшенном углу дома какие-то плюгавенькие ходики торопливо и гнусаво отсчитали двенадцать ударов. . . Вы скажете, конечно, что это неправда. Но как быть с первыми тремя ударами ходиков — они-то не обман?

Помолчав немного, Бергельсон продолжал:

— Но в том-то и дело, что когда часы в три часа ночи бьют двенадцать раз, первые три удара — тоже обман. Вот что можно сказать о прочитанном здесь сегодня. Вы меня поняли? — обратился к Шойлеку Бергельсон.

Шойлек сидел, опустив голову. Он понял одно — то, что он написал, никуда не годится, и если бы в комнатке не было так тесно или сиди он поближе к двери, он давно отсюда сбежал бы.

Бергельсон понял состояние незадачливого автора и ласково сказал:

— Но вы, пожалуйста, не расстраивайтесь! Ничего страшного не произошло. Чем там у вас это кончается? Вы ждете, чтобы деревья выросли и принесли плоды? Вот и мы немного подождем. Начало всегда бывает трудным. Я тоже когда-то трудно начинал. Хуже, однако, молодой человек, то, что вы так мало читали. Вот, скажем, «Мадам Бовари» Флобера вы читали?

— Нет.

— А Кнута Гамсуна?

— Тоже нет.

— Что же вы в таком случае читали? — спросил уже с сердитой ноткой в голосе Бергельсон.

— Вас! — выпалил Шойлек.

— Меня? А что именно?

— «Биробиджанцы».

— «Биробиджанцы»? А «Вокруг вокзала» вы читали?

— «Вокруг вокзала» — нет.

— С «Вокруг вокзала» я когда-то начинал. Читайте, читайте, юноша, на свете есть много хороших писателей. И вот когда вы достаточно начитаетесь, можно будет подумать и о том, чтобы начать кое-что писать... Кто еще хочет выступить? — спросил Бергельсон.

Вопрос, по существу, был риторический — Бергельсон знал, что после него обычно никто больше слова не берет.

— Разрешите мне! — раздался голос.

А, это тот, высокий, с которым его, Бергельсона, познакомил Эммануил. Он что-то хочет сказать.

— Пожалуйста!

— Вот вы рассказали эту притчу с часами, — обращаясь к Бергельсону, начал Либкин. — Это интересно. Позвольте, однако, не совсем согласиться с некоторыми вашими выводами. — Голос Либкина перешел на самые низкие октавы. — Вы полагаете, что настоящий художник тот, кто, как и большие башенные часы в вашем примере, отсчитывает три раза, когда и в самом деле три часа. Но не думаете ли вы, что некоторым образом противоречите этим сами себе?

Октябрина Григорьевна, Исай Давидович, Шойлек и все остальные с изумлением посмотрели на Либкина (что за бесцеремонность!), затем на Бергельсона (что-то ответит тот?).

А он с легким прищуром, внимательно и молча смотрел на говорившего Либкина.

— Вы здесь высмеяли, — рокотал тот своим низким басом, — натурализм Золя. Правильно. Но что же, однако, представляют из себя ваши башенные часы, которые ровно в три бьют три раза? Не те ли это самые сто процентов жизненной правды, о которых вы сами говорите? Это тот же натурализм, или, как вы сами говорите, тот же самый обман! Разве не так?

Бергельсон еще больше прищурил глаза, молча потянулся к папиросе, но так и не закурил.

— Мы смотрим на эти вещи несколько иначе... — сказал Либкин.

— Кто — мы? — спросил Бергельсон.

— Мы — молодые, мы, идущие в литературу для того, чтобы обновить и освежить ее. Я имею в виду литературу не только здесь, у нас, но литературу в широком, в мировом масштабе. Мы считаем, что ваши башенные часы, извините, принадлежат уже вчерашнему дню. А вот как раз в тех маленьких ходиках, что бьют двенадцать раз, когда на самом деле три, — в них-то и заложена правда, они-то подлинное искусство и есть!

В комнате стало совсем тихо. После короткой паузы, указав рукой по сторонам, Либкин продолжал:

— Возможно, некоторые из тех, что сидят здесь сегодня, когда-нибудь станут писателями. Возможно. Очень бы не хотелось, чтоб они шли теми путями, которые оказались несостоятельными. Поэтому я и позволил себе сказать здесь эти несколько слов...

Он сел.

Октябрина Григорьевна переглянулась с математиком. Исай Давидович шепнул ей на ухо:

— Интересно, что старик ответит ему?

— Кто-нибудь еще хочет высказаться? — спросил Бергельсон.

Желающих выступить не было.

Тогда Бергельсон совершенно спокойно заговорил:

— Здесь только что высказался товарищ... товарищ Либкин, так, кажется, зовут вас? Я не ошибся?.. Товарищ Либкин высказал некоторые мысли относительно литературы, так сказать, в мировом масштабе. Можно было бы с вами и поспорить, товарищ Либкин, но... — Бергельсон указал на часы у себя на руке, — но уже половина одиннадцатого, по-настоящему половина одиннадцатого. Ну ладно, мы-то с вами бездельники, мы выспимся. Но молодым людям, которые здесь сидят, завтра рано утром надо идти на работу или на лекции. Я думаю, мы нашу дискуссию поэтому отложим на другой раз. Просто потому, что уже поздно. А насчет того, какие часы лучше — те ли, что в жизни и в литературе показывают правильное время, или те, что день превращают в ночь и наоборот, — в этом, я думаю, молодые люди сами разберутся. Ничего, у них крепкие головы на плечах.

Покинув тесную редакционную комнатку, многие из присутствовавших на занятии студии не спешили расходиться, обменивались впечатлениями. Галя и Сима то-

же были на этом занятии студии — они пришли сюда вместе с Гиршке и Эмкой.

— Лиля, — сообщила Сима Либкину, — тоже хотела прийти, но ей как раз выпало ночное дежурство в больнице.

Мы договорились между собой так: Галя и Сима пока что погуляют немного с Либкиным и остальными, а Эмка, Гиршке и я проводим Бергельсона в гостиницу и потом вернемся к ним.

Либкин с Галей и Симой, Октябрина Григорьевна, Исай Давидович, Шойлек Ушацкий и остальные студенты направились по Октябрьской улице вверх, к парку. А мы с Бергельсоном пошли вниз, к вокзалу.

У вокзальной лестницы мы уже хотели попрощаться, но Бергельсон вдруг сказал:

— Знаете, что, ребята, поднимемтесь ко мне наверх, посидим немного. Что-то сегодня совсем спать не хочется.

Эмка и Гиршке переглянулись, — как быть с Галей и Симой? Но чересчур велика была честь этого приглашения, и мы не раздумывая поднялись наверх. Номер гостиницы, который занимал Бергельсон, был невелик, но после тесной, полутемной комнатки редакции он выглядел очень уютным, светлым: комнату освещала большая электрическая лампа под красивым молочно-белым абажуром, и еще одна лампа стояла на письменном столе, от нее расстилался вокруг ровный, спокойно-зеленоватый свет.

Нам уже приходилось тут бывать и раньше, и всякий раз казалось, что любой уголок здесь наполнен чем-то по-особому праздничным и важным.

На письменном столе лежали страницы, отпечатанные на машинке, с кое-где зачеркнутым словом или аккуратно вписанной от руки строкой. Я с тайным трепетом смотрел на эти страницы и думал о том, что человек, написавший их, был уже известен в литературе, когда ни Гиршке, ни Эмки, ни меня еще на свете не было... Как всегда, когда я приходил сюда, меня и теперь охватила легкая оторопь, — большой писатель нас, желторотых птенцов, приблизил к себе и этим самым как бы выдал каждому из нас солидный вексель, а сможем ли мы когда-нибудь его оплатить?..

— Ну и что же? — начал Бергельсон, когда мы расселись, кто где, в его комнате. Он достал из шкафа длин-

ную темную бутылку. — Этот самый Либкин вас сегодня слегка огорошил, а? Признайтесь!

Бергельсон поставил перед нами маленькие рюмочки и налил в каждую немного коньяку.

— Скажите, вас не удивило, что я не разделал как подобает этого молодца за его теории?

— По правде говоря, удивило, — ответил я.

— Ну, выпьем, — сказал Бергельсон, — лехаим!¹

Мы выпили, закусив маленькими ломтиками хлеба с голландским сыром.

— На такого, как этот Либкин, — заметил Бергельсон, сметая со стола крошки возле себя, — поверьте, жаль тратить порох. Я понимаю, для вас подобный субъект невидаль, но я, живя за границей, немало нагляделся на таких вот холеных болтунов. Ни одно кафе там без них не обходится.

— С чего же они живут?

— С чего хотите! У кого отец-толстосум, кому удастся найти чудака мецената, который кормит, поит и лелеет до поры до времени. А то подыщут богатую вдову, объяснятся ей в любви и живут, сколько можно, на ее хлебах, иногда — всю жизнь...

— Ну, а работать? — спросил Гиршке. — Как можно жить, ничего не делая?

— Наивный вы человек, — ответил Бергельсон. — Такие, как Либкин, разве когда-нибудь работают? Ничего, я на них достаточно нагляделся. Не пойму только: что привело такого субъекта в нашу страну? Тем более непонятно, как он мог очутиться в Биробиджане?

Эмка в течение всего вечера — и в студии, и здесь — был, вопреки своему обыкновению, задумчив и молчалив. Но, услышав вопрос Бергельсона, он как бы стряхнул с себя задумчивость и сказал:

— Это я его сюда привез.

— Ты?! — переспросил Бергельсон удивленно.

— Да.

— Где же ты его отыскал?

— В Москве, — ответил Эмка и с некоторым вызовом добавил: — Мне еще никогда не приходилось бывать за границей, и я не знаю, кто там сидит у них в кафе. С Либкиным я познакомился в Москве, в ресторане. Мы слу-

¹ За здравие!

чайно оказались с ним за одним столиком, разговорились, и он мне понравился.

— Чем же он тебе понравился?

— Он талантлив. Слышали бы вы, — вот они слышали, — Эмка указал на меня и Гиршке, — он весь полон идеями, замыслами, сюжетами. Это настоящий уникам...

— Сюжетами, говоришь? — заинтересовался Бергельсон. — Видишь ли, это уже кое-что да значит. Я на этом деле собаку съел и знаю — хороший сюжет чего-нибудь да стоит. Может, ты и прав, — согласился он. — Нужно с этим Либкиным поближе познакомиться. Талантливых людей я люблю.

И, глядя на нас с лукавинкой в глазах, неожиданно рассмеялся.

— Если бы не это, разве я поил бы вас коньяком, сунки вы этакие? — шутливо спросил он и налил в наши рюмки еще немного коньяку.

— А что касается того, — сказал Эмка о Либкине, — что в голове у него еще царит кутерьма, как он доказал и сегодняшней речью, — это не страшно, со временем мы направим его на истинный путь. Взять такого Либкина и сделать из него настоящего, нашего человека — разве такая игра не стоит свеч? Для того не жаль и поработать. Со временем из него получится очень полезный для нас человек, вот увидите!

— Может быть, — согласился Бергельсон, — пусть будет так! А сейчас, — сказал он, — хотите, я вам что-нибудь почитаю?

Нам стало ясно, что именно для этого Бергельсон и пригласил нас в этот поздний час к себе. Читал он спокойно и неторопливо, как бы смакуя каждое слово. Закончив, отложил странички в сторону и устремил на нас полные ожидания глаза.

«Неужели этот признанный мастер ждет нашей оценки?» — подумал я. А он именно этого и ждал.

По очереди мы высказали каждый свое мнение, и мнение это было восторженным, мы только что прослушали несколько страничек истинно прекрасной прозы. Когда мы высказались, Бергельсон с грустью заметил:

— А вот сегодня я весь день промучился над одной страницей и так и не смог ее одолеть...

Он поднялся.

— А теперь, ребята, вам пора идти! Я могу поспать утром и подольше, а вам с утра на работу!

Уже стоя на пороге, вслед нам добавил:

— А я еще тут покопаюсь в главе, которую сейчас пишу.

Бергельсон писал тогда вторую часть своей книги «У Днепра».

Над спящим городом, окруженным темными, дремлющими сопками, спокойно плыла полная луна. На улицах было пустынно.

— А теперь поищем наших девчат! — воскликнул Эмка.

— Где ты их будешь искать так поздно? — заколебался Гиршке.

— Девушек искать никогда не поздно, запомни это! Шолом отличный парень. Я многое готов для него сделать, многое готов ему отдать — только не девушек, дудки! Скажи, Гиршке, отдал бы ты ему свою Симу?

— Если бы она того захотела, — пожав плечами, неопределенно буркнул тот.

— О, нет, Гиршке, это мне не нравится. Что за примиренчество? Если будешь ждать, что она сама скажет, может случиться, что этот самый Шолом уведет ее у тебя из-под носа — и глазом не моргнет. А ты не зевай. Выставь ему кукиш с маслом! Понял?

Пройдя изрядно, на выходе из города, у МТС, натолкнулись мы на Либкина, гулявшего в обществе Гали и Симы. Он вел обеих девушек под руки, они смеялись и были так увлечены разговором с ним, что не заметили нашего приближения.

А заметив, удивились:

— Да как вы нас нашли?

— Кто ищет, тот всегда найдет! — ответил Эмка и тут же взял Галю под руку.

Гиршке ничего больше не оставалось, как стать рядом с Симой. Так мы все вместе зашагали дальше.

— Вижу, Шолом, ты без нас тут не скучал? — заметил Эмка.

— Полагаю, — сказал Либкин, — что в любом случае куда лучше провести время с двумя молодыми девушками, нежели с одним старым писателем. А как полагаете вы?

Глава пятая

Гиршке перестал бывать у Шпиглеров.

— Что случилось? — спросила как-то Мариам у Вениамина Исааковича.

— Как раз на днях встретил его на улице, — ответил тот.

— И что же?

— Занят, говорит, был в командировке, теперь собирается вновь.

Истинная же причина состояла в другом: Шолом Либкин стал частым гостем у Шпиглеров. Гиршке узнал об этом от Лили, которая очень заинтересовалась в последнее время Шпиглерами, и Гиршке рассказывал ей о них все, что знал.

Девушка была вне себя от досады. Ну да, сама же и виновата, корила она себя во всем. Он обиделся на нее в тот вечер, когда провожал ее из театра домой.

Вновь и вновь перебирала она в памяти все, что произошло в тот вечер, вспоминала каждое слово, каждый жест.

— Вот здесь я и живу, — сказала Лиля, когда они подошли к ее дому. — Правда, далековато?

— А я и не заметил, куда девалась дорога, — ответил Либкин и взял ее руку в свою.

— Спасибо, что проводили. — Лиля высвободила руку. — Спокойной ночи!

Неожиданно он обнял ее за плечи.

— Я сейчас зайду к тебе, а?

— Как, уже сейчас?

— Ну и что же?

Лиля тихо рассмеялась.

— Чему ты смеешься?

— Так...

Не рассказывать же ему, что она вдруг на мгновение представила себе, как вытянутся лица у ее родных при появлении Либкина ночью у них в доме...

— Уже поздно, — сказала она. — Как-нибудь в другой раз. Хорошо?

— А сегодня что ж?

— Сегодня пора спать.

— И что же — идти мне одному в такую даль?

— Вы же говорили, что никакая даль вас не страшит, — рассмеялась Лиля.

— Ну, если так... — Он вдруг сильно привлек девушку к себе и хотел ее поцеловать, но она ловко вывернулась из его рук.

— Либкин, мы же договорились...

Он пытался поцеловать ее еще по дороге сюда. По правде говоря, и она в душе этого желала, но все же какая-то сила заставила ее вырваться, отбежать на несколько шагов в сторону и строго сказать:

— Если вы не будете вести себя, по-человечески, я дальше с вами не пойду.

— Хорошо, хорошо, — тут же сдался он. — Значит, если я хочу поцеловать тебя, — спросил он затем, — я уже и не человек?

— Почему же? — ответила она, глядя на него снизу вверх. — Конечно, человек, но слишком уж нетерпеливый.

— А тебе по душе терпеливые?

— Да.

Остаток дороги они прошли спокойно. И вот опять...

— Либкин, мы же с вами договорились! — напомнила Лиля.

— Это ты договорилась.

— А вы?

— А я не согласен.

— Ну и жалуйтесь! — засмеялась Лиля и скрылась по ту сторону калитки.

— А кому жаловаться?

— Кому хотите. Спокойной ночи, Либкин! — крикнула она и побежала к дому.

У крыльца она затаилась, наблюдая за Либкиным. Он стоял все в той же позе — лицом к калитке, с недоуменным видом человека, вовсе не надеявшегося на такой исход. Потом он повернулся, еще помешкал и медленно зашагал прочь.

У Лили сильно забилося сердце. Ей еще никогда не приходилось переживать ничего подобного; глядя теперь вслед удаляющемуся Либкину, ей вдруг страшно захотелось распахнуть калитку, побежать, догнать и припасть к нему со словами: «Целуй меня! Ну, целуй же, целуй!» Но тут же, испугавшись этого своего чувства, она поспеш-

но вскочила на крыльцо и что есть силы толкнула дверь в сени.

С того вечера Лиля больше не видела Либкина. Потом она узнала, что он стал часто бывать у Шпиглеров. Ну да, ясно, он обиделся на нее. Но за что? Может, она неправильно вела себя с ним? Но как она могла вести себя иначе?

А Шолом Либкин действительно стал часто заходить к Шпиглерам. Приходил к ним иногда в обед, иногда к ужину. Мог появиться, когда Вениамин Исаакович был дома, а также и в его отсутствие.

Сидели ли они втроем, или Либкин был только с Мариам, у них всегда находилось, о чем поговорить, и время за беседой текло незаметно.

Мариам очень сожалела о том, что перестал заходить Гиршке. Будь и он тут, с ними, думала она, было бы еще интереснее. В то же время она сомневалась, получился ли бы вообще какой-нибудь разговор, окажись за одним столом Гиршке и Либкин, — уж слишком разные они люди.

Гиршке чувствовал себя у Шпиглеров просто и непринужденно и Мариам знала — так он чувствует себя у них. Непринужденность же Либкина была совсем иного рода — он всюду как у себя дома.

Мариам была мастерицей готовить вкусные блюда. Гиршке они доставляли удовольствие, и он это ценил. Либкин же все уплетал за обе щеки и ни слова не говорил в благодарность, как будто иначе и быть не должно.

Гиршке с одинаковым уважением относился и к Вениамину Исааковичу и к ней, Мариам, и если в душе он, возможно, как она догадывалась, к ней питал нечто большее, то старался скрывать это чувство даже от самого себя. Либкин же, напротив, с явным пренебрежением относился к хозяину дома, где его так радушно принимали, и всячески проявлял свой восторг перед нею, Мариам.

Всего этого было достаточно, чтобы оба — и хозяин и хозяйка дома — не захотели бы спускать ему такого поведения. Но в Либкине было столько апломба и уверенности в правильности всего, что он говорит и делает, что ему прощали многое такое, чего не простили бы никому другому. Ну, и прекрасная наружность Либкина тут тоже играла не последнюю роль. Мариам он определенно нравился.

А Вениамин Исаакович? Он относился к этому, как и ко всему, со своим обычным спокойствием. Он хорошо знал Мариам и никогда не унизил бы ни ее, ни себя мелочной ревностью.

В один из будничных дней, после обеда, Вениамин Исаакович, как всегда, ушел на работу, и Мариам с Либкиным остались вдвоем. Она поставила на стол таз с горячей водой и принялась мыть посуду, а Либкину, как в свое время Гиршке, протянула полотенце.

— Не сидите сложа руки. Поможете мне вытереть посуду?

Спросила она это тоном человека, не привыкшего слышать отказ.

Усмехнувшись в холеную бороду, Либкин ответил:

— Это вы хотите, чтобы я вам отработал обед?

— А хотя бы и так.

— Но если так, надо было предупредить меня об этом заранее.

— Почему?

— А может, я на такое условие и не согласился бы.

— До того не любите вы работать? — рассмеялась Мариам, погружая в горячую воду горку тарелок.

— Представьте — не люблю.

— И даже такая легкая работа, которую я предлагаю, вам в тягость?

— Дело не в том, легкая ли, трудная. Дело в принципе.

— Ого! — протянула Мариам. — Вы даже усматриваете здесь некий принцип? В чем же он заключается?

Вместо ответа Либкин спросил:

— «Войну и мир» Толстого вы, конечно, читали?

— Разумеется. И не раз.

— Так вот, помните ли вы тот эпизод, когда Пьер Безухов и Платон Каратаев томятся в сарае после того, как попали к французам в плен?

— Конечно. Это одно из лучших мест в романе.

— Так вот, помните, как Пьер Безухов все время сидел неподвижно, сложа руки? — Либкин сложил руки на груди, как бы желая показать, в какой именно позе сидел Пьер Безухов, — а Каратаев, помните, все время, не зная покоя, что-нибудь делал, мастерил — в общем находил какую-то работу своим рукам. И он никак не мог понять,

Каратаев: как это Пьер может сидеть и целыми днями ничего не делать? Но Пьер думал...

Либкин замолчал, упершись холеной бородой на сложенные на груди руки.

Мариам немного подождала, не скажет ли он еще что-нибудь, и, не дождавшись, спросила:

— И что же вы хотите этим сказать?

— Я? Ничего. Но Толстой, я думаю, хотел сказать вот что: человечество разделено на две категории — на тех, кто думает, и на тех, кто работает.

— А вы, Либкин, к какой из этих категорий относите себя?

— Думаю, что имею право причислять себя к первой.

Мариам рассмеялась. В ответ на его вопросительный взгляд сказала:

— Когда вы сидите вот так, сложив руки на груди, вы действительно чем-то похожи на Пьера Безухова. Ну, а меня? — Мариам вынула несколько вымытых тарелок и осторожно поставила их на стол. — К какой категории вы причисляете меня? Конечно же к Каратаевым?

— Вас? — переспросил он после паузы. — Вы, Мариам, не принадлежите ни к одной из этих категорий.

— Вот тебе раз! — с обиженным видом сказала Мариам. — Выходит, я и не человек вовсе?

— Почему же? Вы женщина...

— Да?

— И удивительная женщина, Мариам...

— Это вы уже меня награждаете комплиментом, Либкин?

— Нет, я говорю вполне серьезно. Вам, Мариам, не нужно ни думать, ни работать! Ваше назначение в другом...

— В чем же?

— В любви.

— Благодарю вас, что вы и для меня все же нашли какое-то назначение. Скажем, любовь... Но почему же вы думаете, однако, что она не совместима с трудом, физическим или духовным? Наоборот.

— Любовь! Она не совместима ни с чем на свете! — Либкин порывисто встал с места и шагнул к Мариам. — Милая, вы мне предлагаете протирать посуду, а я вам предлагаю любовь! Вы ощущаете разницу?

— Ну-ну, Либкин! — рассмеялась она, легонько от-

талкивая его от себя мокрой рукой. — Мало того, что не помогаете, так вы, я вижу, еще вздумали мне мешать. Это уж вовсе из рук вон! Садитесь, Либкин, и займитесь своим делом — думайте.

Все это было сказано очень мягко и в то же время достаточно категорично. Либкину ничего не оставалось, как повиноваться и сесть на свое место.

— Ладно, давайте буду вытирать тарелки, — через некоторое время откликнулся он.

— Ну, нет, такому философу, как вы, я, пожалуй, тарелки не доверю, — сказала Мариам. — Еще, чего доброго, перебьете. Вот вам ложки и вилки, вытирайте!

Либкин усердно принялся за дело, а Мариам, вытирая тарелки, время от времени, пряча улыбку, украдкой поглядывала в его сторону. Огромный и неуклюжий, он чем-то напоминал теперь дрессированного слона, который выполняет на арене свой номер и терпеливо ждет положенного ему лакомства.

Во взгляде Мариам мелькнула добродушная усмешка: «Лакомства не будет».

Отношения между мужчиной и женщиной неизбежно ведут к определенной черте, и очень важно для обоих, переступят они эту черту или нет. . . И нет, пожалуй, женщины, которая не стремилась хотя бы раз в жизни приблизиться к опасной черте и заглянуть в зияющую рядом пропасть. В таких случаях нередко начинает кружиться голова, одно неосторожное движение — и разверзается бездна. . . Есть, однако, женщины, которые могут подойти к этой грозной черте, заглянуть за нее и, не поскользнувшись, отступить назад. Такой женщиной была Мариам.

Как-то раз Либкин по обыкновению явился к Шпиглерам домой, когда до прихода Вениамина Исааковича на обед оставался еще целый час. Вид у него был угрюмый.

— Что-нибудь случилось? — спросила Мариам.

— Нет, ничего.

— Все же?

— Меня сегодня вызывали в редакцию.

— Зачем?

— Предлагают командировку в район.

— Так это же хорошо!

— Что тут хорошего?

— Увидите новых людей. Соберете интересный материал. . .

Он перебил ее:

— Но это же на целую неделю.

— Вот и прекрасно!

— Но вы представьте, Мариам, — целая неделя!

— Ну и что же?

— Неделя без вас...

Она с любопытством посмотрела на него.

— Либкин не смешите меня. Поезжайте!

— Не могу.

— Может быть, у вас есть какая-нибудь действительно веская причина?

— Одна причина, Мариам, — вы, и я больше не могу...

Вдруг, большой и грузный, он рухнул перед ней на колени. От неожиданности Мариам отступила назад. Потом ей вдруг стало смешно. Огромный, неуклюжий, он стоял на коленях с вытянутыми к ней руками.

— Молю тебя, Мариам!

«Ага, уже и «тебя», — про себя отметила она. — Ну вот, осталось кинуться к нему в объятия и...»

— Либкин, — строго сказала Мариам, — сию же минуту встаньте! Вы слышите?

— Я не поднимусь, пока...

— Пока что?

— Хоть один поцелуй!

Мариам немного смягчилась:

— Либкин, я вам друг. Сейчас должен прийти Вениамин Исаакович. Я не хочу, чтобы над вами потешался весь Биробиджан.

Он тяжело поднялся, спросил обиженным тоном:

— Почему бы вам не прогнать меня, Мариам?

— Зачем же вас прогонять? Мне с вами интересно. Вы многое знаете, умеете увлекательно рассказывать. Не часто встречаешься с такими людьми, как вы!

— Но сколько же так может продолжаться, Мариам?

— Сколько хотите.

— Но поймите, что вы мучаете меня.

— Я — вас?

— Вы не человек, вы чудовище, Мариам!

— Ну вот, я уже и чудовище...

Мгновенье — и Мариам оказалась в объятиях у Либкина. Его губы обжигали ее лицо, искали рот.

— Вы с ума сошли, Либкин! — вскрикнула Мариам,

напрягая все силы, чтобы высвободиться. — Сейчас же отпустите — слышите? — отпустите меня! ..

Но он с силой прижимал ее к себе.

Послышались шаги.

— Вениамин Исаакович! — прошептала Мариам.

Либкин поспешно отпрянул от нее в противоположный угол и, разгоряченный, взъерошенный, остановился там, тяжело дыша.

Войдя в комнату, Вениамин Исаакович бросил быстрый взгляд на жену, затем на Либкина.

— Здравствуйте! — сказал он и, обращаясь к Либкину, спокойно спросил: — Сейчас мы с вами пообедаем?

Повернувшись к Мариам, добавил:

— Сегодня сразу после обеда у меня совещание. Стол еще не накрыт?

Мариам поправила волосы. Она уже почти совсем овладела собой.

— Знаешь, Нюмочка, — сказала она, — товарищ Либкин пришел предупредить, что он не сможет сегодня с нами обедать...

— Почему же?

— Его посылают в срочную командировку. Он пришел попрощаться.

Вениамин Исаакович взглянул в сторону Либкина:

— Может, все-таки пообедаете? А? Мы сегодня с этим быстро управимся, я ведь тоже спешу.

— Нет-нет, — ответила за Либкина Мариам, — он пришел сказать...

Либкину больше ничего не оставалось, как кое-как попрощаться и уйти.

Вениамин Исаакович, как всегда, аккуратно повесил пиджак на спинку стула, вымыл руки.

Сидя за столом, спросил:

— Надолго он уезжает?

— Надолго, — ответила Мариам.

Глава шестая

Хмурый, ненастный день без усталости нагонял на город низкие тучи. Похожие на грязноватые, наспех выстиранные, сырые простыни, тучи, словно по воображаемой веревке, передвигались все дальше и дальше, и на их месте,

будто подбрасываемые чьей-то неустанной рукой, выросла очередная вереница этих грязноватых и сырых простыней. За тучами спряталось солнце, как бы в пику небольшому городу, протянувшемуся на узкой полосе земли между плавно убегающей вдаль железной дорогой с одной стороны и бурной, стремительно несущей воды рекой — с другой.

С кем же солнце захотело так зло пошутить — с городом, с людьми, живущими в нем? Но людей это, казалось, ничуть не трогало, они продолжали спокойно заниматься своей работой. Правда с солнышком все же повеселее, но и без него дела шли не худо. Тем более что люди знали: долго оно играть в прятки и шутить с ними не будет, в конце концов это ему надоест, оно выйдет из-за туч, и тогда все небо вокруг покроется яркой, безбрежной синевой.

Во всяком случае, в этом были уверены двое молодых людей, шагавших мне навстречу по улице, особенно один из них — в рубашке с распахнутым воротом и в высоких сапогах. Через руку у него был переброшен пиджак. Он шагал немного впереди своего спутника и, разговаривая с ним, каждый раз поворачивал назад свое худощавое лицо, придерживая на носу очки.

Они были еще довольно далеко и, увлеченные разговором, не видели меня. Я имел достаточно времени, чтобы разглядеть обоих, и мне только сейчас бросилось в глаза, как не похожи были эти двое один на другого. Мне даже пришла в голову весьма отдаленная ассоциация, в которой, несмотря на всю ее нелепость, была, однако, своя логика.

Шагая по широкой улице с зыбким и мягким грунтом посредине и деревянными тротуарами по бокам, Эммануил — это был он — то и дело останавливался, давая возможность своему спутнику поравняться с ним. Но через минуту тот, второй, — это был Либкин, — снова отставал, и опять повторялось то же самое. И странное дело — Эммануил, даже когда он останавливался, выглядел так, как будто продолжал идти; напротив, при виде Либкина, безостановочно шагающего, казалось, что этот человек застыл на одном месте. И вот именно сейчас, когда я глядел на них обоих, мне и пришла в голову эта отдаленная ассоциация — Вениамин и Сендерл из «Путешествия Вениамина Третьего» Менделе-Мойхер-Сфорима. Другое

время, другие люди — и все же... Что было главным в Вениамине, думал я, если отбросить все и выразить это главное одним-единственным словом? Вперед. Не зная точно — куда, не зная — как, но вперед! А главное в Сендерл, если опять-таки выразить это одним словом? Назад. В этом, размышлял я, глядя издали на Эмку и Либкина, и заключалась трагедия Вениамина, который, напавившись своей дорогой в большой неведомый мир, вынужден был дорогой Сендерл возвращаться обратно. В этом повинно было то глухое и мрачное время, в которое он жил. И вот у нового поколения, которое хорошо уже знает — куда — и знает — как, это Вениаминово стремление вперед способно совершить чудеса. Однако и сейчас все еще нет-нет да и появится Сендерл...

Не успел я до конца додумать свою мысль, как столкнулся с Эммой и Либкиным лицом к лицу.

Эмма тут же радостно сообщил:

— Ты знаешь — мы едем!

— Кто мы?

— Я и Шолом.

— Куда?

— Не спрашивай! На Амур, к границе.

— К реке Самбатсион, — сказал я, мысленно не оставляя своей ассоциации, — за горы Тьмы?

— Почти так, — ответил Эмма, еще не понимая, куда я клоню.

— К тамошним евреям?

— Вот-вот, — рассмеялся Эмма, угадав, откуда моя ассоциация, и принимая ее. — Я и говорю ему: «Покажу тебе там таких евреев, которых еще свет не видел. Они и работают там, в колхозе «Красный Октябрь». Но об этом Менделе еще не знал.

— Но если так, — пошутил я, — кто же из вас Вениамин и кто Сендерл?

— Роль Вениамина я уступаю Эмке, — пробасил Либкин в холеную бороду.

— И ты, — повернулся к нему Эмма, — не стесняешься брать на себя роль Сендерл? И тебе не совестно, Шолом?

— Почему же Сендерл? — спокойно отозвался Либкин. — Как известно, Менделе, когда он писал свое «Путешествие Вениамина Третьего», прообразами послужили Дон-Кихот и Санчо Панса. Что же касается этих дво-

их, то еще не установлено, у кого из них больше заслуг перед человечеством.

— Называй себя как хочешь, только поезжай со мною, о Санчо Панса! — патетически воскликнул Эммануил и тут же серьезно добавил: — Я тебя там действительно познакомлю с людьми, каждый из которых заслуживает по меньшей мере того, чтобы о нем написали поэму.

— Поэмы — это уж по твоей части, — сказал Либкин.

— Ну, а ты напишешь роман, идет? И заодно несколько хороших очерков для «Биробиджанер штерн».

Мы пошли вместе. Эмма рассказал мне об их командировке, и из того, что он рассказывал, было видно, как далеко мы шагнули со времен Менделеева.

Бюро обкома комсомола на своем ближайшем заседании должно было обсудить вопрос о том, как комсомольцы в колхозах помогают готовить фермы к зиме. Членов бюро разослали на места, и Эмму тоже направили с таким заданием. Он попросил, чтобы его послали в самые отдаленные колхозы — у границы, на Амуре. Ему пошли навстречу и дали дополнительное задание — познакомиться с тем, как идет подготовка клубов к зиме и как обстоят в них дела с художественной самодеятельностью.

На этот раз Эмма не собирался писать для газеты. Для этой цели он и брал с собой Либкина, выхлопотав для него удостоверение внештатного корреспондента и командировку от редакции.

— Вот ты увидишь, — уговаривал он Либкина, — у тебя это хорошо получится, должно хорошо получиться! — И тут же пояснил: — Мы, местные газетчики, уже десятки раз бывали во всех колхозах и на предприятиях. Мы знаем всех, все знают нас, и невольно приходится то и дело повторяться. Иной раз повторяемся уж слишком. Ты новый человек, увидишь все свежим глазом, и у тебя не получится шаблона, а это-то как раз и нужно!

Эмма тут же поделился своими планами. В них входило также обязательное посещение нескольких пограничных застав, где у него были знакомые командиры и где его уже ждали.

Стоило Эмме заговорить о пограничниках — и он уже не мог остановиться. Сразу видно было — эта тема ему по душе.

Из-за своей близорукости Эммануил был освобожден

от военной службы. Трудно было себе представить более штатского на вид человека, чем он. И несколько удивлял в нем этот неожиданный интерес к военным. Но еще более удивлял интерес со стороны военных к нему. Появившись на заставе, он быстро становился там своим человеком. Его даже брали с собой в наряд.

— Вы не представляете, — рассказывал теперь Эмма, — какое чувство испытываешь в наряде...

Он немного задумался, как бы подыскивая нужные слова, которые могли бы точно передать это чувство.

— Вы как бы шагаете по острию ножа. Да, да... И вот это острие — единственное, что отделяет один мир от другого...

Помолчав, тихо добавил:

— Ночь. Темно... Сыро. Все как бы окутано ватой, черной ватой. Ни звука. Ни зги... А мы идем. Идем гуськом, безмолвно, словно тени...

— Зачем? — спросил Либкин.

Эмка вздрогнул, словно там, где он только что был всеми своими помыслами, грянул выстрел. Медленно повернул он голову, снял очки и по-детски незащищенным взглядом посмотрел на Либкина.

— Что — зачем?

— Зачем это нужно? — повторил Либкин.

Эмма опять надел очки и, серьезно посмотрев на Либкина, строго сказал:

— Это пригодится.

Больше он ничего не добавил.

* * *

В тот же вечер мы собрались у Эммануила дома. Здесь были Либкин — он, в сущности, жил у Эммы, — Галя, Сима, Гиршке. Чуть позже пришла Лиля.

— Твое счастье, — весело встретил ее Эмма, — что у нас сегодня мало вина. Иначе тебе пришлось бы за опоздание выпить изрядную порцию штрафного.

— Так есть все же еще и у меня какое-то счастье? — спросила Лиля, и в больших черных глазах ее отразилась грусть, которой мы раньше у нее не замечали.

— Иди сюда, — сказала Сима, отодвигаясь в сторону и освобождая ей место за столом между Либкиным и собой.

Но Лиля, как будто не расслышав приглашения, села у противоположной стороны стола, возле Гали.

— Что это тебя не видно совсем? — спросила Галя. — Все дежуришь по ночам?

— Да, не хватает медперсонала, и очень часто приходится дежурить. Вот и сегодня еле отпросилась. — И, внезапно повеселев, Лиля воскликнула: — Как я по вас всех соскучилась! Кажется, целую вечность не виделись. Что слышно нового? Расскажите!

— Мы едем! — сказал Эмма.

— Кто?

— Я и Шолом.

— Куда?

— Спроси у Гиршке, он тебе скажет точно.

— За тридцать земель, — сказал Гиршке, — к реке Самбатсион, за горы Тьмы...

— Что это значит?

— На простом языке это означает, что мы едем на Амур, в колхоз «Красный Октябрь».

— Надолго?

— На неделю, а возможно — и на две.

— Когда же вы едете?

— Послезавтра.

— Так нужно же попрощаться! — сказала Лиля.

— А что же, по-твоему, мы здесь делаем?

— Разве так прощаются? — Лиля указала на стол, где стояли одна неполная бутылка «Горного дубняка», чайник и тарелка с дешевым печеньем.

— Это ты виновата, — упрекнул ее Эмма.

— Я?

— Ну да. Галя и Сима сказали, что без Лили не станут чистить картошку. Ты не пришла. А какая же вечеринка без картошки?

Разговор поддерживал в основном один Эмма. У него было, по-видимому, отличное настроение. Заметно было, что предстоящее путешествие с Либкиным волнует и радует его. Либкин же сидел с угнетенным видом, был хмур, рассеян. Лишь после того, как он и Эмма выпили вина, — остальные пили только чай, — он немного оживился.

Вскоре стали расходиться. Ребята пошли провожать девушек домой.

На улице Лиля на какое-то мгновение осталась одна. Либкин с невозмутимым лицом стоял немного поодаль.

На протяжении вечера он и Лиля не обменялись ни единым словом.

— Что это вы, Либкин, стоите точно изваяние? — спросила Сима.

— А что мне, по-вашему, делать?

— Нужно проводить Лилю домой!

— А вы уверены в том, что она этого хочет?

— Вполне!

— Не нужно! Не нужно меня провожать! — вдруг вскрикнула Лиля и пустилась бежать прочь.

— Либкин, — скомандовала Сима, — а ну-ка, покажите, на что вы способны!

— Что это, приказ?

— Да.

В ту же секунду Либкин с быстротой, которую вряд ли можно было от него ожидать, ринулся вслед за Лилей.

— Давай, давай! — кричал ему вдогонку Эмма. — Ты же у нас испытанный марафонец!

Лиля остановилась. Сердце ее громко стучало. Что это? Она слышит позади себя шаги догоняющего ее Либкина. Как это понимать? В памяти всплыл тот вечер в театре... Как она переживала тогда, особенно когда стояла за кулисами... А закончилось все хорошо — он проводил ее домой, хотел даже поцеловать. Конечно же она ему этого не позволила. И как можно такое позволить в первый же вечер? А потом, после этого вечера, он вдруг как в воду канул, исчез, и вот она опять слышит его шаги. Сейчас он ее настигнет. Что ей делать? Что сказать ему?

Лиля хотела бежать дальше, но какая-то неведомая сила держала ее на месте. И одна мысль в голове: «Как это понимать?»

Оказалось, она произнесла эти слова не мысленно, а вслух, хотя и очень тихо, в то время, когда запыхавшийся от бега Либкин стоял уже рядом с ней.

— Я виноват перед тобой, Лиля, виноват...

— Как это надо понимать, Либкин?

— Что?

— Все.

— Что все?

— Все, все! — воскликнула она. — И то, что было в театре, — вы же помните, целый вечер вы провели с ней, с той женщиной, с Мариам. А... провожали домой меня.

После этого я вас больше не видела. Я знаю, что вы все время пропадали у нее, у Мариам. А сейчас... снова бегаете за мной. Как это все понимать?

Либкин помолчал и усмехнулся:

— Деточка, неужели ты собираешься все в жизни понять?

Это вывело Лилю из себя.

— Не хочу я больше слышать слова «деточка»! — крикнула она. — Я знаю, что моложе, намного моложе вашей Мариам, моложе, может быть, вдвое, но я не ребенок, вы слышите, я все понимаю.

Либкин смотрел на нее сверху вниз и молча усмехался в бороду. Это окончательно взорвало девушку.

— Что же вы молчите, Либкин?

— Я думаю.

— О чем?

— Я думаю, Лиля, о том, что тебе совершенно не подходит злиться. Тебе гораздо больше идет, когда ты улыбаешься и видны на лице твои милые ямочки.

Лиля невольно улыбнулась и тут же рассердилась на себя за это.

— Вот такую я люблю тебя, — заметив ее улыбку, сказал Либкин.

— Что вы сказали? — переспросила Лиля, нахмурившись.

— Вот такую, говорю, я люблю тебя.

Лиля уже больше не чувствовала раздражения. Она устремила на Либкина долгий, испытующий взгляд.

— Что ты так смотришь?

— Я хочу видеть: слышали ли ваши уши то, что сказали ваши уста?

— Конечно.

Опустив глаза, девушка сказала:

— Слишком легко, Либкин, вы произносите такие слова. Наверное, не в первый раз вам приходится говорить их.

— Когда приходит любовь, какое значение имеет то, что было раньше? — заметил Либкин.

— Как это понять?

— Ну, я имею в виду то, что было до этого...

— Что же в таком случае имеет значение?

— Любовь — это всегда сегодняшний день. И коль есть она, то совсем не важно, что было вчера.

— И что будет завтра?

— Да.

— Как же это?

— Просто любовь. Она сама по себе оправдание всему.

— Что же это за любовь? — недоуменно спросила Лиля. — Без вчерашнего дня, без завтрашнего? Я бы не хотела такой любви.

— Однако что же мы стоим с тобой на одном месте? — сказал Либкин.

— Идемте!

Он взял девушку под руку.

— Понимаешь, — заговорил Либкин, понизив голос, — любовь не измеряется такими категориями, как время. Какое значение для нее имеют день или год? Миг любви равен вечности. А если бы можно было заполнить любовью вечность, то и она бы промелькнула как миг...

То, что говорил Либкин, казалось Лиле не совсем понятным, может быть слишком умным, но ей нравилось то, что он говорил.

— Говорите, говорите, Либкин, — попросила она.

Лиля теперь внимательно прислушивалась не столько к его словам, сколько к его голосу, рокочущему на самых низких тонах. Этот голос будил в девушке какие-то странные, до сих пор еще не изведенные ею чувства.

И неизвестно почему ей вспомнились вдруг слова матери: «Дочь моя, не думай, что красивой быть легко». Когда мама в первый раз сказала ей об этом, Лиля удивленно спросила: «Почему, мама?» — «На красивую всегда находится много охотников», — ответила мать. «Так это же хорошо, — сказала Лиля, — из них легче выбрать одного». — «А что ты будешь делать, если выберут тебя?» Лиле до сих пор непонятно, что имела мама в виду, но каким-то особым чутьем она чувствовала, что слова матери имеют отношение и к этой ее сегодняшней прогулке с Либкиным. Лилина мама умная женщина, это ничего, что она мало смыслит в грамоте. «Мужчины не ценят того, что им легко дается», — говорит она. И еще: «Может случиться, что тебе понравится человек, тебе до боли захочется поцеловать его, но ты хоть умри, а виду не подавай». В другой раз мать сказала: «Мужчина тебе все посулит, пока не получит свое. А позавтра

и глядеть не захочет в твою сторону...» — «Что это значит?» — не поняла Лиля. «То и значит! — отрезала мать. — Запомни это, дочка».

Лиля хорошо помнила слова матери. До сих пор это для нее не составляло труда, потому что никто еще не смущал и не тревожил ее душу так, как этот массивный бородатый человек, который ведет ее теперь под руку. Он то и дело наклоняется и точно околдовывает ее своим басом. О чем он говорит? Не важно. Он говорит о любви. Но та любовь, о которой говорит он, совсем иная, нежели та, о которой толкует мама. Та любовь, мамина, чересчур уж строгая: тут не стой, там не ходи, — скучная какая-то любовь. Иное дело у Либкина.

— Как вы сказали, Либкин, — тихо спросила Лиля, — миг любви равен вечности?

— Да.

— А если бы можно было любовью заполнить вечность...

— Да, да...

Ей непременно нужно было у него что-то спросить. Она, кажется, уже спросила. А он ответил? Нет. Но сейчас это уже не важно. Он крепко держал ее под руку, и она, казалось, не идет с ним, а парит в воздухе, едва касаясь земли.

Либкин видел, как в темноте светились ее большие, чуть выпуклые глаза.

«Тебе до боли захочется поцеловать его, но ты хоть умри, а виду не подавай...» — говорила мама.

Словно угадав ее мысли, Либкин неожиданно нагнулся и поцеловал ее. Лиля не уклонилась, ничего ему на это не сказала.

Они договорились встретиться на следующий день у больницы, когда Лиля закончит работу.

В условленное время Либкин был на месте. Он видел, как медсестры в белых халатах выходили из больницы на улицу или спешили в больницу. Одна из сестер направилась к нему, и он не сразу узнал в ней Лилю.

— Вы меня не узнали?

— Я впервые вижу тебя в белом халате.

— Ну как, идет он мне?

Либкин внимательно оглядел ее. Халат свободно облегал стройную фигуру девушки, глаза ее казались еще чернее, больше, чем обычно.

— Очень!

— Что очень?

— Халат тебе очень идет.

— У вас все «очень». Я не верю вам, Либкин.

Она попросила немного подождать и быстрыми шагами направилась в больницу.

В ожидании Лили он принялся расхаживать вдоль больничного корпуса. Неожиданно кто-то тронул его за руку. Перед ним стояла Лиля. В ярком крепдешинном платье девушка также была красива, но красива уже по-иному, и трудно было сказать, какое из этих одеяний больше шло ей.

— Халат тебе, пожалуй, больше идет, — заметил Либкин.

— Это вам так кажется, — рассмеялась Лиля, польщенная его замечанием. Она ведь специально выбегала к нему раньше, чтобы он мог посмотреть на нее в халате. — Так что же, — спросила она, — пойти мне снова переодеться?

— Не надо, — ответил он. — «Во всех ты, душенька, нарядах хороша...» А я добавлю: очень и очень.

— Ах, опять «очень»? — Лиля бросила на Либкина строгий взгляд.

— Что же мне делать, если ты и впрямь очень...

— Ничего не «очень». Я обыкновенная девушка, обыкновенная биробиджанская девушка, и не ищите, прошу вас, во мне ничего исключительного или необыкновенного.

И, немного помолчав, добавила:

— Иначе вы еще во мне разочаруетесь... А я не хочу, чтобы вы разочаровались, слышите?

— С такими глазами и такими ямочками на щеках тебе этого нечего бояться, — сказал Либкин, крепко беря девушку под руку.

От этих слов и его прикосновения у Лили перехватило дыхание. Она долго не могла попасть с ним в ногу. Некоторое время они шли молча.

— Так что же мы будем делать? — спросил он наконец.

— Что значит что? Мне кажется, мы уже что-то делаем.

— Что именно?

— Мы гуляем.

— Это верно, — согласился Либкин.

— Мы сегодня долго будем гулять с вами, хорошо?

— Хорошо. А после?

— Что после?

— А после?

Лиля удивленно посмотрела на него и рассмеялась.

— Вы же сами говорите — не важно, что раньше, что после...

— Гм, — неопределенно буркнул он, — у тебя хорошая память.

— А вы рассчитывали на плохую?

Они шли большим деревянным мостом, который вел к сопке. Сопка со считанными приземистыми домишками у подножия темнела на фоне заката, ярко пылавшего позади нее.

— Завтра будет ветреный день, — сказала Лиля.

— Почему?

— Такой красный закат обязательно к ветру.

Они прошли весь мост до конца и повернули обратно. Закат теперь освещал сзади их плечи.

— Так вы хотите знать, что будет после? — спросила Лиля.

— Ну да.

— После мы поужинаем.

— Поужинаем?

— Да.

— Где же?

— У меня.

— У тебя?

— Я сказала дома, что сегодня мы придем с вами к ужину.

— Ну?

— Что «ну»? Мои будут довольны. Вы познакомитесь со всей моей родней.

— И большая у тебя родня?

— В первый раз поинтересовались.

Он крепко сжал ее руку.

— По правде говоря, Лиля, из всей твоей родни, какая бы она большая ни была, интересуешь меня только одна ты, понимаешь? Но мне, конечно, интересно узнать, кого ты имеешь еще. Отца?

— Ну да.

— Маму?

- Угу...
- Сестер?
- Нет.
- Ни одной?
- Ни одной.
- Братьев?
- Троих.
- Вот как! Что они делают?

— Работают. Один — токарем на обозостроительном заводе. Второй — слесарь на заводе металлических изделий. Третий — шофер.

- А ты?
- Медсестра, как видите.
- Так ты в семье самая младшая?
- Да.
- И еще к тому же единственная девушка?
- Да.

— В таком случае, — заметил Либкин, — я очень затрудняюсь сказать, кого в вашей семье надо считать наиболее удачной — ту ли, которая самая младшая, или ту, которая одна-единственная. Но мне все же кажется, что обе они очень и очень...

- Опять?
- Но что же мне делать, если...

— У меня еще есть бабушка, — перебила его Лиля, — вот она у нас действительно очень и очень славная.

— Этому, видишь ли, я особенно рад, — отозвался Либкин.

- Чему?
- Тому, что бабушка у тебя славная.

— Вы, Либкин, надо всем готовы смеяться, — с упреком проронила девушка и добавила: — Ну вот вы и познакомьтесь со всей моей семьей.

Слова эти она произнесла тоном, который ясно говорил, что предстоящему знакомству она придает значение.

Либкин промолчал.

За сопкой медленно догорал закат. Стало темней, прохладней.

Они спустились с моста и не спеша зашагали в том направлении, где жила Лиля. Когда они подошли к ее дому, стало уже совсем темно.

— Подождите немного здесь, — попросила Лиля и тихо отворила калитку.

Она довольно долго не возвращалась, потом он услышал почти рядом ее голос:

— Идемте!

Лиля быстро пошла мимо передней стены дома с двумя освещенными окнами и, завернув за угол, где-то исчезла. Либкин не совсем уверенно шел следом. Свет, падавший из окон, освещал невысокие деревья, кусты. «Очевидно, садик», — подумал он. У задней стены дома Либкин остановился. Лили нигде не было видно, девушка словно растворилась в темноте. Вдруг он услышал откуда-то со стороны:

— Идите сюда...

Либкин стоял у задней, глухой стены дома. Напротив меж деревьев что-то темнело. Он сделал шаг вперед и, еще не видя девушки, почувствовал ее руку. Она завела его под маленький навес и усадила на что-то рядом с собой.

— Где мы? — спросил Либкин.

— В беседке. Мы у нас в саду. Давайте посидим здесь немного, а потом зайдем к нам. Хорошо?

— Хорошо.

— Вам здесь нравится?

— Очень.

— Опять? — Лиля в темноте хотела закрыть ему рот, и ее прохладная ладонь сразу ощутила его горячие губы, мягкую бороду, усы. Она хотела тут же забрать руку, но Либкин задержал ее в своей.

— Не надо, — тихо прошептала Лиля.

— Надо, надо! — горячо заговорил Либкин, целуя ее пальцы. — И не называй меня больше Либкин. Зови меня Шолом. Слышишь?

Девушка ничего не ответила. Сердце у нее сильно билось.

— Что ты молчишь? Ну, назови же меня по имени.

— Я пока еще не могу вас так называть. Может быть, позже когда-нибудь...

— И перестань мне говорить «вы». Говори мне «ты», как я тебе...

— Этого я еще тоже не могу.

— Что же ты можешь? — спросил он, сделав ко-

роткую паузу между поцелуями. — Любить ты можешь?

Сердце у Лили забилося еще сильнее.

— Не знаю...

Все эти слова почти не произносились вслух. Они как бы вместе с дыханием входили из уст в уста.

Никто их здесь не мог увидеть. В темноте они даже не могли различить один другого и только лишь ощущали свою близость.

— Это у вас или у меня? — спросила Лилия.

— Что?

— Стучит сердце.

— У нас обоих.

Странное дело — Либкину, забредшему с Лилей в эту беседку, на какое-то мгновение вдруг показалось, что и он все это переживает впервые. Затем он с удивлением подумал: да может ли это быть, в девятнадцать лет — и такая наивность... Ребенок, совсем еще ребенок... «Любить ты можешь?» — «Не знаю»... И она действительно не знает, в этом можно не сомневаться.

— Лилия, — тихо окликнул он ее.

— Что?

— Ты не боишься меня?

— Почему же я должна вас бояться, Либкин?

— Ну, все же мы здесь сидим с тобой одни.

— Ну и что же?

— Как это? Мало ли что...

— Мы еще немного с вами посидим и зайдем в дом — ужинать. Хорошо?

Это его развеселило.

— И ты действительно думаешь, — сказал он, — что все это делается так просто? Заводишь мужчину в темную беседку и выходишь с ним оттуда как ни в чем не бывало?

В его голосе ей послышались странные нотки.

— Что же тут такого?

— Как это что? Я вот тебя не выпущу отсюда — и все...

— Не нужно смеяться надо мной, Либкин.

— А я и не смеюсь, я говорю вполне серьезно.

— Ну, а если серьезно, то давайте сейчас же уйдем отсюда.

Лиля поднялась с места. Либкин тоже поднялся и встал перед девушкой.

— Лиля! — Либкин обнял ее, и она испугалась не его, а себя. Хотела крикнуть, но он успел зажать ей рот своими горячими губами, усами, бородой. Его руки жадно блуждали вокруг ее шеи.

Лиля, сделав усилие, рванулась в сторону и выскользила из беседки. Он протянул руки, пытаясь задержать девушку, но ему это не удалось. В темноте он не мог разобрать, куда она побежала, но слышал ее быстрые шаги и устремился вслед за ней. Догнал он ее почти в самом конце длинной изгороди. Очевидно, тут был огород. Земля мягко крошилась под ногами, кое-где росли кусты, и, зацепившись за куст, Либкин чуть было не упал. Лиля, едва различимая в темноте, стояла в углу, где сходились две стороны забора.

— Не надо... Я прошу вас, Либкин, не надо...

Он крепко привлек ее к себе.

— Когда же?

— Когда-нибудь. Позже...

— Теперь!

— Позже...

— Теперь!

Лиля вдруг почувствовала, как кровь зашумела у нее в ушах, и ей показалось, что она вот-вот упадет — до того ослабли ноги. Внезапно ее обожгла мысль: «Завтра он в твою сторону и смотреть не захочет». Мама...

— Нет, нет! — крикнула Лиля.

Он прижал ее к изгороди, но она быстро нагнулась и выскользнула у него из-под локтя. От неожиданности и желания удержать ее Либкин поскользнулся и упал. Некоторое время он так и оставался в одной и той же позе, на четвереньках, но Лиля этого уже не видела. Она вскочила на крыльцо, быстро толкнула дверь в прихожую и скрылась там.

Склонив голову на засов, Лиля тихо плакала в темной прихожей. Разве этого она хотела? А ведь могло быть так хорошо!.. И вот все, решительно все рухнуло...

Либкин медленно поднялся, стряхнул землю с ладоней и осмотрелся по сторонам. Неприветливым показался ему сейчас дом, хмуро глядевший на него своей глухой задней стеной. Поодаль темнела беседка.

Он сделал шаг и испугался — что-то цепкое ухватило его за ногу. Наклонившись, нащупал куст, другой, третий. Кусты, дыша на него запахом увядания, как бы нарочно сговорились не выпускать его отсюда.

Либкин боялся натолкнуться в темноте на кого-нибудь из родных Лили. Осторожно добравшись до калитки, он осмотрелся, затем быстрыми шагами вышел со двора на улицу. Здесь он наконец почувствовал себя свободней.

Шагая посреди пустынной улицы, Либкин вдруг остановился. Да, ужин, вспомнил он. Она же пригласила его сегодня на ужин.

Тут же он вспомнил Мариам и криво усмехнулся в растрепанную бороду. Та оставила его без обеда, а эта — без ужина.

Бедный Либкин! Чего доброго, его и вовсе еще уморят здесь голодом...

Глава седьмая

Вскоре начался учебный год. В школе у меня была большая нагрузка. Кроме того, подбросили еще часы в педагогическом техникуме. Как всегда, когда много работы, я и не заметил, как пролетел месяц. За это время я только два раза видел Гиршке, однажды случайно встретил на улице Эмку и ни разу не видел Либкина.

До меня дошло, будто он совсем перестал показываться на улице. Почему? И каковы результаты его командировки? Писал ли он что-нибудь? И как обстоит дело с его работой в газете?

Встретив Гиршке, я буквально обрушил на него все эти вопросы. Вид у Гиршке был хмурый, и отвечал он без всякого энтузиазма. В газете Либкин не работает и после командировки ничего не написал. Правда, в дороге он простудился и вернулся больным. Откуда ему, Гиршке, все это известно? О, это ему слишком хорошо известно потому, что, когда Либкин лежал больной, Сима и Галя каждый день ходили к нему домой, носили еду и лекарства.

— И Лиля тоже?

— Лиля — нет.

— Как же это?

— Не знаю. Между нею и Либкиным что-то произошло, — сказал Гиршке, — не знаю что, но она сейчас и слышать о нем не желает.

— А теперь он уже здоров?

— Вероятно.

— Точно не знаешь?

— Нет.

— Что говорит Сима?

— Ничего.

— Почему?

— Она больше не заходит к нему.

— А Галя?

— Тоже.

Гиршке некоторое время помолчал и тихо добавил:

— Понимаешь, об этом не очень удобно говорить, но тебе я могу сказать. Не совсем приятная вышла история.

— Что случилось?

— Однажды, когда Либкин уже почти выздоровел, к нему, как обычно, пришли Сима и Галя, принесли еду. На сей раз, однако, они застали у него в комнате какую-то блондинку и, понимаешь, — Гиршке сморщился, точно от зубной боли, — в такой ситуации, что девушки тут же пустились наутек. И больше их ноги там не было.

— Давно это случилось?

— Недели две назад.

— Но почему он не показывается на улице?

— Как видишь, у него есть дела дома, — криво усмехнулся Гиршке.

— А может быть, он все же пишет? — предположил я.

— Может быть, — согласился Гиршке. — Хотя он и говорит, что сам процесс писания не составляет для него труда, но как-то нужно все же занести на бумагу все его многочисленные сюжеты и идеи. Без этого они и подавно ничего не стоят. . .

* * *

С Эмкой я вскоре встретился на областной комсомольской конференции, где я был одним из делегатов. Эмка, как член обкома комсомола, сидел в президиуме. Незадолго до окончания дебатов он выступил. Худоша-

вый, с густой, вьющейся каштанового цвета шевелюрой, взлетающей в такт речи, в больших отсвечивающих роговых очках, он был подобен на трибуне сгустку энергии, направленному в определенную, хорошо известную цель.

Речь его многим показалась неожиданной. Полагали, что, как поэт и журналист, он будет говорить о проблемах, так или иначе имеющих отношение к его профессии. А Эммануил говорил о другом — о том, что, начиная со школы, надо готовить физически закаленную, обученную военному делу молодежь.

— Это одна из важнейших задач комсомола, — сказал он. И тут же с возмущением поведал собравшимся о том, как в нескольких колхозах пограничной зоны, где он недавно побывал и специально интересовался этим вопросом, лишь считанные молодые люди сдали нормы на значок «ГТО» и всего лишь несколько человек являются ворошиловскими стрелками. — И это — на границе! — подчеркнул он. — А там имеются комсомольские организации и секретари этих организаций. Что можно сказать об их работе?

Откинув со лба волосы, Эммануил продолжал:

— По ту сторону нашей границы, за Амуром, — японские самураи. На Западе все шире расправляет свои зловеющие крылья фашизм. У нас есть уже трагический пример Испании, и мы не можем сегодня знать, что нас ждет завтра. Надо быть в полной боевой готовности!

Эммы уже не было на трибуне, но ему все еще продолжали аплодировать.

В перерыве мы с ним встретились в буфете. Я хорошо отозвался о его выступлении, но он только махнул рукой: сказал, мол, что надо, и незачем об этом распространяться. Поинтересовался, как у меня идут дела в школе, хватает ли времени на то, чтобы писать. Услышав мой отрицательный ответ, Эмма с сожалением заметил:

— У иных свободного времени прорва, да что толку?

— Кого ты имеешь в виду?

— Так, кое-кого, — неопределенно ответил он.

Два делегата, военные, увлекли его за собою в зал.

По окончании конференции, когда стали расходиться, я уже на улице вновь столкнулся с Эммануилом.

— Когда можно застать тебя дома? — спросил я. —

Мы давно уже не собирались вместе — ты, я, Гиршке... Нам есть о чем потолковать.

— Мы обязательно встретимся, — сказал Эмма, — но несколько позже. Завтра я отправляюсь к рыбакам, начинается путина. Уже пошла кета!

Он хлопнул меня по плечу и добавил:

— Эх, если бы ты не был так поработен своей школой, махнули бы вместе! Прямо дух захватывает, когда идет кета! Ну, и поработать при этом немного не мешает! А чего стоит уха — прямо с костра, свежая, с перцем! Ничего не едал вкуснее!..

— Да, жаль, что не могу с тобой поехать, — сказал я. — Возьми Либкина.

— Либкина? — переспросил Эмма и нахмурился.

— Он все еще живет у тебя?

— Ты хочешь спросить, все ли я еще живу у него?

— Ты шутишь?

— Нет. Теперь это его квартира, я в ней больше не живу.

— Где же ты живешь?

— Где придется.

— Как же это получилось? — недоумевал я. — Либкин что, отнял у тебя жилье?

— Нет, я сам ему его отдал.

— Зачем?

— Об этом в другой раз, — сказал Эмма. — Жаль, что ты не можешь поехать со мной на путину. Но после путины мы непременно встретимся и поговорим обо всем.

На прощание он крепко пожал мне руку.

Глава восьмая

Несколько дней подряд Эмка вместе со смуглыми от загара молодыми колхозными рыбаками выходил на баркасе в просторно раскинувшийся Амур. Вместе с ними проделывал он нелегкую, но увлекательную работу. Ловко и сноровисто опускали в воду длинные, растянутые сети; затем сети, тяжелые от улова, изо всех сил тащили наверх, и вот уже расплескалась на дне баркаса сверкающая гора рыбы — крупной, средней, мелкой... Снова поглощают сети вспененные волны и возвращают их, полные живым, струящимся серебром...

легкое и еще неведомое, о котором он пока что имеет весьма неясное, расплывчатое представление.

С путины Эммануил вернулся не с пустыми руками и не один. В той деревне на Амуре, где он работал с рыбаками, была пограничная застава. На этой заставе Эмму знали, даже считали своим человеком — он там не раз выступал с беседами на литературные темы. Особенно пограничникам полюбились в его исполнении стихи Маяковского и Гейне. Однако еще больше по душе им пришлись его остроумные рассказы за ужином и русские и украинские песни, которые он своим сильным голосом запевал так, что не поддержать его нельзя было.

На этот раз он застал на заставе нового командира, с которым тут же и подружился. Это был высокий, широкоплечий украинец с васильково-голубыми глазами на крупном мужественном лице. Начальник он был строгий, не допускал ни малейших отклонений от железных правил пограничной службы, а в часы, свободные от службы, весельчак, остролов и гармонист, каких поискать! Выяснилось к тому же, что с Эмкой они земляки: командир заставы был родом из деревни, расположенной неподалеку от Кременчуга — города, где родился Эмка. Деревня была рядом с небольшим еврейским местечком, и командир знал поэтому еврейский язык, причем говорил он на своеобразном, грубоватом подольском диалекте, несколько растягивая слова. Эмме, с детства привыкшему в доме своего отца, видного еврейского деятеля культуры, к чистому литературному языку идиш, было немного странно, когда этот украинец, по-приятельски хлопнув его по плечу, вдруг сказал:

— Чтoб мне так жить, — ты отличный бухер¹, Эмка. Я таких люблю...

Когда Эмма спросил у командира, как его зовут, тот в ответ запел веселым басом:

Ой, не ходи, Грицю,
Тай на вечерниці...

— Вот я как раз и есть, — сказал он, — тот Грицю, который «не ходи на вечерниці»...

— А по батюшке?

¹ Парень.

легкое и еще неведомое, о котором он пока что имеет весьма неясное, расплывчатое представление.

С путины Эммануил вернулся не с пустыми руками и не один. В той деревне на Амуре, где он работал с рыбаками, была пограничная застава. На этой заставе Эмму знали, даже считали своим человеком — он там не раз выступал с беседами на литературные темы. Особенно пограничникам полюбились в его исполнении стихи Маяковского и Гейне. Однако еще больше по душе им пришлись его остроумные рассказы за ужином и русские и украинские песни, которые он своим сильным голосом запевал так, что не поддержать его нельзя было.

На этот раз он застал на заставе нового командира, с которым тут же и подружился. Это был высокий, широкоплечий украинец с васильково-голубыми глазами на крупном мужественном лице. Начальник он был строгий, не допускал ни малейших отклонений от железных правил пограничной службы, а в часы, свободные от службы, весельчак, остролов и гармонист, каких поискать! Выяснилось к тому же, что с Эмкой они земляки: командир заставы был родом из деревни, расположенной неподалеку от Кременчуга — города, где родился Эмка. Деревня была рядом с небольшим еврейским местечком, и командир знал поэтому еврейский язык, причем говорил он на своеобразном, грубоватом подольском диалекте, несколько растягивая слова. Эмме, с детства привыкшему в доме своего отца, видного еврейского деятеля культуры, к чистому литературному языку идиш, было немного странно, когда этот украинец, по-приятельски хлопнув его по плечу, вдруг сказал:

— Чтоб мне так жить, — ты отличный бухер¹, Эмка. Я таких люблю...

Когда Эмма спросил у командира, как его зовут, тот в ответ запел веселым басом:

Ой, не ходи, Грицю,
Тай на вечерниці...

— Вот я как раз и есть, — сказал он, — тот Грицю, который «не ходи на вечерниці»...

— А по батюшке?

¹ Парень.

— Отец у меня уже старый и весьма уважаемый человек, но он простит тебе, если ты его имя, — кстати сказать, его зовут Охрим, — не будешь излишне тревожить.

Так они и стали друг для друга — Эмка и Грицко.

Казакевич несколько дней провел на заставе и собиравшись уже ехать домой, когда командир получил распоряжение явиться в Хабаровск, в штаб. Явиться ему следовало в понедельник. Была суббота. Эмма предложил своему новому другу поехать с ним в Биробиджан. Там они проведут остаток субботнего дня и все воскресенье, он познакомит его со своими друзьями, а в воскресенье вечером командир выедет в Хабаровск.

На том и порешили.

И вот оба стоят они на привокзальной площади в Биробиджане.

— Так кто же все-таки кого привез в Биробиджан, — смеялся командир, — она нас или мы ее?

«Она» — это старая, выдавшая виды грузовая машина, на которой они с большим трудом добрались сюда. В пути машина то и дело увязала в рытвинах и лужах, и нужны были невероятные усилия, чтобы вытаскивать ее и ехать дальше.

Они стояли на привокзальной площади, грязные, усталые с дороги, с большим завязанным мешком.

— Так куда мы, Эмка?

— Малость подожди, Грицко, подумаю.

— А где ты тут живешь?

— Вот, — Эмма указал на двухэтажный деревянный дом по ту сторону дороги.

— Так это же рукой подать!

— Да, но туда мы не пойдем.

— Почему?

— По двум причинам: одна — долго рассказывать, другая покороче — фаршированную рыбу хочешь отве-
дать?

— Еще бы!

— Тогда идем! — Эмма взялся было за мешок, но Грицко остановил его.

— Но-но! — сказал он. — Каждая кета из этих двух, я уже не говорю о сазанах, будет потяжелее тебя са-
мого.

Он легко закинул мешок на плечи и спросил:

— Далеко?

— Не очень, — ответил Эмма. — Вот мы с Октябрьской выйдем с тобой на Ленинскую, свернем влево, на Комсомольскую, пересечем Дзержинскую, а там и Волочаевская...

— Пошли! — решительно сказал Грицко.

Незадолго до того прошел дождь, и на улицах стояли глубокие лужи. Но Эмка был обут в резиновые сапоги, Грицко — в юфтевые, и они храбро зашагали вперед.

Глава девятая

Сима в легком пестром халатике, разгоряченная, раскрасневшаяся — она только что кончила мыть полы, — выскочила на крыльцо.

— Полкан! Полкан! Тише, Полкан!

— Твою собаку мы все равно не принимаем всерьез, — сказал Эмма, захлопывая за собой калитку и пропуская вперед своего друга.

Заметив на крыльце Симу, Полкан оборвал лай и покорно потащил грохочущую по проволоке цепь к своей конуре. Полкан, которого хорошо знали все друзья Симы, был отличный пес. При появлении во дворе чужих он конечно же начинал лаять, но это был не злой, а вполне добродушный, безобидный лай, означавший: «Пришли гости! Выходите встречать гостей!»

— Смотрите-ка, Эмка! — Сима с радостным изумлением бросилась навстречу Эмме. — Совсем не узнала тебя в этой робе...

Увидев тут же незнакомого человека с мешком за плечами, она остановилась и быстро оправила на себе пестрый халатик.

— Уехал — и как в воду канул! — обиженно сказала Сима, обращаясь к Эмме. — Хотя бы дал знать, когда приедешь.

— Все верно! — весело воскликнул Эммануил. — В воду канул... В полном смысле этого слова! И вот тебе доказательство — рыба, полный мешок!.. Познакомься — мой друг, командир пограничной заставы.

Встретить командир этот в тайге нарушителя границы, он бы наверняка знал, что ему нужно делать. А тут растерялся. «Гляди-ка, — подумал он, — сама с вершок в этом пестром халатике, а глаза такие огромные, такие черные». Сам не зная зачем, он провел правой рукой по мешку и, так и не сняв его с плеч, протянул правую руку девушке. Сима также неизвестно почему зарделась, подавая ему руку. Затем назвала себя и воскликнула:

— Что же мы стоим здесь? Идемте в дом! Вы же устали с дороги.

— Все верно! — ответил Эмма. — Но прежде всего мы отправимся в баню и хорошо попаримся, с веничком. А вот когда вернемся, тогда мы поступим, Сима, в полное твое распоряжение.

Из бани вернулись они красные, распаренные, посвежевшие. Баня полностью смыла с них всю усталость после дальней дороги.

Они еще с улицы заметили, что все окна в доме Симы освещены, и, войдя в дом, застали здесь немало гостей. Во-первых, здесь была Галя. Сима конечно же успела ей сообщить о том, что Эмка вернулся, и не один, а «с каким-то очень высоким и очень красивым командиром-пограничником...» Это самое она успела передать своей самой близкой подруге — Лиле. С Лилей они вместе учились в школе с первого по седьмой класс. После школы одна ушла учиться в педагогический, другая — в медицинский техникум, но это не помешало их дружбе. О том, что вернулся Эмма, Сима успела сообщить также и Гиршке, тот — мне, и, таким образом, все мы собрались здесь. Были тут и Симины родители, и младшие ее сестренка и брат.

— Ого, сколько гостей! — переступая порог, воскликнул Эмка. — Как на хорошей премьере! Познакомьтесь. — И он тут же принялся всех представлять своему другу. Делал он это весело, непринужденно, с шутками, прибаутками, и сразу видно было, что в доме здесь Эмма — свой человек.

— Вот это хозяин дома, Велвл Шпитальник, — сказал Эмма. — Ты можешь его называть просто Володей — не обидится. Правда, Володя? Кстати, весь этот дом он сам и построил, собственными руками. Мастер на все руки: столяр, плотник, жестянщик, стекольщик, печник и...

— Одним словом, и швец, и жнец, и на дуде игрец, — рассмеялся хозяин дома и протянул гостю руку.

— А вот это, — продолжал Эмма, — жена Володи — Фира. Должен тебе сказать, что Адам и Ева вряд ли были так под стать друг другу, как эта пара. Да тем что? Никаких забот! Бог создал их, создал рай для них, они там гуляли, срывали знай с дерева сладкие яблоки. . . А эти сами заложили свой сад, правда, не рай, но райские яблочки в нем растут. А то, что они маловаты и горьковаты на вкус, не такая уж и беда! А это их дочь Сима. С нею ты уже знаком, она учительница. Это ее сестренка Света. Видишь, какая симпатичная! Школьница, отличница. А вот это самый младшенький, Додик, он родился уже здесь, в Биробиджане.

Эмма знакомил всех подряд со своим другом, при этом каждому давал краткую и меткую характеристику. Его товарищ крепко пожимал руки новым знакомым. Никто, однако, не мог толком разобрать его фамилию — так невнятно он ее произносил. Переспрашивать было как-то неловко, и только одна Света, младшая сестренка Симы, робко переспросила его, когда он пожимал ей руку:

— Как, как, вы говорите, ваша фамилия? Я не слышала! — Девочка вопросительно уставила на него свои черные любопытные глаза.

Гость явно смешался.

— Вы понимаете, — отозвался за него Эмма, — сами видите, какой это красавец и богатырь. Но как только дело доходит до его фамилии, он начинает гундосить себе под нос что-то совершенно невнятное. Бойтся, что как только назовет свою фамилию, его тут же выставят из дома вон.

— Неужели такая страшная фамилия? — спросила хозяйка.

— Да, — ответил Эмма, — Убейбатько.

Обладатель страшной фамилии молча развел руками, как бы говоря: «Ну вот, сами видите, и тут уж ничем не помочь!» При этом такая чудесная, добрая улыбка озарила его широкое лицо с васильковыми глазами, что сразу стало ясно: характер этого богатыря не имеет ничего общего с его фамилией.

— Вы украинец? — спросил Велвл.

— А як же, — ответил гость на своем родном языке.

— Так мы же земляки! — воскликнул Велвл. — Откуда вы?

— Из-под Кременчуга. Вот с Эммой мы настоящие земляки!

— Предупреждаю, — сказал Эмма, — если кто-нибудь вздумает сказать что-нибудь нелестное о моем друге, не делайте этого на языке идиш. . .

— Я все до слова понимаю! — откликнулся гость по-еврейски и при этом так заразительно засмеялся, что все кругом от неожиданности тоже разразились смехом.

— Откуда вы знаете еврейский? — спросил хозяин.

— Очень просто, — ответил друг Эммы. — Место, где я жил, было наполовину деревней, наполовину местечком, и мы все время дружили между собой — украинские и еврейские йотн¹. . .

В устах этого украинца еврейский диалект Подольщины приобретал какое-то необъяснимое очарование, и это вызывало у всех присутствующих добрый, веселый смех.

— Что же мы стоим здесь? — вдруг спохватилась хозяйка. — Проходите!

Все, однако, продолжали стоять в тесной прихожей, сгрудившись вокруг Эммы и его друга.

Направо две прикрытые двери вели в отдельные комнаты, — очевидно, спальни.

Налево дверь была широко распахнута в просторную кухню, где сейчас что-то кипело, булькало в больших кастрюлях на плите, от этих кастрюль поднимались вверх клубы горячего пара. Пахло вареной картошкой, рубленным луком, топленным жиром.

А прямо напротив прихожей располагалась большая, сверкающая чистотой комната. Она манила к себе светло-зеленым абажуром со свисающими кисточками бахромы над покрытым белой свежей скатертью столом, широким диваном с красивой, резной спинкой — ее сработал сам хозяин — и чудесными кружевными розами — работа хозяйки, манили также фамильные фотографии на стенах под стеклом. Все устремились туда.

Командир, почувствовав, что у него под ногами что-то путается, нагнулся и поднял с пола маленького серого котенка.

¹ Ребята.

— Чей это такой красивый котенок? — спросил он.

— Это мой, мой! — вставая на цыпочки и протягивая вперед ручонку, закричал самый младший Шпитальник.

— Это твой? Ну, на тебе, раз он твой. — Дядя-богатырь нагнулся, отдал Додику котенка и погладил мальчика по голове.

Эмма остановился в дверях кухни.

— Смотри, Грицко, как тут разделали нашу рыбу! И добавил, обращаясь к хозяйке:

— Фира-сердце, пустите меня на кухню, я должен посмотреть, что вы здесь сделали.

— Пока еще не на что смотреть, — ответила хозяйка, заливаясь краской. — Вот я завтра нафарширую рыбу, тогда и посмотрите!

Она была довольна и проделанной работой и тем, что эту работу заметили.

— А это что — не рыба? — Эмма указал на две большие тарелки.

— Это я пока что из вашей кеты успела вынуть икру.

В окружении больших белых колец лука рубиново-красная икра выглядела очень аппетитной.

— Как вы думаете, что в первую очередь требуется к такой закуске? — спросил Эмма.

— Хороший глоток водки! — ответил ему в тон Грицко, и все со смехом устремились к столу.

За ужином гости и хозяева много шутили, смеялись. Потом до поздней ночи гуляли на улице, пели. Этого вечера оказалось достаточно, чтобы новый друг Эммы, командир пограничной заставы Грицко Охримович Убейбатько, совершенно покори́л нас всех.

Назавтра, в воскресенье, в обеденный час, мы вновь пришли к Симе и ее родителям, чтобы отведать фаршированной рыбы, как и было условлено накануне.

Примерно в два часа дня мы первыми зашли к Шпитальникам во двор — Эмма, Грицко и я. На этот раз Полкан, увидев нас, не удосужился даже подняться с места. Он лежал возле конуры, опустив голову на передние, вытянутые лапы. Когда мы вошли, он лениво открыл один глаз и тут же закрыл его вновь, как бы говоря: «Идите себе, идите, я вам доверяю».

Так как мы были первые, то не слишком торопились войти в дом. Эмма решил показать Грицку владения Велвла Шпитальника.

— Видишь вот этот дом? Так вот — весь он, начиная от фундамента и кончая этим красивым коньком на крыше, сделан его собственными руками. Разумеется, ему помогали Фира и дети, помогали соседи. Особенно сосед, что живет по ту сторону забора, — Бабушкин Егор Иванович. Славный человек, он строил еще Транссибирскую магистраль. А вот этот садик видишь? — продолжал Эмма, когда мы уже были по другую сторону дома. — Каждое деревце, каждый кустик тут также посажены собственными руками. А этот огород? Сейчас его уже выкопали, но летом здесь есть все что угодно, — картошка, огурцы, помидоры, лук, свекла, морковь, — что еще надо! А вот сарай для коровы, курятник. А это душ собственной конструкции. Летом, в жаркий денек, становишься под него — благодать!

— Когда же он все это успевает? — спросил Грицко. — Он ведь где-то еще и работает?

— Как же, лучший стахановец на мебельной фабрике! А все, что ты видишь, делается во время отпуска, в выходные дни, после работы.

— А говорят, что евреи не умеют работать, — заметил Грицко.

— Те, которые так говорят, — сказал Эмма, — сами бездари и лодыри. Велвл Шпитальник не один ведь такой, вся Волочаевская улица застроена таким же образом. Все эти люди одними из первых приехали сюда, на станцию Тихонькая, приехали, чтоб на этой земле осесть, пустить в нее глубокие корни.

И, помолчав, добавил:

— У евреев, как и у каждого народа, конечно, есть и свои уроды и ничтожества, и таких немало! Но не они представляют народ. Народ представляют Велвл Шпитальник, его жена, дети и подобные им. За дюжину гнилых интеллигентов, мнящих, что на них держится свет, не отдам я и ногтя с ноги Володи Шпитальника.

Пока мы осматривали участок, подросли Галя, Гиршке, Лиля и еще двое-трое знакомых. Полкан подарил им один-единственный взгляд, блеснувший из полужакрытого глаза, — он считал и этих людей своими.

Мы все вместе поднялись на крыльцо, ведущее на застекленную веранду. Эмма шел впереди. На верхней ступеньке он вдруг остановился и дал нам знак, чтоб остановились и мы. Стоя один позади другого, мы через широкое окно веранды увидели Велвла Шпитальника, работавшего у столярного верстака.

Велвл крепко стоял на коротковатых ногах, а верхняя часть его бронзового от загара, худого, но мускулистого тела в зеленоватой майке ритмично двигалась взад-вперед за большим рубанком, из-под которого без конца кудрявилась золотисто-желтая стружка. Погруженный в свою работу, он напоминал запущенный в ход механизм, который не скоро еще остановится.

Эмма с шумом распахнул дверь и крикнул:

— Смотрите, как этот человек нарушает праздничный день!

Велвл прекратил работу, с недовольным видом обернулся, но, увидев нас, сдержанно улыбнулся и сказал:

— Эмка со своими фокусами!

Были в этих словах и легкий упрек, и удовольствие, которое хозяин дома испытывал всякий раз, когда веселый, жизнерадостный Эмка появлялся на пороге его жилища.

— Что — Эмка? — отозвался тот. — Отдыхать-то когда-нибудь надо?

В эту минуту дверь из передней комнаты открылась, и на веранду вошла Фира с большой поварешкой в руках.

— Вот-вот! — в сердцах проговорила она. — Хоть вы его вразумите! Мои слова уже не помогают... Чтобы человек никогда не знал разницы между буднями и праздником.

— А что, собственно, для тебя означает праздник? — повернулся к ней Велвл.

— Любой человек на свете, кроме тебя, — ответила Фира, — знает, что в праздник не работают.

— А тебе пора бы уже знать, что, когда я работаю, у меня праздник!

— Что вы скажете на это? — обратилась к нам раскрасневшаяся Фира.

— А сама она, вы думаете, лучше? — спросил Велвл.

Да, мы знали — она, Фира, тоже «не лучше»... В этом смысле они были, что называется, «два сапога —

пара». Это-то, очевидно, и соединило их, когда ему было едва восемнадцать, а ей неполных семнадцать лет. И вот у них уже трое детей, старшая дочь на выданье, а сами они еще довольно молоды.

Но, схожие характерами, они совершенно не походили друг на друга внешне. Он невысок, худощав, но, как говорится, крепок в кости. Небольшие зеленоватые глаза на худом, продолговатом лице всегда полны выражения озабоченности. Молчун. Его правило в жизни — язык может отдыхать, работать должны руки. Она, кругленькая, полненькая, с черными как смоль волосами и темным пушком над верхней губой, улыбчива, говорлива, из тех, о ком говорят: «Женщина-огонь».

Фира работала продавщицей в магазине. До ухода на работу она успевала подоить и выгнать в стадо корову, приготовить завтрак и сварить обед. После работы она возилась на огороде, убирала в доме, — всюду и везде попевала. И просто удивительно, — когда бы и сколько человек ни пришло, у нее для них всегда готово было угощение. Для нее не составляло труда между делом, будто бы играючи, вылепить несколько сот пельменей или испечь пирожков с печенкой, которые так и таяли во рту.

Что же касается кисло-сладкого жаркого, фаршированной рыбы, голубцов и прочих подобных блюд, Фира в этом деле не знала себе равных.

Всеми этими яствами и был сейчас уставлен широко раздвинутый стол в большой комнате. А в центре стола красовалась в специальных блюдах аппетитно зарумяненная, приятно и остро пахнущая фаршированная рыба, между блюд стояли бутылки с водкой и графины с наливкой из дикого винограда и смородины.

— Оце дило! — восхищенно произнес Грицко Охримович, окидывая взглядом стол, и тут же по-еврейски добавил: — Чтобы мне так жить, подобного я уже давненько не видел. . .

— А ты опасался, — хлопнул его Эмка по плечу, — что нам некуда будет определить кету с сазанами. Говорил же я тебе, что найду для них место. Ну и как, нашел?

— Ты да не найдешь! — ответил Грицко. — Теперь я уже вижу, что на тебя можно во всем положиться. Одно слово — добрый хлопец!

Сима, покрасневшая от работы — она усердно помогала матери, — зашла в комнату с двумя подносами с хлебом. Один поднос у нее тут же выхватил из рук Эмка, второй — Грицко.

— Без хлиба нема дила! — сказал Грицко, ставя поднос на стол.

Сима на правах хозяйки бросила беспокойный взгляд на Гиршке:

— Тебе удобно здесь?

Гиршке по своему обыкновению отыскал себе местечко где-то на отшибе, у края стола. Сима поняла, что там она не сможет сесть с ним рядом, а сегодня, у себя дома, ей этого очень хотелось.

— Пересядь сюда, пожалуйста, здесь тебе будет лучше, — указала Сима на место поближе к середине стола.

Это обращение немало смутило Гиршке, но он послушно поднялся и пересел. Сима тут же заняла место рядом с ним, не заметив при этом довольного взгляда, которым обменялись ее родители.

Гиршке, как и Эмма, часто бывал в этом доме. Поначалу родители Симы имели виды на Эммануила. Но с тех пор, как тот стал ухаживать за Галей, они решили, что и Гиршке неплохая пара для их Симы. Славный парень, даже помогает в работе на огороде. Говорит, что работу эту любит, она напоминает ему его родной дом, небольшую деревеньку Рудню неподалеку от Житомира, где его мать и сестры ведут крестьянский образ жизни. Родители Симы знают — их дочь часто проводит с Гиршке вечера — и ничего против этого не имеют: он тихий, скромный парень, не пьет, не курит, — что еще надо? К тому же, говорят, — у него и талант. В этом они, правда, не очень разбираются, но это не так уж и важно. Странно другое: сколько уж времени он проводит с Симой и в дом заходит, а о главном — ни слова, как воды в рот набрал... Тут и не без Симиной вины, считают родители. Если нравитесь друг другу, договоритесь до чего-нибудь, нет — к чему канитель? Вот почему родители Симы удовлетворенно переглянулись, заметив, как их дочь у всех на глазах села рядом с Гиршке. Они видели в этом добрый знак.

— Ну, Володя, скажи уже что-нибудь, — обратилась к мужу Фира, — пора начинать!

Велвл Шпитальник с упреком уставился на жену: кому, как не ей, знать, что ему легче отстоять день с рубанком в руках, нежели произнести несколько слов за столом! Фира выдержала немой укор мужа и, как бы оправдываясь, сказала:

— Ты ведь хозяин, кому же еще начинать?

Да, она права, он хозяин. Велвл поднялся с рюмкой, из которой несколько капель расплескалось на стол.

— Что мне сказать? Вот у нас стол, не сглазить бы, полная чаша. Крыша над головой. Соседи, друзья. А десяток лет назад ничего этого не было. Тайга. Все мы тут сделали своими руками. . .

Велвл умолк. Хотел еще что-то добавить, но, решив, что и так сказал уже много, закончил:

— Выпьем за то, чтобы было еще больше, чтобы было!

Как обычно после первой рюмки, за столом стало тихо. Слышен был лишь перезвон ножей и вилок.

Когда ото всего понемногу отведали, Эмка обратился к хозяину дома:

— Я знаю тебя, Володя, уже не первый год. Но до сегодняшнего дня не знал, что ты такой отчаянный плут.

Велвл уставился недоуменным взглядом на Эммануила.

— Сколько я тебя знаю, — пояснил Эмма, — ты все уверяешь, что ты не мастак говорить, молчун молчуном. А сегодня вот закатил такую речь, что мы все, оказывается, тебе в подметки не годимся. . .

— Эмка со своими фокусами! — улыбнулся Велвл.

— Нет, я это говорю вполне серьезно.

Эммануил встал:

— Внимательно вслушались ли вы в то, что этот человек только что сказал? «Ничего не было. Есть. И — пусть будет!» Кратко, исчерпывающе передана суть всего, что мы с вами сделали здесь за десяток лет. На эту тему, признаться, я написал немало стихов, но, уверяю вас, в них я осветил эту тему гораздо слабее, нежели это только что сделал Велвл, сказав несколько считанных слов. Так пусть будет! — закончил Эммануил, поднимая рюмку.

Велвл, уверенный в том, что Эмма просто подшучивает над ним, погрозил ему пальцем и тоже поднес рюмку к губам. Но выпить не успел. На пороге комнаты по-

явился высокий пожилой мужчина с полуседой округлой бородой. В водянисто-голубых глазах его пряталась виноватая улыбка.

— Стучу-стучу — никто не отзывается. Вот и зашел. А у вас, смотрю, праздник, и я, выходит, совсем некстати. . .

Велвл поставил рюмку на стол и устремился навстречу вошедшему.

— Егор Иванович, дорогой, что значит некстати? Наоборот, очень кстати! Идемте к столу, садитесь вот сюда, пожалуйста. . .

— Нет, нет, Володя, — возразил тот, — вы празднуйте, а я-то как раз зашел по очень будничному делу.

— Но сегодня воскресенье!

— Моя Домна Каллистратовна не знает никаких воскресений. Именно сегодня захотелось ей шинковать капусту. А у нас, как назло, сломалась машинка. «Зайди, говорит, к соседям, возьми у них».

Фира поднялась с места:

— Егор Иванович, я сейчас же иду за Домной Каллистратовной, приведу ее сюда, и мы все вместе пообедаем.

— Нет, нет, она даже слушать не захочет! . . Ну хорошо, я с вами, так и быть, одну рюмочку выпью. Одну, не более.

Володя усадил соседа рядом с собой.

— Егор Иванович Бабушкин, коренной дальневосточник, славный человек, — представил он его.

— Смотрю, молодежь собралась, — заметил Егор Иванович, разглядывая сидящих за столом, — и даже военный товарищ?

— Да, это друзья моей Симы. Вы же их знаете всех, — пояснил Володя. — А военный — командир пограничной заставы на Амуре. Приехал погостить на денек.

— С заставы? Что же там слышно? — обратился Егор Иванович к пограничнику. — Самураи крепко шкодят? Забрасывают шпионов, а?

— Мы им воли не даем, — ответил Грицко.

— А как вообще на границе? — спросил Егор Иванович. — Войной не пахнет?

— Граница, батя, на замке!

— То-то же! — сказал Егор Иванович и поднял рюмку. — Будем здоровы! — Он выпил и подцепил вилкой кусок фаршированной рыбы. — Вот это у тебя получается отлично, Фира, — сказал он хозяйке. — Моя Домна Каллистратовна на что уж мастерица стряпать, но вот фаршированная рыба у тебя получается лучше. . .

— Егор Иванович один из старейших местных жителей, — сказал Володя, — он поселился здесь еще до революции. С какого года, Егор Иванович?

— С тысяча девятьсот двенадцатого. Да, друзья, еще ни о каком Биробиджане и слыхом не слыхать было, когда я приехал сюда.

Закусывая фаршированной рыбой, он продолжал:

— Сам-то я сибиряк. Строил Транссибирскую железнодорожную магистраль. Было мне примерно тогда столько, сколько каждому из вас сейчас. С Домнушкой моей мы только-только поженились. Она-то как раз хотела ехать дальше, хотя бы в Хабаровск — все-таки город, — но мне приглянулось здесь. Леса, пастбы сколько угодно, рыбачь, на охоту ходи, — чего же еще? И поставил я здесь свой дом. Сейчас тут уже целая улица выросла — Волочаевская, а тогда домик-то мой стоял один-одинешенек. Затем построилось еще несколько человек, а я Домнушку свою все успокаивал: «Не горюю, говорю, со временем сюда знаешь еще сколько людей прибудет, и город вырастет, да еще какой!» А она: «Вон кто сюда придет — медведи да волки, а больше никто не сунется!» А я как в воду глядел! В двадцать восьмом-то году как потянулись сюда эшелон за эшелон! И все молодежь, комсомольцы! Стал еврейский район, потом область. Мы, сибиряки, раньше евреев мало знали. Не привелось. Слышишь только, бывало, иногда, что, мол, такие-сякие, работать не любят, в торгаши норовят и прочее. А тут гляжу я — люди трудиться норовят. Обосноваться всерьез хотят. Вот мой сосед, Володя, — в глаза и за глаза скажу одно: прекрасный человек, золотые руки! Да разве он один такой! Сколько лет живем вот душа в душу, дай бог и далее не хуже. . .

— Дай бог, — поддержал Володя. — Еще рюмку, Егор Иванович!

Егор Иванович выпил, но сколько его ни просили, чтобы он посидел еще немного, не помогло.

— Мне уж от моей Домнушки и так достанется.

— Вот о ком нужно писать поэмы, — сказал Эммануил, когда Егор Иванович ушел.

Чуть задумавшись, добавил:

— А может быть, и романы...

Когда уже все порядком подкрепились, отведав от каждого из кушаний, что были на столе, кто-то предложил:

— Стихи!

— Эмка, Гиршке, читайте стихи! — раздались голоса.

— Нет, давайте уж лучше споем! — вмешался Грицко и тут же затянул басом старую еврейскую песню:

Отец мой — нищий забулдыга,
А мать ворует на базаре рыбу...

Все расхохотались — так хорошо у него это получилось. Однако его не поддержали.

— Сначала стихи, а потом уже песни, — сказала Сима.

— Эмка, — обратился Грицко к Эммануилу, — почитай им стихи, которые ты написал на путине, а? Чтобы всем нам столько счастья было, отличные стихи!

— Хорошо, мы сегодня будем читать стихи, — согласился Эммануил и обратился к Гиршке: — Будем читать стихи?

Тот задумчиво ковырял вилкой в тарелке. В ответ на вопрос Эммы он неопределенно покачал головой.

— Будем читать! — категорически сказал Эмма. — Я вам прочту «Стихи о путине». Они на путине и написаны. Наша Фира-сердце сегодня приготовила чудесную рыбу, с которой мы еще пока даже не справились наполовину, и вот эта рыба требует поначалу немного жесткой прозы. Одним словом, я хочу произнести тост!

— Давай, Эмка!

— Давай! — раздались голоса.

— Собственно, — продолжал Эммануил, — я хочу произнести несколько тостов. Но так как мы должны оставаться трезвыми — мы хотим еще читать стихи, — я все тосты объединю в один, но такой, что за него все должны будут выпить до дна. Идет?

— Говори!

— Не тяни за душу!

— Наливайте рюмки!

Эмма снял очки, тщательно протер их и снова надел, как бы давая понять этой паузой, что шутливый тон, царивший до сих пор за столом, следует отставить в сторону, а все то, о чем будет говориться дальше, исключительно серьезно и важно.

— Первый тост я предлагаю, — сказал он, — за хозяев этого дома — за Володю и Фиру Шпитальник! Трудом таких, как они, создается все, что нам в жизни любо и дорого. . .

Велвл и Фира задвигались на своих стульях, им было неловко: за что вдруг такая честь? Но Эмма говорил серьезным, даже несколько торжественным тоном, и они не осмелились сказать что-нибудь.

— Второй тост — за наших девушек! Без них скучно было бы жить на белом свете. . .

Все три девушки подняли глаза на Эммануила. Взгляд Гали выражал ревность: каких это девушек, кроме нее, ему еще нужно, чтобы не жилось скучно на свете? В глазах Симы можно было прочесть благодарность: о, пусть хоть эти слова Эмки дойдут до Гиршке, потому что он, Гиршке, может, кажется, обойтись и без девушек вовсе. . . Взгляд Лили был полон надежды: кто знает, может быть, ей еще удастся встретить в жизни большую, настоящую любовь?

— Третий тост, — сказал Эмма, — за моего друга, командира пограничной заставы Грицка, за тех, кто ночи не спят ради того, чтобы мы могли спокойно спать, спокойно работать, спокойно гулять с нашими девушками. Ну, и четвертый тост — за поэтов! За тех, кто воспевают наш труд, наше оружие и нашу любовь! Выпили! — скомандовал Эмма и опрокинул в рот свою рюмку. То же сделали и остальные.

— Вот это тосты! — слышались голоса. — Один другого лучше!

— Каждый из них стоит того, чтобы за него выпили отдельно! Во всяком случае, за девушек! — неожиданно для всех выпалил Гиршке. Он был уже слегка пьян.

Сима просиявшими глазами посмотрела ему в лицо и воскликнула:

— И за поэтов тоже!

— За пограничников! — крикнула миловидная сестренка Симы Света.

Сидя со своим братиком у самого краешка стола, она ни на минуту не спускала восхищенного взгляда с красных кубиков в зеленых петлицах командира. И вот ее тост им был услышан. В ответ он воскликнул:

— За наших пионеров!

— Я уже комсомолка, — обиделась Света.

— Так это же прекрасно, — за наш славный комсомол!

— За все пить — водки не хватит! — пошутил Эмма.

— Так хватит наливки! — вмешалась Фира.

— Курица не птица, наливка не питье, — ответил Эмма. — А сейчас будем читать стихи. Гиршке, мы будем читать стихи?

Выпив, Гиршке становился смелее и потому сейчас с готовностью откликнулся:

— Конечно, будем. Но первым начинай ты.

— Согласен. Но с чего же мне начать? — задумался Эмма.

Тряхнул густой, кудрявой шевелюрой и, поправив очки, сказал:

— Знаете, я сейчас перевожу Маяковского. Прочту вам что-нибудь из этих переводов.

— Давай!

— Я очень люблю Маяковского, — сказал Эмма. — Двух поэтов в мировой литературе ценю очень высоко — Гейне у немцев, Маяковского у нас. Кстати, между ними есть много общего. Во всяком случае, больше, чем это может показаться на первый взгляд. Но это еще недостаточно освещено в литературе, и я собираюсь написать специальную работу.

Эмма сделал короткую паузу и продолжал:

— Русский язык... Помните, у Тургенева: «...О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык...» И действительно, этот язык очень богат, безгранично богат, этот язык такое прекрасное, изумительное сокровище, что кажется — добавить к нему что-либо новое уже невозможно. Но вот появляется Маяковский, — заметьте: появляется после Пушкина, Лермонтова, после Некрасова и Блока, — и находит в нем, в этом удивительном языке, новые грани... Вчитайтесь в его стихи. С какой силой он лепит слово, сколько открывает в нем новых возможностей, красок...

Эмма окинул взглядом всех сидевших за столом и продолжал уже тише, как бы делясь чем-то очень интимным:

— Вы понимаете, переводить Маяковского трудно, очень трудно. Это значит вступить в поединок с ним и с самим собой тоже. И для языка, на который переводишь его, это трудное испытание: окажется ли он, этот язык, в состоянии хотя бы отчасти передать всю громкую силу поэта? Но именно эта трудность и заставила меня взяться за переводы Маяковского. Знаете, что я сейчас перевожу? «Облако в штанах». Это одна из сильнейших, одна из самых пророческих вещей Маяковского. И труднейшая для перевода. Я пока перевел только отдельные главы поэмы. Потрудиться пришлось до изнеможения. Например, такое:

Вошла ты,
Резкая, как «нате!»,
Муча перчатки замш,
Сказала:
«Знаете —
Я выхожу замуж».

Эмма посмотрел на своих слушателей, как бы желая увидеть, насколько дошло до них то, что он сейчас прочитал, и спросил:

— Приходилось ли вам встречать что-либо более сильное по экспрессии, по смелости мысли и форме? Чего стоит одна эта рифма — «замш» и «замуж»? Попробуйте передать это на другом языке, к примеру — на идиш. Я попытался, и вот что получилось пока.

Эмма прочитал отрывок в своем переводе.

— Это еще, конечно, не то, — сказал он. — Нужно еще искать и искать новые возможности. Или такое:

Я,
Обсмеянный у сегодняшнего племени,
Как длинный
Скабрзный анекдот,
Вижу идущего через горы времени,
Которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куций,
Главой голодных орд,
В терновом венце революций
Грядет шестнадцатый год.

С каким-то захватывающим чувством мы все слушали Эмму. Как свободно он переходил с одного языка на другой, как глубоко чувствовал тот и этот, до чего выразительно звучали в его устах оба языка.

Эмма читал Маяковского раскатисто, громко, подражая поэту, которого подростком довелось ему слышать во время его выступлений в Харькове.

— Ну, довольно, — сказал он, — Маяковского я мог бы читать без конца.

— А теперь свое почитай, — попросила Галя.

— После Маяковского?

— Мы простим, если и будет послабее.

— Этого-то я как раз и боюсь. . .

— Я же просил тебя, — напомнил Грицко, — прочти «Стихи о путине». Ты ведь обещал.

— Ну хорошо, коль обещал, никуда не денешься. — Эмма вновь поднялся и обвел всех сидевших за столом внимательным, серьезным взглядом. — Стихи не нужны в предисловии, — сказал он, — они сами должны все сказать о себе, в противном случае это плохие стихи. Но перед тем как прочесть мои сегодняшние стихи, хочу все же сказать несколько слов. Я написал их на путине, с которой только что вернулся. Что знали когда-то евреи о подобной путине? Ничего! Как и обо многом другом не знали — о тайге, о реке Амур. Поэтому, между прочим, в еврейской поэзии прошлого рыба была в большом дефиците, если не считать левиафана да еще рыбу из той еврейской народной песни, которую Грицко нам порывался сегодня спеть, там вы слышали: «А мать ворует на базаре рыбу. . .» Кстати, эти самые слова я и взял эпиграфом к моим стихам.

И Эмма наизусть прочитал:

Вот он — наш Амур, и вот — отчизна наша. . .
Сети тонут, волны стонут на Амуре,
На крутой волне шаланды резво пляшут,
Курят рыбаки, поют и балагурят ¹.

Он перешел на короткий, чеканный ритм:

Разгулялся ветер!
Волны встали дыбом!

¹ Здесь и далее перевод стихов Н. Горской.

Гарпуны остры,
И сеть прочна!
Нам нужна ли рыба?
Ой, нужна!
Нужна!

Эмма прервал чтение и спросил с улыбкой:

— Нужно... читать дальше?

— Нужно, нужно! — воскликнули все в один голос.

Сеть накрыла рыбу тонкой паутиной,
И гарпун рванулся в пенистый поток,
Видишь, как лавина,
Катится путина.
Нам нужна ли рыба?
Ой, нужна,
браток!

Эмма вопросительно посмотрел на нас.

— Нужна! — крикнула Галя.

— Конечно! — поддержала ее Лиля.

Эмма, улыбнувшись обоим девушкам, продолжал:

Рыба в чешуе блестящей, клейкой,
От ветров и солнца потемнели руки.
— Ты чего смеешься?
— Отчего?.. Сказал Шолом-Алейхем:
Смех полезен, он врачует все недуги!
— Кто же он?
— Неважно — кто!
Ветер, волны — дыбом!
Сеть у нас прочна!
— Нам нужна ли рыба?
— Ой, нужна!
Нужна!

Эмме долго аплодировали. Просили почитать еще.

— Может, не нужно? — спросил он.

Под командой Грицка все хором воскликнули:

— Нужно! Нужно!

— Ну хорошо, — согласился Эмма, — я пишу сейчас поэму. Она почти завершена. В центре поэмы французский журналист. В первые годы после революции он приехал к нам в страну и написал восторженную книгу «Страна, рожденная в вихре». Под влиянием обстоятельств люди, однако, меняются, и не всегда к лучшему. Со временем этот самый журналист, — зовут его Арман Вато, так и будет называться поэма, — со временем утратил свои прогрессивные идеи, а вместе с ними также и остатки таланта. И вот он снова едет в Россию, на этот

раз с хорошо оплаченным заказом реакционной газетенки, — облить грязью страну, которую некогда славил. Он едет по стране, присматривается к новой жизни, встречает людей, которые еще помнят его первую книгу. Они принимают его как друга, преподносят ему цветы, и лишь тут Вато начинает понимать, как низко он пал, как убог и ничтожен он.

Эмма прочитал небольшой отрывок из поэмы, затем повернулся к Гиршке:

— Теперь ты.

— Сейчас, сейчас, — как бы просыпаясь, откликнулся Гиршке.

Перебирая мысленно свои стихи, он никак не мог решить, что же ему прочесть. Выступать после Эммануила не просто. Тот полон захватывающего пафоса. В стихах же Гиршке пафоса нет. И содержание иное. У Эммы в каждом стихотворении — вся страна, весь мир. А у него, у Гиршке? Он был еще ребенком, когда у них среди зимы отелилась корова. Чтобы теленок не замерз, его поместили на кухне. И вот стоит он, новорожденный, пошатываясь на своих тонких ножках... Об этом Гиршке написал стихотворение. Еще он написал о своих сестренках, о том, как под вечер чистят они картошку... Как же будут выглядеть эти стихи после громоподобных строк Эммануила? Правда, и у Гиршке тоже есть стихи о земле, о вселенной, но они выглядят совсем не так.

Когда мы уже окончательно потеряли надежду что-либо услышать от задумавшегося Гиршке, тот, не поднимая глаз, вдруг тихо начал:

Огромен мир, а жизнь — мала,
Охотник зарядил ружье,
Кому-то он желает зла, —
Но слово не о том мое.

Аплодисментов не последовало. Но за столом все разом стихли. Мы повернулись к Гиршке в ожидании — не прочтет ли он еще что-нибудь своим тихим, неторопливым голосом. И все так же, не поднимая глаз, будто стесняясь чего-то, он стал читать:

По дворам, садам вишневым
Я люблю бродить до пота,
Убежать к Днепру и ветру
И по берегу пройтись,

Чтобы вдруг изведать снова
Радость роста и полета —
Словно по ступеням светлым
Ты шагаешь прямо ввысь.

Стал я лучше, — друг мой, веришь? —
Словно чистоту сберег.
И счастливый и усталый
Возвращаюсь я домой,
Распахну пошире двери —
Пусть ворвется в мой мирок
Необъятный, небывалый,
Лучезарный мир земной.

Гиршке уже кончил читать, а тишина за столом все еще продолжалась. И в этой тишине, словно натянутая струна, продолжал звенеть его голос... К еде больше никто не притронулся. Эмма сидел молча, устремив вдаль задумчивый взгляд. Вдруг он положил руку на плечо Грицко, возле которого сидел, и так, словно, кроме них двоих, тут больше никого не было, доверительно сказал ему:

— Знаешь, Грицко, мне кажется, что я когда-нибудь возьмусь за прозу.

— В чем дело? — спросил Грицко. — Разве ты пишешь плохие стихи?

— Стихи пишет он, — ответил Эмма, указав на Гиршке.

Тот, закончив читать, погрузился в глубокое раздумье, и было похоже, что он продолжает читать стихи про себя. Трудно было определить, слышал он или нет то, что сказал Эмма и что на это ответил Грицко. А я подумал: почему вдруг Эмма такое сказал — о прозе? И только что пришла ему в голову эта мысль или он вынашивал ее давно?

И еще я подумал: почему Эммануил счел нужным поделиться этим не со мной, не с Гиршке — его старыми друзьями, а с ним, его новым другом, командиром пограничной заставы? Вообще-то он славный парень, этот командир, но к литературе он ведь не имеет отношения.

— Проза так проза! — весело ответил Грицко Эммануилу. — Ты славный парень, Эмка, и я верю, что и проза у тебя получится на славу!

Мог ли тогда знать Грицко Охримович Убейбатько, что слова его окажутся пророческими? Все мы многого

тогда еще не знали. Ближайшее будущее было пока еще скрыто от нас. То, что Эмма вдруг высказал такую мысль, и высказал ее не нам, его давнишним товарищам, а своему новому другу, командиру пограничной заставы, не говорило ли это о том, что скрытое от нас будущее уже чуть задело его слабым трепетом своих еще отдаленных, но грозных крыльев?

Разом, все вдруг, поднялись со своих мест.

— Стойте! — скомандовал Эмка и указал на порог, отделявший комнату, в которой мы находились, от передней. Два больших окна за тюлевыми занавесками смотрели на запад. Там в ярком пламени заката догорало солнце, и ярко-красное отражение обоих окон лежало опрокинутым на сверкающем полу. В отражении одного из окон, на самой середине, сидел котенок. Серенький, с полосатой спинкой, каждый волосок его мягкой шерстки светился на солнце. . .

— Остановись, мгновенье, ты прекрасно! — воскликнул Эмка.

Как зачарованные, смотрели мы на эту картину.

Затем солнце зашло. Отражение на полу погасло. Котенок сбежал.

Мы все пошли провожать на вокзал Грицка. Нам было грустно с ним расставаться.

Поезд тронулся. Стоя в тамбуре, Грицко Охримович Убейбатько всем нам махал рукой, а Эммануилу прокричал:

— Скорее к нам приезжай! Мы ждем тебя, слышишь?

Потом долго, до самой поздней ночи, мы гуляли по улицам города.

Уже дома, когда я ложился спать, у меня вдруг мелькнула мысль: один человек весь минувший день не был с нами, и никто о нем не вспомнил ни разу, как будто его вовсе не было на свете. Да и я совершенно забыл о нем, о Шоломе Либкине.

Глава десятая

Время шло своим чередом. Один месяц уступал место другому, и каждый из них приносил свое: июль и август — жару, грозы, бурно прибывающие воды в Амуре и его притоках; сентябрь — погожие, ясные дни, ко-

которые как бы хотели милостивым теплом своим вознаградить за изнуряющую духоту прошлых месяцев; затем наступал октябрь, тоже еще довольно сухой, солнечный в первой своей половине, хотя и с заметно убывающей голубизной в выстывающих небесах; весь пронизанный золотом увядающей листвы вначале, во второй своей половине он начинает дуться, хмуриться и, глядишь, пугнет падающим большими хлопьями снегом — ни дать, ни взять пришла зима... Но снег этот вскоре превращается в грязное месиво, затем наступают еще солнечные дни. Однако становится все холоднее, особенно по ночам, деревья обнажаются догола. В конце месяца наступают первые заморозки. Но снега все нет.

Снег выпадает в первые дни ноября, как бы нарочно для того, чтоб вырядить землю в сверкающую белизну к торжественному Октябрьскому шествию. Над слепящей белизной первого снега празднично колышется кулачовое многокрылье знамен...

Снег этот уже остается. Холодное, но безоблачно-чистое дальневосточное небо за зиму еще раз или два нахмурится и одарит землю редким снегопадом, а может, пошумит и на это.

Морозы крепчают.

В одноэтажных и двухэтажных деревянных жилых домах в Биробиджане тогда ни парового отопления, ни других удобств, без которых теперь не мыслят себе жизнь, не было. На зиму приходилось заготавливать немалое количество дров или угля. Дрова надо было распилить, наколоть, аккуратно сложить в сарае, крупные куски угля раздробить. Каждое утро и вечер втаскивали в дом большие охапки дров, по нескольку ведер угля и хорошо натапливали печь, чтоб мороз не хозяйничал, пробравшись сквозь деревянные стены дома.

Кто не делал этого, мерз.

Шолом Либкин мерз.

Он все еще жил в квартире Эммануила. Тот был истым джентльменом. Сначала уступил он Либкину квартиру, с тем чтоб тот мог без помех работать. Было это тогда еще, когда он надеялся, что в конце концов Либкин примется за свои сюжеты и хотя бы из некоторых сделает то, что он, Эммануил, надеялся в них увидеть. Но вскоре он убедился, что Либкин меньше всего в его квартире занимается делом.

Однажды Эммануил вернулся из очередной командировки. Как обычно, он ехал на попутной машине, изрядно запылился в дороге и завернул домой за бельем. После бани он рассчитывал даже заночевать там, так как не застал товарища, у которого жил последнее время.

Дверь от его квартиры открыла Казакевичу незнакомая светловолосая женщина.

— Кого вам надо? — спросила она недовольным голосом.

Эмма с любопытством оглядел незнакомку. Невысокая, молодая, с растрепанными волосами, в помятом желтом халатике, накинутом, как он успел заметить, на голое тело. Ничего не ответив, он прошел во вторую комнату — дознаться у Либкина, что все это значит. Но тот на низкой широкой тахте, до половины прикрытый одеялом, с торчащей сверху бородой, блаженно храпел.

Эмма взял из шкафа белье, еще кое-что и ушел, с тем чтоб больше сюда не возвращаться.

Женщина, так нелюбезно открывшая ему дверь, была та самая блондинка, после неожиданной встречи с которой Галя и Сима перестали сюда заходить.

Эммануил стал еще чаще уезжать в командировки. В колхозах, на заставах у пограничников, у рыбаков, среди которых у него было немало друзей, он чувствовал себя лучше, чем в собственном доме, который так неожиданно потерял.

Все же в свой дом, вернее — в дом к Либкину, он пару раз еще заглянул. Но это было после того, как ему стало известно, что та молодая светловолосая женщина куда-то исчезла и с Либкиным больше ее не было.

«Этого следовало ожидать, — подумал Эмма, — женщин подобного рода мало интересуют мужчины в том положении, в котором находился Либкин, — ни определенных занятий, ни средств к существованию». Да и знакомые его, которых тут было немало, постепенно от Либкина отвернулись, а после того, как и эта женщина исчезла, он вовсе оказался один. Но — что казалось довольно странным — не видно было, чтоб Шолом Либкин как-то стремился изменить это свое положение. Эммануил понял, что нужно что-то предпринять, и, вернувшись из очередной командировки, он с твердым намерением оказать Либкину помощь зашел к нему. Тот лежал на тахте,

устремив неподвижный взор в потолок. На приезд Эммануила он никак не реагировал, — возможно, не заметил его.

— Шолом!

Ни звука.

— Нам надо побеседовать.

Молчание.

— Поговорим, Шолом...

— О чем?

— О тебе...

— Не твоя забота...

— В сарае дрова, уголь. Хотя бы ты печку истопил, замерзнешь ведь...

Молчание.

— Тебе нужны деньги? Вот...

— Как хочешь...

После этого Эммануил еще заглядывал к Либкину, но разговора не получалось. Либкин все в той же позе лежал на тахте, устремив ничего не видящий взгляд в потолок.

— Скажи, Шолом, — обратился к нему Эмма, — кого ты считаешь виноватым в твоём теперешнем положении? Может быть, виноват я, тем, что уговорил тебя сюда приехать?

— Ничего не считаю. Прошу — оставьте меня все в покое...

Я об этих посещениях Эммы к Либкину ничего не знал. Загруженный работой в школе, в педагогическом техникуме, а вдобавок еще и в вечерней школе, я не видал никого из своих друзей с того самого дня, когда мы все вместе собрались у Шпитальников и Эмма познакомил нас с его новым другом, командиром пограничной заставы Грицком Охримовичем Убейбатько. С тех пор прошел месяц, а может, и больше. Подходил к концу ноябрь. Усталый, но довольный (почти все мои ученики хорошо справились с контрольной работой), возвращался я из вечерней школы, где проводил последних два урока.

Светила полная луна. Снег звучно скрипел под ногами, предвещая на ночь крепкий мороз. Дышалось свободно, легко, и хотелось подольше оставаться среди этой сверкающей морозной ясности.

Людей на улице было не много, и я издали еще раз-глядел Эмку. Он шел, крепко о чем-то задумавшись, и не заметил меня, даже почти со мной поравнявшись.

— Эмка!

— А?

Выведенный из задумчивости, он с удивлением уставился на меня и тут же сказал:

— Вот хорошо, что встретились! Есть у тебя хотя бы немного свободного времени?

— Что ж, ты привык к тому, что я всегда занят?

— Так ведь оно и есть.

— Но на сей раз я иду с последних двух уроков в вечерней школе и свободен до завтрашнего утра.

— Отлично! Нам как раз нужно поговорить об одном важном деле, даже о двух.

На Эмме были длинная шинель, которая, очевидно, мало его грела, сапоги. Единственной по-настоящему зимней вещью на нем была меховая шапка. На похудевшем лице роговые очки казались еще больше.

— Я только что закончил поэму, — сказал он.

— Какую?

— Помнишь, отрывки из нее я читал на обеде у Шпитальников?

— Помню.

— Почитать тебе конец?

Я видел — он весь целиком еще под впечатлением законченной работы.

— Читай, — сказал я.

«Арман Вато?» — «Чего он хочет?

Что обо мне здесь говорят?»

«Он знает вас и видеть рад», —

Сказал французу переводчик.

Гигант — светловолос, могуч —

Приблизился, шагнул навстречу.

Облиты солнцем шея, плечи,

Улыбка яркая, как луч.

И руку — темную ладонь —

Вато пожал. Как быть иначе

С рукой протянутой — горячей,

Впитавшей ветер и огонь...

Эмма говорил не очень громко и слегка заикался, как всегда, когда бывал взволнован. В морозном воздухе четко отдавалось каждое слово.

И гид, волнуясь, объясняет:
«Страну, рожденную в штормах»,
Он эту вашу книгу знает
И восхищен — какой размах!
В тот страшный час, когда заря
Едва вставала, тьмой одета,
Вы верили в рождение света
И в нового богатыря,
И руку вам он жмет за это.
Ведь вы стояли в этот миг
У богатырской колыбели,
Вы все понять тогда сумели
Как добрый друг, как большевик».

Эмма умолк. Некоторое время мы шли молча. Потом он сказал:

— Понимаешь, в чем суть: мы, советские люди, всегда готовы делать все, что необходимо в интересах страны, в интересах революции. Нам ничего не трудно во имя победы наших идеалов. При этом мы верим, что другие люди, если, конечно, они не враги, готовы на то, что и мы. И эту-то веру я считаю одним из наших достоинств, об этом и хочу сказать в поэме. Известный французский журналист Арман Вато когда-то написал книгу, проникнутую симпатией к нашей стране. Но с тех пор прошли годы. Человек изменился. А «светловолосый великан», который помнит его давнюю книгу, продолжает считать Вато нашим, большевиком. Но если так, рассуждаю я, то вера эта из достоинства превращается в недостаток, так как не всем, выходит, можно верить? Но если так, я должен был бы иначе закончить поэму...

— А как ты ее закончил?

— Вот:

И вот взмывает самолет,
Летит, омыт голубизною.
Над той страной, где все земное
Кипит, бушует и цветет,
Где о комфорте нет и речи,
Где слово пошлое «покой»
Забыто навсегда, навечно.
А горизонт прозрачно-розов...
И журналист Вато рукой
Смахнул непрошенные слезы.

Когда в морозном воздухе растаял отзвук этих последних слов, Эмма пояснил:

— Встреча с советскими людьми, которые верят ему и считают его все еще таким, каким он был прежде, по-

трясает иностранного журналиста, он понимает, как низко пал. Отсюда и слезы раскаяния, которыми заканчивается поэма.

— Это вполне возможно, — заметил я.

— Ты так думаешь? — спросил Эмма и тут же добавил: — Ну, а если в действительности слез не было? Если этот оборотень теперь смеется над всем, что для нас свято, и без зазрения совести выполнит порученное ему черное дело, охаявая то, что когда-то славил? Тогда поэму надо закончить иначе... Как ты думаешь?

Я шагал рядом с Эммой и, по правде говоря, завидовал ему, по-доброму завидовал тому, чего сам был тогда лишен, — возможности разъезжать, встречаться с людьми, со многими из них завязывать дружбу, жить в мире своих творческих исканий, начинать и заканчивать новые вещи, постоянно думать о них. Я же, привязанный к школе, к ученическим тетрадям, конспектам, этих возможностей не имел. В моих записных книжках рядом с расписаниями уроков пестрели наброски пейзажей, диалогов, отдельных деталей для двух-трех давно задуманных и — увы! — даже не начатых рассказов...

Но об этих своих мыслях я Эмме ничего не сказал. Вместо этого спросил:

— Скажи, пожалуйста, Либкина ты хотя бы иногда видишь?

Он как-то удивленно взглянул на меня.

— Странно...

— Что странно?

— То, что ты сейчас спросил про Либкина.

— А что же странного?

— Дело в том, что я сам только что собирался сказать тебе о нем, хотел с тобой посоветоваться.

— О чем же?

— Да о нем, о Либкине. У него что-то совсем опустились руки. Не нравится это мне. Надо принимать какие-то срочные меры.

Тут Эмма рассказал мне о своих последних посещениях Либкина.

— Скажи, — заметил я, — не имеем ли мы тут дело с неким братом по крови твоего Армана Вато?

— В каком смысле?

— Ну хотя бы в смысле отчужденности от всего нашего, нежелания с нами знаться...

Эмма долго ничего не отвечал, затем сказал:

— Не думаю.

И немного погодя добавил:

— Причина, мне кажется, в другом, и вина тут не его, а наша.

— Наша?

— Да, и в первую очередь моя.

— В чем же?

— Я много об этом думал, — сказал Эмма, — и пришел к выводу, что в отношении к этому человеку мы допустили ошибку. Нельзя было подходить к нему с нашими мерками. Он ведь из другого мира, воспитывался в другом обществе. А мы хотели, чтоб он сразу же стал нашим. Разве это делается так быстро? Нужны время, выдержка, да и терпение тоже. Мы слишком нетерпеливы и, вместо того чтобы приблизить человека, оттолкнули его. А это проще всего. Каждый, особенно одаренный, человек, который может быть поставлен на службу нашему делу, важен для нас, за него надо бороться!

— Ты разве мало за него боролся? — возразил я.

— Значит, мало! — решительно произнес Эмма. — Но еще не поздно поправить дело... Хочешь, давай сейчас зайдем к нему?

— Так поздно?

— Говорю тебе — ни в каком смысле еще не поздно. Пошли!

Медленно, на ощупь мы поднимались по широкой деревянной скрипучей лестнице на второй этаж.

Я подумал о том, что поднимаюсь сюда впервые после того памятного весеннего вечера, когда Эмма познакомил нас с только что приехавшим тогда Либкиным. Всплыла вся приподнято-праздничная атмосфера того вечера. Вспомнил, как Эммин гость восхитил тогда нас всех своей красивой внешностью, манерами.

Эмма шел впереди меня. Я полагал, что он постучит, мы подождем, пока нам откроют, но он сразу же толкнул дверь, как если бы та вела в пустое, необитаемое жилище. Я последовал за ним.

В комнате было темно и холодно, как на улице. На нас дохнуло застоявшейся затхлостью.

Эмма куда-то исчез, и в следующее мгновение я увидел его в другом конце комнаты — у выключателя. Покрытый густым покровом пыли, неопределенного цвета

абажур струил какой-то слабый, немощный свет на самую середину пыльного стола, не достигая его краев. Комната утопала в затхлом мраке, и только два окна без занавесок холодно поблескивали слепыми, замороженными бельмами стекол.

«Да есть ли тут живая душа?» — подумал я и хотел уже спросить об этом у Эммануила, но тут я заметил, как он усиленно всматривается во что-то в правом углу. Я тоже взглянул туда и, когда глаза мои немного свыклись с темнотой, различил в углу низкую широкую тахту под тяжелым ковром. Но что это — или мне показалось? Поближе к изголовью ковер как будто топорщился. Я шагнул было к нему и тут же в ужасе отпрянул — в этом гнетущем полумраке из-под ковра уставился на меня живой человеческий глаз, уставился прямо, не мигая... Я глянул в сторону Эммы: видит ли это и он?

Он видел.

— И что же дальше? — услышал я его голос. Слова эти были произнесены негромко, но в напряженной тишине комнаты они прозвучали, как выстрел. — Что же дальше? — повторил он.

Ковер слабо зашевелился, глаз под ним моргнул.

— Либкин, — склонился я над ковром, — что вы делаете с собой, Либкин?

Эмма:

— Никаких вопросов, мы пришли дело делать! — И с этими словами он резким движением сорвал с тахты ковер.

Либкин, лишенный покрова, остался лежать, как и лежал, в одежде, подогнув колени и с просунутыми между ними руками.

— Вставай, Шолом! — тронул его Эмма за плечо.

Тот неловко зашевелился, неожиданно сел и так и остался сидеть с засунутыми между колен руками. Его бил озноб.

Я смотрел и думал: куда все девалось — прекрасная внешность, манеры, апломб? Свалявшиеся волосы на голове, запущенная, косматая борода.

— Что вам нужно? Кто вас звал? Идите!..

Эмма, присев на тахту, тихо сказал:

— Шолом, когда я уступил тебе квартиру, думал — будешь в ней жить, работать. А ты, смотрю, умирать со-

брался? Так не пойдет. Хозяин здесь я, я же и буду командовать.

— Глянь, пожалуйста, в порядке ли печь, — обратился Эмма ко мне и тут же исчез из комнаты.

Не успел я отворить заслонку, которая не так-то легко подавалась, и посмотреть, все ли в печи в исправности, как Эмма уже был тут с большой охапкой дров. С веселым грохотом бросил он ее к ногам, и мерзлые поленья звонко разлетелись по полу. Свежо запахло березой, сосной.

— Затопишь? — спросил Эммануил.

— Спички есть?

Он кинул мне коробок и снова исчез.

Дрова оказались сухими. Нарубив щепок, я поджег их, для начала засунул несколько поленьев потоньше, а когда они разгорелись, добавил других, потолще. К возвращению Эммы в печи уже полыхало, а на темном полу весело плясали яркие отблески огня.

— Это я понимаю! — радостно воскликнул Эмма, выкладывая какие-то свертки. — Еще минута — и я бы опоздал! Магазин уже закрывали, но, к счастью, продавщица молодая, знакомая. «От тебя, — сказал я, — зависит жизнь человека...» И вот...

Стерев пыль со стола, Эммануил расстелил газету и переложил на нее хлеб, масло, колбасу, консервы, печенье.

— Хотел было прихватить и вина, но решил, что сегодня пить не стоит, — повернулся он к Либкину. — Сегодня закусим, а выпьем завтра, хорошо?

Либкин сидел все в той же неподвижной позе, с выражением полной отрешенности, словно все происходящее не имело к нему никакого отношения.

— Не хочу, — глухо пробормотал он. — Ничего не хочу...

— Ну, как знаешь, — ответил равнодушным тоном Эмма. — Я же проголодался, как волк. Как ты? — спросил он меня.

— И я.

Эмма нарезал хлеб, колбасу, открыл консервы, и мы вдвоем принялись за еду.

Либкин какое-то время продолжал еще неподвижно сидеть на тахте. Затем, бросив едва уловимый взгляд в нашу сторону, поднялся, подошел к столу, протянул руку.

Спустя мгновение он уже без разговора совал в рот все, что попадало, роняя крошки в растрепанную бороду. Насытившись, он, точно пьяный, шатающейся походкой подошел к печке, прислонил к ней обе руки, затем весь припал к нагретой стене и, блаженно улыбаясь, выдохнул:

— Тепло...

Мы еще немного посидели, затем Эмма поднялся.

— Ну вот, Шолом, мы уходим, — сказал он. — Когда в печке все выгорит, закрой вьюшку. Но смотри, не делай этого слишком рано, можешь угореть.

Либкин не ответил, но во взгляде его что-то как бы засветилось.

— А с завтрашнего дня, — сказал Эмма, стоя уже в дверях, — начинается работа. Для начала программа немалая: баня, парикмахерская, столовая. Будешь топить печь. Видел, как это делается? Так вот, с завтрашнего дня будешь это делать сам утром и вечером. Я договорюсь с женщиной, она тут приберет. Спокойной ночи, Шолом!

Либкин не отвечал. Он все еще стоял, прислонясь к печке, глаза его были прикрыты, а в косматой бороде среди застрявших крошек потерялась какая-то блаженная, почти детская улыбка...

Спустя некоторое время мы с Эммой вновь посетили Либкина. Ни комнаты, ни его нельзя было узнать. Абажур без единой пылинки, — он оказался ярко-оранжевого цвета, — словно сквозь позолоченный фильтр струил ясный свет. Тахта аккуратно была укрыта вычищенным ковром. На темных, оттаявших окнах белели свежие занавески. Либкин, чистый, опрятный, с подстриженными бородой и усами, приобрел свой прежний, осанистый вид. Он только был бледен и худ, как человек, перенесший тяжелую болезнь и чудом от нее исцелившийся.

На столе стояли вино и закуска. Мы немного выпили. У Либкина влажно поблескивали глаза. Он говорил много, желая, очевидно, наговориться и за то время, что лежал в одиночестве в холодной, запущенной комнате.

— А ведомо ли вам, братцы, — сказал вдруг Либкин, — что когда вы в тот памятный вечер зашли сюда, ко мне, в эту стужу и мрак, и ты, Эмка, сказал, что уступил мне квартиру не для того, чтобы в ней умирать, — знаете ли вы, что я к этому был тогда весьма близок...

— К чему к этому?

— Да к тому самому, чтоб перебраться к праотцам... Я было вовсе уже и собрался...

— Я видел, что ты к этому близок, — ответил Эмма, — но что ты собрался, такое не могло прийти мне в голову.

— Представь — собрался.

— Ну и дурень!

— Возможно, но это было именно так.

— Что же, тебе жизнь надоела, что ли? — Эмма бросил на Либкина уничтожающий взгляд. — Гляди на детишку, отец с матерью породили его на сто лет, не меньше, а он? Представляешь хотя бы, сколько ценного материала мать-природа потратила на тебя? С избытком хватило бы на трех добрых молодцов, которые бы честно трудились весь век, не предъявляя миру никаких претензий...

Эмма встал, прошелся по комнате и вновь остановился перед Либкиным.

— А ты скажи-ка, будь добр, скажи мне: кто, собственно, дал тебе такое право — распоряжаться своей жизнью? Одному тебе принадлежит она, что ли?

— Ты знаешь, — саркастически усмехнулся Либкин, — до сих пор я думал, что она принадлежит мне и никому больше... Или я ошибался?

— Еще как ошибался!

— Почему же?

— Потому, что моя жизнь, твоя жизнь, его жизнь, — Эмма указал на меня, — принадлежит не только нам самим.

— Кому же еще?

— Миру, вечности, кому хочешь, но только не нам самим. И каждый из нас... — Эмма говорил горячо и, как всегда в таких случаях, слегка заикался, — каждый из нас п-прежде всего об-язан внести свою лепту в общее дело, а п-после того уже, после...

— Что — после?

— После того, как он внесет свою лепту, он может думать о чем угодно, и о смерти тоже...

— Какую же лепту должен он внести? — спросил Либкин.

— А это уже, — спокойнее ответил Эмма, — зависит от того, кто на что способен. Один даст миру дюжину сыновей, другой вырастит хлеб, третий посадит деревья, чет-

вертый напишет книгу, пятый создаст симфонию, шестой...

— Вот-вот... — перебил его Либкин.

— Что «вот-вот»?

— Как раз поэтому вот Шолом Либкин и собрался к праотцам...

— Тут уж я совсем ничего не понимаю! — воскликнул Эмма.

— А это не так легко понять, — заметил Либкин. — Поэтому я предлагаю: давайте выпьем еще по рюмке.

— Но ты этим не отделаешься, ты объясни сначала...

— Я же говорю: выпьем, а там, глядишь, кое-что и прояснится...

— За жизнь! — воскликнул Эмма.

Либкин долго просидел с опущенной головой, затем взглянул на нас каким-то просветлевшим взглядом и сказал:

— Хочу одного: чтоб вы меня правильно поняли. Возможно, это вам нелегко, вы мыслите другими категориями. Но попытайтесь хоть на минуту представить себя в положении человека, который воспитан в других условиях, в других традициях — в традициях, которые вам, может быть, чужды, но там, на Западе, миллионами людей еще не отвергнуты и, вероятно, они еще долго будут существовать. Вот ты, Эмма, говоришь, что моя жизнь принадлежит не только мне — она принадлежит будто бы всем, следовательно, все должны как-то вникать в мою жизнь, а я в свою очередь должен интересоваться жизнью других. Ты мыслишь вашими категориями — коллективизм, интернационализм. Но там, откуда я к вам пришел, моя жизнь — только моя и ничья больше. Кому какое там дело до тебя... Поступай со своей жизнью, как тебе заблагорассудится. Вот ты еще говоришь о том, что каждый должен внести свою лепту в общее дело. А там каждый думает наоборот — как бы урвать побольше для себя, для себя одного лишь... Вы здесь все стремитесь побольше сделать, создать, совершить, а там, вы понимаете, там стремятся к тому, чтобы не делать, по возможности ничего не делать. Иметь как можно больше, а делать как можно меньше. Таково общество...

— Общество наизнанку, — отозвался Эмма, — общество, в котором все шиворот-навыворот...

— Да, — согласился Либкин, — но это общество, не забывая, постарше того, которое вы создаете здесь, и отмахнуться от него нельзя, надо с ним как-то считаться, не так ли?

— Ты прав, — сказал Эмма, — считаться надо. — И, помолчав, добавил: — А возможно, с ним придется еще и воевать. . .

— Возможно, — ответил Либкин. — И вот представьте себе: человек из того общества «наизнанку», как ты говоришь, попадает к вам. На первых порах он думает, что и тут сможет жить так же, как жил там. Но из этого ничего не получается, и не получается потому, что даже воздух здесь иной и этим воздухом ему нелегко дышать. На каждом шагу его подстерегают неожиданности, так как здесь другие мужчины, другие женщины, другие девушки. . . И ни к кому из них у него нет ключа. А ключи, которые он привез оттуда, не подходят. . . И главное — здесь царит атмосфера деятельности, труда. Все без исключения заняты делом. Хотел заняться и я, но. . . одного желания, очевидно, недостаточно. Оказалось, что я ничего не умею делать и не умею потому, что не привык делать, вернее — я привык не делать. . .

Либкин умолк. Мы с Эммой переглянулись.

— Живя среди вас, — продолжал Либкин, — и наблюдая, как каждый из вас делает что-то важное и полезное для себя и для всех, я спросил у себя: ну, а ты, Шолом, ты, бездельник, ты, недотепа, ты, горемыка, на что способен ты? Что ты можешь? Ничего? Тогда ложись и умирай. . . И вот я и собрался. . .

Либкин умолк. И мы с Эммой молчали. Только слышно было, как в пылающей печи потрескивают дрова.

— Помнишь, Эмка, — начал опять Либкин, положив на место нож, которым до сих пор играл в руке, — ты несколько раз заходил сюда, ко мне, хотел поговорить, предлагал помощь, а я тебе — ни слова в ответ? Ты не понял тогда причины. А причина была в том, что я вынес уже себе тогда приговор и ждал смерти. Ты помешал мне. . .

— Да, я ничего не понимал тогда, — сказал Эмма, — но такое и понять-то трудно. — И, устремив на Либкина серьезный взгляд, добавил: — Ты тут у нас напорол, Шолом, немало глупостей. Однако самой большой глупостью было подумать, что мы тебе дадим умереть. . .

Он наполнил рюмку.

— За здравие!

Мы выпили.

Влажно поблескивая глазами, Либкин сказал:

— Как мало нужно для воскресения из мертвых: хорошо натопленная печь и добрая баня...

— Но ты совершишь ошибку еще большую, — заметил Эмма, — полагая, что, воскреснув из мертвых, ты сможешь жить так, как жил до того...

— Это-то я понимаю, — серьезно ответил Либкин, — но что же мне делать?

— Только одно, — ответил Эмма, — делать, работать...

Играя пустой рюмкой, Либкин задумчиво заговорил:

— До чего все странно... Лежу я здесь, на тахте, холодный, голодный, а в голове все равно фантазия за фантазией... и возникают герои новых вещей, хватит их на роман, да не на один... Хотите, кое-что расскажу...

Либкин потянулся к бутылке, но Эммануил остановил его:

— Хватит! Сегодня, думаю, больше пить не будем... А по поводу того, Шолом, что ты хочешь рассказать нам, скажу тебе вот что: не надо. — Эмма повернулся ко мне: — Правда ведь, не надо? И вообще давай отныне и впредь договоримся: мы не выслушаем ни одного твоего слова, коль речь пойдет о каком-нибудь творческом замысле, пока он не будет изображен черным по белому на бумаге. Не смотри на меня так. Твоими устными историями мы сыты по горло... И знай, Шолом, ты растерял среди нас всех своих бывших приверженцев. С сегодняшнего дня мы будем верить только тому, что будет написано пером...

— Ах, пером? — повторил Либкин.

— Да, и вот уговор, — Эмме в голову пришла идея, — мы даем тебе неделю. Хватит тебе недели?

— На что?

— Ровно через неделю мы придем сюда снова, и ты нам прочтешь...

— Что я вам прочту?

— Что захочешь. Это может быть эссе или новелла, глава из рассказа или романа, но главное условие — чтоб черным по белому. Идет?

— Но что это за посягательство на свободу личности! — воскликнул Либкин, комическим движением вознося руки к потолку. — Заступитесь, о боги!..

— Некоторых личностей, — ответил Эмма, — только так и заставишь сделать что-то путное. Потом они же и поблагодарят. А сейчас — на улицу, подышать морозом!

— Что-то не хочется, — стал отнекиваться Либкин.

— Пошли! — настаивал Эмма. — Проветришь хорошенько! Проветри мысли. Дальневосточный мороз имеет чудесное свойство: пустые, ничтожные мысли он вымораживает в два счета, так, что от них не остается и следа. Зато уж те мысли, которые способны перед ним устоять, они-то уж чего-нибудь стоят...

Мы вышли втроем на улицу. Под ногами громко скрипел снег. В небе висела полная луна.

Дойдя до единственного в городе трехэтажного здания, где помещались областной комитет партии и областной исполнительный комитет, мы повернули обратно и зашагали вниз, к Октябрьской улице.

— Вот ты, Шолом, — обратился к Либкину Эммануил, — говорил об обществе там, на Западе, о том, что оно постарше нашего. Это-то ничего, оно старше своей культурой, цивилизацией, и это нам пригодится. Хуже, однако, то, что общество это просто старо, оно одряхлело, его одолевают все старческие болезни, которыми оно пытается заразить и нас...

Эмма задумался. Потом тихо проговорил:

Нежное человеческое тело будет еще трепетать
В месиве из грязи и крови...

— Что это, — спросил я, — ты вспомнил вдруг Шварцмана?

— Не вдруг, — ответил он и, как бы следя за своими собственными, невысказанными мыслями, добавил: — Много накопилось грязи на земле. Человечество прольет за это еще немало крови...

За роговыми очками печальный взгляд Эммануила был полон решимости, как у человека, заранее готового к чему-то большому и важному.

— Могу доложить, — сказал вдруг Либкин, — что мороз не только вышиб у меня из головы все нестоящие мысли, но и принялся за меня самого...

— Коль нестóящие мысли вышиб мороз, — сказал Эмма, — можешь идти.

Мы проводили Либкина до дома. Когда его шаги на скрипучей лестнице затихли, Эмма предложил:

— А мы еще немного пройдемся?

— Конечно!

— До моста?

— Пошли!

Луна щедрым холодным светом поливала сопку по ту сторону моста, затихший на морозе город, тонкие контуры далеких возвышенностей.

— Ты только взгляни, что за ночь! — восхищенно сказал Эммануил, заглядевшись на луну.

Затем спросил:

— Как ты думаешь, с чего я это уставился на луну?

— Наверное, было у тебя что рассказать ей...

— Нет, на сей раз она рассказала мне.

— Что?

— Угадай!

— За это не берусь. С луной у каждого свои тайны...

— Так вот — с ее высоты ей все видно, и говорит она мне: «На земле, знаю, еще много нечисти и тьмы. Но света ясного — запомни это! — все же больше...»

— Так и сказала?

— Да, этими словами...

— Верю!

— Верь!

Мы попрощались. Сильной своей худощавой рукой Эмка крепко сжал мою руку и одновременно и весело и серьезно глянул на меня из-под очков.

Улица, город — все вокруг светилось в холодной, прозрачной ясности...

НА ПОЛНОМ ХОДУ

1. У окна

За Байкалом, из-под высокого нагромождения заснеженных скал, круто сомкнутых над длинным туннелем, со стальным грохотом вырвался экспресс и помчался вдоль отвесных горных уступов. Вслед за последним вагоном долго взлетал еще поднятый стремительным движением снежный вихрь.

В каменном безмолвии, гордые, надменные в своей неприступности, застыли горы, ничего не ведая о том, что из прорубленных в них туннелей вырываются поезд за поездом и победным гулом оглашают все вокруг. Словно нехотя, ленивым эхом, горы множили этот гул и снова застывали в снежном безмолвии.

В одном из вагонов в середине поезда жизнь протекала так, как она уже успела установиться за те несколько суток, что пассажиры находились в пути. Длинный вагонный коридор был пуст. Лишь у крайнего к выходу окна стояли плотный высокий мужчина с льняными, зачесанными вверх волосами и совсем юная на вид, в темных кудряшках, девушка — капитан Лаутин и выпускница одного из московских фармацевтических техникумов Надя Симонова, направлявшаяся на работу на Дальний Восток. Она впервые ехала в этих местах, ей все здесь было вновь, интересно и немного страшно...

Поезд круто повернул, и девушка в испуге отшатнулась.

— Качает? — улыбнулся Лаутин и поддержал ее за руку. На смуглом запястье ее заметив плоский кружок часов, спросил: — Стоят?

— Что вы!

— Бегут?

— Не выдумывайте!
— Но они показывают странное время...
— Ах, — улыбнулась Надя, — это еще московское.
— Но мы уже четвертые сутки в пути.
— В Хабаровске сразу переведу их на все семь часов вперед. А сколько теперь?

— Десять.
— Большой станции не предвидится?
— Как будто нет. Что вы читаете? — показал он на книгу в ее руке.
— Взяла здесь, в поездной библиотечке. Герман Титов...

Из полуоткрытых дверей их купе то и дело доносился громкий стук костяшек — там без устали «забивали козла». От него целыми часами и спасались Симонова и Лаутин здесь, у окна. То молча, а то беседуя, они все время не отрывали глаз от проносившихся мимо бесконечных зимних пейзажей.

— Вы не заметили, — сказал Лаутин, — немного ранее тут промчался бухгалтер Гнезин из восьмого купе, — злой — страшно!

— Не заметила, — сказала Надя. — Не могу оторваться от окна. Что за чудо, смотрите... Гнезин, говорите? Такой же злой, как вчера?

— Что вы, еще злее!

— Опять, наверное, к начальнику поезда? И все с той же просьбой — чтоб заменили купе? Не надоест же человеку...

— В пятом вагоне, я слышал, он нашел коллегу, такого же холостяка, как и он...

— А Зинаида Семеновна не показывалась?

— Что вы! В такую рань?

— И Мира Ефимовна не появлялась? Как она себя чувствует? Вчера она выглядела неважно. Даже опасались...

— Напрасно. Раз Вася Петров там, — усмехнулся Лаутин, — беспокоиться нечего...

— Знаете, — повернулась Надя к нему, — первые дни я думала, что Петров не случайный сосед по купе, думала — муж. Он так внимателен к ней, так заботлив. Должно быть, трудно ей ехать в таком положении одной...

— Ничего страшного! — уверенно заметил Лаутин. — Вот так, на полном ходу, оно всегда лучше.

Пассажиры в вагоне за несколько дней пути уже успели между собой перезнакомиться, многое друг о друге знали, о каждом имели свое мнение.

Восьмое купе сегодня, как всегда, было закрыто. В нем ехала беременная, на сносях, женщина — Мира Ефимовна Зильберг. Все в вагоне относились к ней уважительно, с каким-то особо бережным вниманием. Она ехала к мужу, инженеру-электрику, посланному полгода назад, после окончания института, на работу в Биробиджан. Сама она окончила педагогический институт, была учительницей. Довольно высокая, стройная и миловидная женщина, теперь она сильно раздалась вширь, несколько удлиненное лицо ее было обезображено пятнами. От этого она чувствовала себя на людях неловко и старалась как можно меньше выходить из купе.

Своеобразно шефствовал над беременной женщиной молодой, двадцатилетний гидролог Василий Петров. Ехал он до Хабаровска, с тем чтоб оттуда самолетом добраться до Камчатки, где недавно проходил практику и куда теперь направлялся на постоянную работу. К величайшей досаде Зинаиды Семеновны Зриной — второй женщины, ехавшей в том же купе, молодой, грациозной, жизнерадостной, гидролог ее как бы вовсе не замечал, все внимание уделяя беременной. То принесет ей из ресторана обед, то закроет дверь, чтоб не дуло, старался, чтоб ничто не мешало ей.

Мира Ефимовна подолгу лежала на своей нижней полке, а когда надоедало и трудно становилось лежать, присаживалась к окну. Полной белой рукой в широком рукаве шелкового халата опершись о столик, тихий, внутрь себя устремленный взгляд больших черных, и в теперешнем положении, красивых глаз долго не спускала она с мчащихся мимо заснеженных зимних просторов...

Зинаида Семеновна редко бывала в купе. Здесь ее одолевала скука. Чаще всего она проводила время в других вагонах, особенно в том, где ехал инженер-технолог из Владивостока Вадим Петрович. Целыми днями тут играли в преферанс. К себе она возвращалась поздно вечером, а утром долго не могла разомкнуть глаз.

Четвертым соседом в купе был главный бухгалтер крупного предприятия Лев Маркович Гнезин, который возвращался из ответственной командировки. Это был человек лет сорока с лишним, с большой огненно-рыжей бо-

родой. Все в вагоне уже знали, что этот закоренелый холостяк никак не может примириться со злой шуткой, которую сыграл с ним билетный кассир в Москве (а может, и сама судьба?), поместив его в одно купе с женщиной на сносях, которая того и гляди может еще, как он говорил, «рассыпаться» у него на глазах...

Лев Маркович целыми днями просиживал в другом вагоне, где ехал такой же, как и он, холостяк, заведующий сберегательной кассой, с которым они случайно познакомились. Сегодня с утра он снова подался к своему коллеге, а заодно и к начальнику поезда — в который раз просить перевести его на первое освободившееся в поезде место.

Широко и плавно покачивало на ходу вагон. Морща широкий красноватый лоб, Лаутин неустанно думал о той новой ответственной работе, в связи с назначением на которую его вызывали в Москву. Возвращался он оттуда со множеством новых планов, которые обдумывал в пути.

— Гляньте, что на нас надвигается! — испуганно воскликнула Надя.

В вагоне сразу стало темно от плотно придвинувшейся к жалобно задребезжавшим окнам огромной каменной массы.

— А вы поглядите вверх, — сказал Лаутин.

— Но я там ничего не вижу.

Свою большую, в крупных веснушках руку Лаутин положил на узенькое плечо девушки и повернул ее так, чтоб и она увидела.

— Здесь по-настоящему страшно! — вздрогнула Надя.

В вагоне опять уже было светло, а она все еще не могла отделаться от ощущения, что огромная гора, низко нависшая над мчащимся поездом, вот-вот рухнет и раздавит их... Как бы ища защиты, она по-детски приткнулась к мощному плечу Лаутина.

— Здесь по-настоящему страшно, — повторила она, — и, пожалуй, опаснее, чем лететь, не так ли?

— Почему же? — спросил он.

— В самолете вы ведь не рискуете, что такая вот горища вдруг свалится на вас?

— А самому свалиться на нее, вы думаете, слаще?

— Разве такое бывает? — спросила Надя.

— Если допускать, что может упасть гора, — рассмеялся он, — то с человеком это может случиться подавно...

— А с вами случилось?

— Ну, нет, а то как бы я теперь разговаривал с вами? С горами живу пока в мире. Скорее гляньте вверх, направо!

— Сосны! — воскликнула Надя.

— А гору узнали?

— Неужто та самая?

— Ну да.

— Не верится...

Поезд мчался уже довольно далеко от той горы, которая раньше своей грозной близостью так напугала девушку. Теперь гора темнела в отдалении, четко выделяясь на светлом фоне неба со всеми своими островерхими скалами. На самой высокой из них росли три стройные сосны.

— Вы боялись, что гора упадет на нас, — сказал, смеясь, Лаутин, — а сосны вот — те не боятся.

Симоновой стало неловко, она хотела что-то сказать в свое оправдание, но в эту минуту поезд с внезапным грохотом надолго поглотил туннель и стало темно. А потом, когда туннель кончился и их снова залило ярким светом, в открытой двери восьмого купе они увидели Миру Ефимовну. Та стояла с полотенцем и мылом в руках. Не успели они с ней поздороваться, как новый туннель сомкнул над поездом свою темную пасть.

— Мира Ефимовна, не ходите! — крикнула в темноте Надя.

— Жду, жду, — слышался глухо, как из пропасти, ответ.

— Смелая женщина, — сказала Лаутину Надя.

Пока тянулся туннель, оба они думали о новой жизни, которую та несла в себе и которая, еще не появившись на свет, совершала уже свой первый далекий путь...

Полный неистового, ликующего восторга, экспресс вырвался наконец из туннельного мрака и помчался в слепящем блеске бескрайних, залитых щедрым солнцем снежных просторов.

2. Телеграмма

Еще на станции Красноярск, где поезд долго стоял, в восьмое купе внесли телеграмму.

Мира Ефимовна и Зинаида Семеновна, сидя напротив друг друга, беседовали. За телеграммой обе женщины

потянулись сразу, но когда проводник назвал фамилию Зильберг, Зинаида Семеновна отвернулась. На лице ее отобразилось легкое разочарование, хотя телеграмм она ни от кого не ждала.

— Надо же догадаться, — заметила она, — телеграфировать в поезд! Кто у вас такой догадливый?

Мира Ефимовна не ответила. Она побледнела, и пятна на лице ее выступили заметнее. Телеграфный бланк дрожал в ее похолодевших пальцах, она боялась его раскрыть. «Вдруг что-нибудь с мамой?» — подумала она. В день ее, Мириного, отъезда у мамы подскочило давление.

— Да не томите же вы себя! — воскликнула Зинаида Семеновна.

Мира Ефимовна развернула бланк, с опаской заглянула в него и вдруг почувствовала, как кровь ударила в лицо и всю ее обдало жаром.

Лицо беременной женщины порозовело, полные, чуть припухлые губы растянулись в невольной улыбке, глаза влажно заблестели. Бессильно откинувшись к стенке вагона, она протянула телеграмму соседке по купе. Та близорую поднесла ее к глазам.

— Вот как! — сказала она и вслух повторила текст: — «Нетерпением жду люблю целую Миша». Это от мужа? — спросила она.

— Ну да.

Зинаида Семеновна помолчала, затем спросила:

— Он вас очень любит?

— Может быть, — уклончиво ответила Мира Ефимовна, но по счастливому выражению ее глаз видно было, что она в этом не сомневается.

— Выежая из Москвы, — сказала Мира Ефимовна, — я телеграфировала ему номер поезда, вагона, купе, так что все это ему известно.

— Это известно и моему мужу, — ответила Зинаида Семеновна, — однако же не догадался.

Тень разочарования исказила и сделала на миг лицо ее каким-то безобразно-несчастливым. Мире Ефимовне стало жаль соседку по купе. Она хотела сказать ей что-то утешительное, но тут постучали.

— Войдите!

На пороге стоял инженер-технолог из Владивостока Вадим Петрович. Аккуратные черные бакенбарды и тем-

ная ниточка усов оттеняли матовую бледность его мужественного лица.

— Как вам нынче спалось? — галантно обратился он к обеим женщинам и тут же повернулся к Зинаиде Семеновне: — Я по вашу душу, Зиночка...

— Ах, значит, нужна вам только моя душа? — игриво воскликнула Зинаида Семеновна.

— И конечно же, — еще галантнее ответил Вадим Петрович, — прекрасная оболочка, в которую душа эта заключена...

— Не говорите пошлостей, Вадик, — небрежно бросила Зинаида Семеновна, раскрывая пудреницу.

Мира Ефимовна была поражена мгновенным преображением соседки. Куда девался несчастный вид, который еще минуту тому назад почти обезобразил ее лицо? С появлением Вадима Петровича серо-голубые глаза ее распахнулись, зрачки расширились, и Зинаида Семеновна вся как бы изнутри засветилась.

Пока она пудрилась, слегка подкрашивала губы, Вадим Петрович без умолку говорил:

— Пришел я сюда, Зиночка, от всего нашего купе да еще от двух мужчин из соседнего. Все мы ждем вас. Без вас никак не начнем...

— Чего?

— Завтрака и преферанса.

— Можно подумать!

— Уверяю вас, Зиночка, — продолжал он, — да и вам самой это прекрасно известно, в нашем купе и в соседнем, — да что я говорю, во всем вагоне едут одни ваши поклонники...

— Так уже во всем вагоне? Ну, а вы, Вадик, вы сами тоже в их числе?

— Помилуйте! — воскликнул он. — Не случайно ведь по вашу душу каждое утро прихожу я...

Зинаида Семеновна встала. Высокая, стройная, в голубых брюках, в белоснежной кофточке, она была обворожительна. Горделиво вскинув голову с льняными, по последней моде причесанными волосами, сказала:

— Мира Ефимовна, прошу вас: как только появится Эрнест Валерьянович из четвертого вагона, пожалуйста, скажите ему, что мужчины из третьего вагона, — она кокетливо глянула на Вадима Петровича, — похитили меня.

Так и скажите: никуда не собиралась, но пришли и похитили... Хорошо?

— Но Эрнест Григорьевич будет в претензии на меня — почему допустила, — возразила Мира Ефимовна.

— В вашем положении не так уж трудно оправдаться, — заметила Зриина.

— А вам, Зинаида Семеновна, везет, — улыбнулась Мира Ефимовна, — мужчины охотятся за вами...

— Что же, — стоя в дверях, отпарировала Зинаида Семеновна, — не то что вы, которая получает прямо в поезде телеграммы от одного-единственного Миши...

Они вышли. Оставшись в купе одна, Мира Ефимовна задумалась. Сколько людей — столько характеров. Вот хотя бы Зинаида Семеновна. Она все просит звать ее Зиной, но как-то язык не поворачивается, ибо та сама все время величает ее по имени-отчеству, как будто была намного моложе. А в сущности, они почти одного возраста. Разве что беременность придает ей, Мире, излишнюю солидность? Возможно. Так вот, Зинаида Семеновна, Зиночка. Она едет к мужу. Он лейтенант, служит на границе, на одной из дальневосточных застав. Поженились года два тому назад. Познакомились в Сочи. «Нас обручило море», — рассказывала Зиночка. И вот как это произошло. Оба хорошие пловцы, они однажды заплыли далеко. Оглянулись — все давно поотставали и никого вокруг нет. С радостью победителей в этом никем не объявленном состязании, они, незнакомые, друг другу улыбнулись и вместе поплыли обратно. Устав, рядом отдыхали, покачиваясь на спинах. «Небо голубое, — рассказывала Зиночка, — море тоже, и среди беспредельной голубизны — мы... И все вокруг, и мы сами насквозь пронизаны солнцем...» Он там же, в воде, протянул руку, она дала ему свою... Было хорошо. Вместе поплыли к берегу. Плыли медленно, не торопясь, а из воды вышли как бы уже навек обрученные, с ясным сознанием, что друг без друга им на земле не жить...

Вскоре после курорта у Зининых родителей в Москве справили свадьбу, и молодая чета уехала на далекую пограничную заставу, где служил лейтенант. Тут приезд его с молодой женой всех радостно взбудоражил. Их поздравляли, Зиночка всех восхитила своей красотой и талантом — она хорошо исполняла модные эстрадные песни и сама себе аккомпанировала на рояле. Неженатые офи-

церы, рассказывала Зина, завидовали ее Вите и — это видно было по их глазам — все поголовно в нее влюбились... «И женатые тоже, — добавила она. — Жены у них все, как на подбор, были какие-то курносые простушки, которые одно только и знали — рожать...»

Один женатый офицер, отец двух девочек, пытался даже завести с Зиной флирт. «Был он, — рассказывала она, — статен, красив». — «Красивее вашего Вити?» — спросила Мира. «Не то чтобы красивее, — ответила Зина, — но в нем было что-то такое... Вы понимаете, что-то такое, что невольно к нему влекло...» — «Ну, и?..» — «Ну, и о чем могла идти речь на заставе, где каждый дюйм земли просматривается? Мы пару раз с ним встретились, просто так, чтоб поговорить. Он меня об этом умолял, почему же не пойти навстречу?» — «И что же?» — «Ничего. Нас засекли, — рассказывала Зиночка, — и вскоре этого офицера перевели на другую заставу». — «А муж?» — спросила Мира. «Витек? Он так в меня влюблен, что ничего не заметил...»

Зиночке вскоре наскучило на заставе: «Каждый день одно и то же: наряды и тревоги, наряды и тревоги...» А она привыкла к широкой жизни в Москве, к театрам, концертам, многочисленным друзьям. Уехала к родителям на пару месяцев, устроить кое-какие дела, а оставалась больше года. Витек посылал письмо за письмом, звал к себе, а она находила все новые отговорки, пока он не прислал ультиматум: или она возвращается к нему, или развод. И вот она едет к мужу на заставу. Мира спросила, был ли ребенок. «Я сделала аборт, — ответила Зина. — Для этого и ездила в Москву...»

Аборт... Как легко она произнесла это слово, будто так и надо... Мира внутренне содрогнулась. Могла бы так поступить и она? Нет, не смогла бы...

Бесконечные снежные равнины, небольшие, темнеющие у горизонта селения все мелькали, убегая назад, а поезд в стремительном движении выстукивал в беспрерывном беге колес: вперед... вперед!..

Слово это неустанно звучало в ее ушах, стучало в сердце, наполняло собой всю, а также и то существо, что жило уже внутри нее и время от времени давало знать о себе нежными настойчивыми толчками... Она положила руку на живот, чуть надавила его ладонью и под затрепетавшими пальцами сильнее ощутила эти толчки...

Был бы Миша тут, она и его руку положила бы себе на живот, — пусть и он почувствовал бы, как бьется в ней новая жизнь, их жизнь... Но Миша тут, вот его телеграмма... Как бы опасаясь, что она каким-то невероятным образом может исчезнуть, Мира быстро схватила ее со столика, поднесла к глазам, долго всматривалась в каждое слово, повторяя его губами. И вот ей уже слышится что-то новое в неумолчном беге колес:

«Люблю... целую... Миша...

Люблю... целую... Миша...»

Вот что теперь выстукивали колеса.

У нее закружилась голова, и она склонилась, почти упала на подушку.

3. В ресторане

Мужчины из восьмого купе — главбух крупного предприятия Лев Маркович Гнезин и молодой, двадцатилетний гидролог Василий Петров, или, как все его тут звали, Вася, — в вагоне-ресторане ждали обеда. С ними был и знакомый Льва Марковича — заведующий сберегательной кассой Савелий Кузьмич. Заказ у них уже приняли, принесли пиво. Разливая его по стаканам, Лев Маркович, усмехаясь в огненно-рыжую бороду, сказал:

— Оказывается, собралось нас здесь трое холостяков! Что же, за вольное наше холостяцкое житье и предлагаю выпить! Как вы, Савелий Кузьмич?

— Совершенно согласен! — с готовностью отозвался тот.

— А вы, молодой человек?

— Видите ли, — вскинув свои белесые вихры, с легкой усмешкой ответил Вася, — до меня не совсем дошел смысл вашего тоста, Лев Маркович.

— Как не дошел? — удивился тот. — Я предлагаю выпить за нашу мужскую свободу, за то, чтоб никогда не быть в повиновении у женских юбок и детских пеленок, ясно?

— Яснее ясного! — подтвердил Савелий Кузьмич.

— Ясно-то ясно, — сказал Вася, — но не поторопились ли вы с зачислением меня в свою компанию?

— А что, — вскинулся Лев Маркович, — и вы совершили уже роковую ошибку, Вася? Вы женаты?

— Нет, пока не женат.

— Так что же, — с облегчением вздохнул Лев Маркович, — значит, вы такой же холостяк, как и я, как Савелий Кузьмич.

— Возможно, однако с небольшим оттенком, — сказал Вася.

— Каким?

— У меня все же есть еще некоторые шансы когда-нибудь перестать быть холостяком, а у вас их, по-видимому, нет...

— Но именно за это, — поднял свой стакан Лев Маркович, — я и предлагаю выпить — за отсутствие шансов! Как вы, Савелий Кузьмич?

— Совершенно с вами согласен! — поднял тот свой стакан.

— А я все же выпью за те шансы, которые у меня еще есть, — сказал Вася.

Выпив, Лев Маркович смахнул пену с усов и, обращаясь к Петрову, сказал:

— Вы меня извините, Вася, но коль вы еще ищете шансы, то ищите, как я погляжу, не там, где следует.

— Как — не там?

— Сейчас поясню. Вот едем мы с вами несколько дней в одном купе. Мне вообще не повезло. Я со своим отношением к женщинам, детям и всему подобному угодил, видите ли, в одно купе с беременной женщиной, которая того и гляди рассыплется в дороге...

— Да, Лев Маркович, — усмехнулся Вася, — вам крупно не повезло. А что, начальник поезда все обещает?

— Был я у него и сегодня. «Как только что-нибудь освободится...» — говорит... Но это — одно дело. А вы все же, скажу я вам, очень странный молодой человек.

— Чем же?

— Чем? — Лев Маркович повернулся к Савелию Кузьмичу, с которым сидел рядом, и ему, а не Васе, стал отвечать на вопрос, который задал тот: — Понимаете ли, Савелий Кузьмич, с нами в одном купе едут две женщины, я вам уже о них рассказывал. Одна беременная, на сносях. Не знаю, в этих делах я мало компетентен, — возможно, в нормальном состоянии она и приятная женщина. Но теперь — бочка бочкой, лицо в пятнах, страх божий! А этот молодой человек, видите ли, усиленным образом за ней ухаживает. Не успеет она еще высказать

пожелание, он уже его выполняет! А напротив беременной едет другая женщина — Зинаида Семеновна. Что вам сказать, таких вы можете увидеть в журнале мод, и только на первой странице! К ней паломничество из других вагонов, ее забирают на целые дни. А для нашего Васи она как бы не существует вовсе. Он и не смотрит в ее сторону...

Поведав все это Савелию Кузьмичу, Лев Маркович повернулся к Васе и, поглаживая бороду, спросил:

— Ну, скажите, не странно ли это?

— Странно, очень странно, — подтвердил Савелий Кузьмич.

— Я моложе вас, друзья холостяки, — ответил Вася, — не могу и не берусь вас поучать, но что касается меня, я убежден: материнство — дело святое. И я преклоняюсь перед женщинами, которые готовятся к своему материнству так, как наша соседка по купе...

— Ну, а Зинаида Семеновна? — спросил Гнезин.

— Это героиня не моего романа, — отрезал Вася.

У стола остановилась официантка с подносом. В металлических высоких мисках исходил паром горячий борщ.

— Что вы заказали на второе? — спросила официантка. — Цыплят табака?

— Да, три порции.

— Нет цыплят табака. Кончились.

— Что есть?

— Свиные котлеты.

— И все?

— Все!

— Что ж поделаешь, — сказал Лев Маркович, и все принялись за борщ.

Первым разделался с ним Гнезин. Утирая бороду, он заметил:

— Котлеты принесут не скоро. Подоспела бы приличная станция, смогли бы еще полностью отобедать.

— Ну и чревоугодник же вы, Лев Маркович, — заметил Савелий Кузьмич.

— Да нет, — отмахнулся тот, — что-то делать надо в пути. Скучища...

Выглянули в окно. Телеграфные столбы вблизи, темные селения вдаль, у горизонта, бескрайние снежные равнины — все это стремительно убегало назад, назад...

— Можете сколько угодно иронизировать надо мной, — сказал Вася, — но разрешите, Лев Маркович, задать вам вопрос.

— Вопрос?

— Да, и, возможно, для вас несколько неожиданный.

— Прощу. Мы, люди старшего поколения, обязаны отвечать на все ваши вопросы, молодой человек, дабы уберечь вас от повторения наших ошибок...

— Будьте уверены, ваших ошибок мы не повторим, — сказал Вася.

— К чему? — заметил Савелий Кузьмич. — Они совершат своих немало...

— Bravo! — обернулся к нему Гнезин. — Один — ноль в вашу пользу, Савелий Кузьмич!

И к Петрову:

— Ваш вопрос?

— Были вы, Лев Маркович, когда-нибудь... влюблены?

Вопрос и впрямь оказался для Гнезина неожиданным. Долгим, испытующим взглядом уставился он на молодого человека и вдруг, тряся рыжей бородой, рассмеялся.

— Представьте — был, да еще как!..

— Вы — со своим отношением к женскому роду? — удивился Вася.

— Да, да. Но мое теперешнее отношение к нему уже результат известного житейского опыта, и неспроста же оно возникло. А до этого... до этого... Вам, Савелий Кузьмич, я уже рассказывал. Стоит ли об этом рассказывать и нашему молодому человеку, как вы думаете? А вам не скучно будет выслушать эту историю еще раз? Пожалуй, расскажу, молодому человеку это может пойти на пользу. А котлеты еще будут не скоро...

Лев Маркович повернулся к Васе:

— Так вот, мой друг, представьте — был влюблен, и влюблен как следует, со всеми, как говорится, вытекающими отсюда последствиями. Ночи напролет мечтал о встрече, о знакомстве. Затем, когда эти мечты осуществились, мы без конца гуляли — и при луне и без луны. Уезжая, писал ей длинные письма, бывая на месте, дарил цветы. Одним словом, все как в порядочных старых романах. Нынче это делается, говорят, проще и быстрее и в жизни и в романах. Моя возлюбленная — как она выглядела? Разве это важно? Коль был я влюблен, то ясно,

что десять Эдит Пьех не могли бы сравниться с ней одною. Не девушка, а кладезь совершенств! Мы друг другу поклялись в верности навеки, и осталось одно — расписаться. Замечу кстати, что тогда еще пышных свадеб не устраивали — достатки были не те... Но... Как видите, дело тут не обошлось без «но». У меня был добрый товарищ, друг детства. Учился он в другом городе, окончил институт и вернулся инженером. Познакомил я его с моей Нелли. Прошло какое-то время, и что вам сказать, отбил он ее у меня... Отбил по всем правилам стратегии. И что удивительного? Я тогда даже бухгалтером не был, так, счетоводишко в потребкооперации. А он — инженер! Одним словом, они поженились.

К столу подошла официантка с подносом.

— Что заказывали на второе?

— Свиные котлеты.

— Нету.

— Но вы же сами...

— Нету.

— Что есть?

— Я принесла рагу. Возьмете?

— Что же...

— Вот так и жизнь, — сказал Лев Маркович, пробуя вилкой твердые крохи мяса из рагу, — такой же ресторан на колесах: заказываешь одно — обещают другое, а подают и вовсе невесть что...

— И то хорошо, — заметил Савелий Кузьмич, — а если б не принесла ничего...

— И то верно, — согласился Лев Маркович.

— Не жаловаться, старики! Есть что дают! — усмехнулся Вася. — Что же дальше, Лев Маркович, вы меня заинтриговали.

— Заинтриговал, гляди-ка! Тут жизнь дала трещину, а он — заинтриговали! А дальше было вот что: мой товарищ, как я уже сказал, и Нелли поженились. Прошел год после свадьбы, ее отвезли в роддом. Роды были тяжелые, потребовалась операция. Ребенка вынули мертвым. Больше рожать она не могла...

— А что затем? — спросил Вася, так как Гнезин вдруг умолк и всерьез принялся за свое рагу.

— Затем? У Нелли, то ли из-за неудачных родов, то ли это было у нее от природы, оказался характер — не приведи господь! Тут не сядь, там не стань! Ревновала

его к каждому столбу... Изводила претензиями — мало зарабатывает. Что ни день — скандалы, крики, слезы... Впрочем, вскоре они переехали в другой город, и, как там у них дальше пошло, не знаю. Не интересовался. Для себя же... — Гнезин отодвинул пустую тарелку, вытер салфеткой усы и бороду, — для себя же я сделал вывод: хватит! Больше подобных глупостей — влюбляться и прочее — ни-ни! Раз в жизни нашелся товарищ, который выручил из беды. Другого такого за деньги не сыщешь! И вот, как видите, перед вами свободный и совершенно счастливый человек!

— А в том, что я остался холостяком, повинна следующая история... — начал Савелий Кузьмич.

— Прошу прощения, — деликатно перебил его Вася, — не кажется ли вам, что две истории двух холостяков для одного раза многовато? Не отложить ли нам вашу историю на следующий раз?

— Совершенно с вами согласен, — ответил Савелий Кузьмич, — можно и отложить.

Одно за другим стали заглядывать в окна высокие привокзальные здания. Отблескивающие переплетения рельсовых путей широко раскинулись по обе стороны поезда.

— Вот, кстати, и станция, — сказал Вася и заторопился к выходу.

4. Яблоки

В дверь купе постучали.

— Войдите!

На пороге Мира Ефимовна увидела Васю. Длинный, худой, с нависшими на глаза белесыми вихрами, стоял он с большим кулем в руках.

— Ну и морозище, Мира Ефимовна, едва добежал.

Она лежала, когда он вошел. Тут же поднялась, поправила халат, волосы, спросила:

— Вы так и бежали по перрону без шапки?

— Ну и что? — ответил он. — Зато глядите, чего достал!

Он поднес ей кулек, и она восхищенно воскликнула:

— Яблоки! Откуда?

— Уметь надо!

— Я спокойно лежу, знаю — обедаете. А вы... Да как же так — без шапки по морозу?..

— Только кончили мы обедать, — стал рассказывать Вася, — станция. Я — в буфет. Дают яблоки.

— Дают? — смеясь, переспросила она.

— Ну да. Очередь — конца не видать... «Я с поезда! — говорю. — Видите, без шапки. Поезд отходит...» — «Знаем! — крик. — Все с поезда...» — «Мне для больной», — говорю. Никаких! «Для беременной...» Подействовало! Схватил и — бегом! Вот...

Кулек он положил на столик и стал растирать красные уши.

— Чуть не отморозил...

— Что вы, мне столько не нужно, — запротестовала Мира Ефимовна.

— Для себя, что ли, я затеял перепалку с целой очередью?

— Спасибо, Вася! Но мне хватило бы и пары яблок.

— Благодарите, Мира Ефимовна, не меня...

— А кого же?

— Станционный буфет, вот кого! Догадались же — к приходу нашего поезда выбросить такие яблоки!

— Чудо яблоки! Спасибо, Вася...

— На здоровье, Мира Ефимовна. Вам нужны витамины.

Она еще раз поблагодарила и сказала:

— Вашей будущей жене, Вася, можно позавидовать.

— В чем же?

— Вы такой внимательный, добрый...

— Но так как жена моя еще в будущем, — возразил Вася, — то и завидовать некому. А сейчас, Мира Ефимовна, вы позавидуете мне: завалюсь на полку и примусь за свою книгу. Не возражаете?

— Что вы! Конечно же отдыхайте. Вам и вообще полезно полежать. Вам надо набрать немного тела, Вася. Смотрите, какой вы тощий. Кожа да кости. Сразу видно, присмотреть за вами некому.

— Тощий, говорите? Но такому жить легче. Неужели лучше быть таким, как Лев Маркович? Жаль смотреть, с каким трудом карабкается, бедняга, на свою верхнюю полку. То ли дело мы! — Он приподнялся на носках, оперся локтями на обе верхние полки, взмах — и лежит у себя.

— Ох, сколько в вас еще озорства, Вася, ну совсем как мальчишка! А где вы оставили нашего Льва Марковича?

— Наверное, пошел в вагон к Савелию Кузьмичу. Оба финансовые работники, оба холостяки. Два сапога — пара.

Последние слова Вася произнес, уже уставившись глазами в свою толстую книгу.

— Читайте, я вам не буду мешать, — сказала Мира Ефимовна и придвинулась ближе к окну.

Поезд отошел от станции, но ее строения еще проносились мимо окна.

Мира Ефимовна закрыла глаза, — так ей лучше было вслушиваться в то важное, большое, что происходило внутри нее. Вот оно: толчок... И еще... легко так, неясно... И сердце — в трепет... Когда она собиралась выйти замуж за Мишу, представляла себе их совместную жизнь, знала — будет счастье. Но таким полным, таким всеобъемлющим она его себе не представляла... И разве можно представить то, чего не знаешь? Как жаль ей всех тех, кому не дано чувствовать того, чем она полна теперь... Бедные... Зинаида Семеновна, например. Несчастливая, сделала аборт и сама не подозревает, какого огромного лишила себя счастья. Она красива, пользуется успехом у мужчин, вертит ими, как хочет, и думает, что в этом счастье. Но что это за бедные ошметки в сравнении с тем, чем переполнена теперь она, Мира...

Она открыла глаза. Оглянулась — на верхней полке напротив Вася углубился в свою толстую книгу. Из кулика на скатерку выкатилось яблоко. Алые полосы на нем так тепло контрастировали со снежной, холодной белизной, пронесившейся за окном... «Хороший день сегодня, — подумала Мира Ефимовна. — Мишина телеграмма... Яблоки... — Улыбнулась. — Надо же — в такой мороз по перрону без шапки... Чудачок!»

Глянула вверх:

— Вася, вы все еще «Обломова» читаете?

— Да, Мира Ефимовна.

— И как?

— Блеск!

— А что вы раньше говорили, помните?

— Дураком был, Мира Ефимовна, каюсь — круглым дураком!

— Ну зачем же так? Вас просто плохо учили литературе.

Вася повернулся на полке, его белесые вихры свесились вниз.

— Мира Ефимовна, вы, наверное, отличная преподавательница литературы, да?

— Ну что значит отличная? Просто я стараюсь перед своими учениками прежде всего раскрыть красоту слова, научить их наслаждаться им, чувствовать всю его прелесть. А тогда уже дойдет и все то, что литература несет в себе: идеи, идеалы — все.

— Правильно, — заметил Вася. — А как у нас чаще всего учат? Вот как, например, учили меня? Литературу мы «проходили». «Проходили» Пушкина, Лермонтова, Некрасова, современных писателей и... так и прошли мимо них.

— Это плохо, — сказала Мира Ефимовна. — Ну, а в институте?

— В институте вовсе считают, что гидрологам литература не обязательна. И вот, стыдно признаться, я полный профан. И только вот благодаря вам...

— Что благодаря мне?

— Благодаря вам у меня, кажется, появился вкус к настоящей литературе. Вы знаете, Мира Ефимовна, бывает, что какая-нибудь случайная встреча перевернет жизнь человека. Такова — не смейтесь — встреча моя с вами. Вы на многое мне раскрыли глаза. И вообще, Мира Ефимовна, вы какой-то очень цельный, очень полный человек...

— Куда уж полнее, — улыбнулась она.

— Нет, я не о том. Как бы это лучше объяснить вам? Вот когда разрезаешь арбуз, а он зрелый, переполненный соками, так и переливает через край...

— Ну, Вася, — отмахнулась, краснея, Мира Ефимовна, — это вы что-то уж чересчур. По отношению к вам признаю за собой одну небольшую заслугу: я сумела вам разъяснить, что Иван Александрович Гончаров хороший писатель и что «Обломова» следует прочесть.

— Да, помните: на второй день после выезда из Москвы я, разочарованный, пришел из поездной библиотечки, говорю: «Все порасхватили. Осталась пара детективов и вот этот фолиант. На всякий случай взял, но что читать буду, не знаю». — «А что это?» — спросили вы.

«Обломов». — «Это прекрасная книга! Неужто не читали?» — «В школе, говорю, проходили отрывок. Единственное, что осталось в памяти: знойный полдень в деревне, и в квасе плавают мертвые мухи». — «Как можно, — возмутились вы, — такое произведение — и все, что осталось, — мертвые мухи... Немедленно читайте!» — «Да о чем читать? — говорю я. — Знаю, речь о помещике-лежебоке, который за всю жизнь палец о палец не ударил. Сто лет тому назад это еще могло кого-то интересовать, но в наше время...» — «Да читайте, — повторили вы. — Вы насладитесь мастерством, с которым этот лежебока описан, да и самим лежебокой также... Обломов, обломовщина — это ведь целая эпоха в развитии русского общества...» Тут вы мне процитировали Добролюбова... И вот — который день не могу оторваться...

— Но что-то, — заметила Мира Ефимовна, — вы уж чересчур медленно читаете. Вы, кажется, не дошли еще и до середины?

— В книге, — сказал Вася, — все происходит неторопливо, как во время замедленной съемки. Вот так и хочется читать — не спеша. И, кроме того, Мира Ефимовна, мне страшновато подумать: что я буду делать, когда эту книгу закончу?

— Как что? — ответила она. — Будете читать другие книги Гончарова.

— А есть у него и другие? Такие же, как «Обломов»?

— Таких, пожалуй, нет, «Обломов» — его лучшая вещь, — однако книги очень интересные.

— Какие же?

— Неужели не знаете?

— Нет.

— Ну, вы, Васенька, действительно профан.

— Говорил же я вам. Какие это книги?

— Самый шаблонный вопрос на всех литературных викторинах следующий: «Назовите три произведения известного русского писателя, начинающиеся с одних и тех же двух букв...» Не знаете?

— Нет.

— Ай-ай!.. Гончаров: «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».

— Действительно! — с детским изумлением воскликнул Вася. — Все три на «Об»... А больше он ничего не написал?

— Есть у него еще одно произведение, в несколько ином жанре. Он совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» и написал об этом.

— Что-то слышал, — сказал Вася. — Как только приеду на место, все эти книги прочту. Видите, Мира Ефимовна, какое вы открыли для меня сокровище...

— Я вам завидую, Вася, — ответила она, — в жизни вам предстоит еще столько открытий...

Вася перегнулся с полки.

— Мира Ефимовна, вы не отведали яблок?

— Нет еще...

— А я старался...

— Меня радует один их вид...

— Но этого мало!

Соскочив с полки, он уселся напротив, вынул из куляка и подал Мира Ефимовне самое большое яблоко.

— Я его не одолею, — сказала она, — разрежьте.

Когда он это сделал, она половину вернула ему:

— Отведайте и вы.

— С удовольствием!

Одновременно вонзили они молодые зубы в пахучую прохладную мякоть.

5. Пощечина

Зинаида Семеновна в свое купе вернулась вечером. Вася ужинал в ресторане. Льва Марковича, который являлся только спать, еще не было.

Мира Ефимовна не зажигала света, и лишь бледные огни небольшой станции, которую проехали без остановки, едва вычерчивали лицо одинокой женщины у окна.

— Почему не зажигаете света? — каким-то хриплым голосом спросила Зинаида Семеновна.

— Не хочется.

— А где наши кавалеры?

— Вам их не хватает?

— Да нет, к черту! Просто так...

Мира Ефимовна в темноте не видела лица своей попутчицы, но до нее явственно донесся запах коньяка. Зинаида Семеновна нащупала свою постель, упала на нее, зарылась головой в подушку, и вскоре послышались ее прерывистые всхлипывания.

Мира Ефимовна поднялась.

— Что с вами? — Тронула Зинаиду Семеновну за плечо. Оно тряслось от рыданий. — Успокойтесь... Что случилось?

— Не надо, — донёслось до нее через всхлипывания. — Уйдите... Не стою... Я не стою вашей заботы... Ничего не стою. Ничего... — И Зинаида Семеновна еще пуще зарыдала.

Дрожащей рукой Мира Ефимовна налила ей воды.

— Успокойтесь...

— Хорошó, — сквозь слезы ответила Зинаида Семеновна. — Это пройдет...

— Включить свет?

— Не надо.

Она поднялась. Мира Ефимовна села напротив. В темном купе двух женщин едва можно было различить.

Зинаида Семеновна хрипло сказала:

— Он предложил мне выйти за него замуж.

— Кто?

— Вадим Петрович.

— Как это?

— А вот так: не сходить в Хабаровске, ехать с ним до Владивостока, а там выйти замуж.

— Он не женат?

— Говорит, с женой разошелся.

— Что вы замужем, знает?

— Конечно.

— Вадим Петрович? .. С виду такой приличный человек...

— Все они приличные... Сил нет, до чего приличны...

— Когда он вам это предложил?

— Да только что, провожая из своего вагона. В тамбуре. И тут же кинулся целовать...

— А вы?

— А я отвесила ему пощечину и убежала...

— Возможно, Вадим Петрович был пьян? — после некоторого молчания спросила Мира Ефимовна.

— Конечно же пьян, — ответила Зинаида Семеновна. — Знали бы вы, сколько коньяку сегодня там вылакали за день...

— И вы?

— И я.

— Вас кто-то принуждал?

— Отчасти.

Помолчав, добавила:

— А отчасти и самой хотелось.

— Зачем?

— Зачем, зачем! — зло вскинулась Зинаида Семеновна. — Знали бы вы, до чего иногда становится тошно, постыло жить на свете! До чего хочется обо всем забыть...

— О чем обо всем?

— Обо всем решительно, понятно?

— Нет, непонятно. Вы молодая, красивая женщина. Вами все восхищаются. У вас хороший муж. Чего вам недостает?

— Чего недостает? — Зинаида Семеновна вдруг доверительно склонилась к своей попутнице. — Сама не знаю, только знаю — недостает. Ой, как многого недостает...

— Ну и отлично, что знаете, — сказала Мира Ефимовна, — значит, со временем обретете.

— Вы думаете?

— Конечно. Вот вы едете к мужу. Он ждет вас.

— Да, еду... — странным голосом сказала Зинаида Семеновна и надолго умолкла.

— Может, на боковую? — предложила Мира Ефимовна. — Пока не вернулись наши кавалеры...

— Пожалуй, — ответила Зинаида Семеновна. — Извините, Мира Ефимовна, вам нужен покой, а я волную вас. Извините...

— Да что вы! — ответила та. — Главное, успокойтесь вы, Зинаида Семеновна, не расстраивайтесь по пустякам. Вот отдохнете за ночь и встанете завтра со свежей головой.

Не зажигая света, обе женщины разделись и улеглись под одеяла.

Вскоре явился Вася. Тихо приоткрыв дверь, он на цыпочках вошел и немного постоял в темноте. Спать не хотелось, он думал в коридоре еще почитать. На горизонте у Обломова появилась Ольга... Красивая, нежная, умная Ольга... Неужто и теперь Обломов останется верен своей натуре? Неужто и Ольга не взбодрит, не пробудит его от спячки, не вынудит, наконец, к какому-нибудь активному действию? Так думал Вася и вдруг решил, что нет, сегодня читать больше не будет, — завтра. С радостным чувством уверенности в том, что завтра ждет его интересное, захватывающее, он ловко подтянулся на локтях и тихо прыгнул к себе на полку.

Совсем поздно вернулся Лев Маркович. Он хотел войти неслышно, но так стукнул дверью, что тут же замер: не разбудил ли кого? Нет, кажется, не разбудил... Чтобы хоть как-нибудь видеть в темноте, включил ночную лампочку и в ее густом фиолетовом свете стал раздеваться. Снял пиджак, галстук, джемпер, все это сложил на верхней полке, затем, придвинув лесенку, стал медленно, с трудом, по ней взбираться. Потом долго и неловко стягивал с себя брюки, аккуратно сложил их и наконец, тяжело вздохнув, улегся. Наблюдая все это, Вася думал: прав, конечно, толстяк, что просится на другое место, ему ли карабкаться на эту верхотуру? Он тихо кашлянул.

Лев Маркович живо повернулся:

— Не спите, Вася?

— Нет.

В свете ночника Васины белесые вихры и рыжая борода Гнезина были одинакового темно-фиолетового цвета.

— Что слышно тут? — прошептал Лев Маркович, показывая вниз.

— Полный порядок.

— А я думал: может быть, уже?

— Никак нет.

— А не возможно ли, что этой ночью, а?

— Исключено. Спокойной ночи!

Вася откинулся на свою постель и повернулся лицом к стенке. Лев Маркович еще некоторое время беспокойно ворочался, пока приглушенный ночной теменью равномерный стук колес не убаюкал и его.

6. Новый день

Было еще рано, но капитан Лаутин и Надя уже стояли у окна. К этому настолько привыкли, что если б однажды не увидели их на этом месте, показалось бы, что в вагоне чего-то не хватает. Она все время держалась рукой за оконную раму, как бы опасаясь, чтоб резкой качкой от движения поезда не отшвырнуло ее от собеседника. Они разговаривали или молчали. Но когда и молчали, казалось, что они продолжают разговор. Она все время не отрываясь снизу вверх смотрела на его крупный подбородок с глубокой ямкой посередине, на широкие крылья

немного вздернутого носа, на жидковатые пшенично-светлого цвета брови и, главное, в глаза, как бы налитые густой, отстоявшейся синевой.

— Что вы так разглядываете меня? — спросил он у нее однажды. Он знал, что некрасив, и, когда женщины смотрели на него, смущался. Ему казалось, что они посмеиваются над ним, и вовсе не подозревал, что нравится — не отдельными какими-то чертами лица, а общим выражением уверенности и силы, которые излучал весь он, вся его ладно скроенная фигура.

— А я не разглядываю, — ответила ему Надя, — я слушаю вас.

И это была правда — она не разглядывала, впрочем, она и не слушала, а со всей впервые проснувшейся в ней жадностью своих девятнадцати лет всего его как бы впитывала в себя...

В редкие минуты, когда не стояла у окна, Надя у себя в купе писала письма подружке, оставшейся в Москве.

«Натка, дорогая, — писала она и в это утро, — я уже пятые сутки в пути, и ты не можешь себе представить, сколько нового за эти дни вошло в мою жизнь. Я так счастлива, что не послушалась тебя и не полетела самолетом, а поехала этим чудесным экспрессом «Россия»... Каждый день переполнен до краев. Я уже не говорю о местах, которые мы проезжаем, хотя и это очень важно и интересно. Но, главное, Натка, главное... Ты можешь мне не верить. Но я... Я, кажется... Да, да, да!.. Впрочем, нет, я не выскажу этого слова даже тебе... Не скажу и себе самой до тех пор, пока не скажу ему... Но ему я никогда этого не выскажу... И это неважно. Главное — я так счастлива, как не была еще никогда в жизни...»

Часами, — писала она дальше, — мы стоим у окна, и я не чувствую, как летит время. В купе у нас очень шумные соседи — домино, «шпулька», — и мы с ним спасаемся в коридоре, у окна. Много беседуем. О чем? Обо всем на свете. Он рассказывает о себе, у него есть что рассказывать. А я — о себе, хотя что, собственно, могу я рассказывать? Что видела я в свои девятнадцать лет? Знаешь, он капитан, летчик. Получил новое назначение и едет к месту своей службы. Скажешь, старик? Ну да. Впрочем, такие, как он, стариками никогда не бывают. Меня,

конечно, он старше раза в два. Ну и что? Хочешь знать, имеет ли он жену, детей? Женат, имеет мальчика и девочку. Он мне много о них рассказывает... Но то, что я чувствую, Натка, это такое счастье... Ты ведь знаешь, я по-настоящему еще никого не любила. Считала — счастье, когда кто-то полюбит меня. А теперь я поняла, что любовь вообще счастье, даже если любишь только ты, а тот, кого любишь, может об этом и не знать...

Бегу. Он уже у окна, ждет. А может, и не ждет — все равно».

Он стоял у окна, сосредоточенно о чем-то думая. Молодая березовая роща по колено в снегу, промелькнув, исчезла.

— О чем задумались, Сергей Владимирович? — спросила Надя.

— О чем? — Странно, как ей показалось, взглянув на нее, он сказал: — Есть о чем думать.

И добавил:

— Еду вот на новое место. Предстоит жить, работать с новыми людьми. А какие это люди, как с ними работаемся?

А у нее, глядя на Сергея Владимировича (она все время смотрела на него), было впечатление, что думает он о чем-то другом, о чем ей, Наде, рассказывать не хочет, и поэтому так много говорит о работе, о переезде.

— Это тоже не просто, — говорил он. — На старом месте у меня хорошая работа, дети учатся.

«Почему он говорит о детях, — думала она, — как будто хочет этим от чего-то себя обезопасить?» Но ему не грозит никакая опасность. И ей вовсе не так уж интересно слушать о том, как будет он переезжать. Как-нибудь да переедет! Ее больше интересовало, где и как он учился, как стал пилотом. Об этом она и спросила его. «О, — ответил он, — это незабываемый период в жизни!» Рассказал, что кончал в Оренбурге авиационное училище, — кстати, то самое, что и Гагарин.

— Гагарин? — переспросила она, и восхищение, которое вызывает это имя, тут же перенесла и на него, Лаутина.

— И вы тоже могли стать космонавтом? — спросила Надя.

— Мог.

— Почему же не стали?

— Не всем же быть космонавтами, — ответил он, — нужны и просто пилоты.

— Но я уверена, — сказала Надя, — из вас вышел бы отличный космонавт. Вы просто не просились, да? А теперь уже поздно?

— Почему же? — ответил он. — Можно и теперь. А вы бы дали на это «добро»?

— Да!

— Тогда остановка за малым, — усмехнулся он, — надо, чтобы дал еще свое «добро» генерал Каманин...

— Представляете, — восхищенно сказала Надя, глядя ему в глаза, — я сижу у себя в аптеке в каком-нибудь таежном поселке (меня обязательно зашлют в какую-нибудь глушь), составляю свои рецепты, и вдруг — радио: очередной полет в космос! И я слышу: машину ведет пилот-космонавт Лаутин Сергей Владимирович. Год рождения такой-то, родители такие-то. Женат. Имеет двоих детей...

Она умолкла, затем грустно добавила:

— Только о том, что пилот-космонавт Лаутин С. В. ехал экспрессом «Россия» в одном вагоне с Надей Симоновой, — об этом в сообщении ничего не скажут...

— Не горюйте, Надя, — положил он руку ей на плечо, — зато я передам вам личный привет из космоса прямо в тот поселок, где вы будете жить. Не забудьте только сообщить свой адрес...

— Передадите? — спросила она. — Я буду ждать.

Из восьмого купе вышел Лев Маркович Гнезин. Пройдя мимо Лаутина и Нади, он вежливо им поклонился.

— Вы не находите, — спросил Лаутин, когда Гнезин прошел, — что у этого человека отменная борода? Такие бороды носили когда-то визири...

— Это не по моде, — возразила Надя. — Теперь бороды носят юнцы, а старики ходят бритые...

— Но борода эта не простая, а с умыслом.

— Каким же?

— Природа, как видите, обидела человека ростом — он коротковат. Длинная борода этот недостаток компенсирует...

— Шутник вы, Сергей Владимирович! — рассмеялась Надя.

Из восьмого купе вышел Вася Петров и уселся с книгой у окна.

— Всю дорогу, заметил я, — сказал Лаутин, — он читает одну и ту же книгу.

— Это «Обломов».

— «Обломов»?

— Что вас удивляет?

— Вообще ничего. Но, знаете, экспресс «Россия», который за неделю проходит путь от Москвы до Владивостока, — и... Обломов... Тут есть над чем подумать...

У восьмого купе появился Эрнест Валерьянович из четвертого вагона. Темно-синий спортивный костюм с белой каймой рельефно обтягивал его плотную, мускулистую фигуру. До Лаутина и Нади долетел его вопрос:

— Не ушла еще?

— Нет, — буркнул Вася, не поднимая головы от книги.

Эрнест Валерьянович постучал и скрылся в купе. Через некоторое время он вышел оттуда вместе с Зинаидой Семеновной. Она была очень эффектна в брючной паре, белоснежной блузке под оригинальной вязаной кофтой и в дымчато-розовой косынке на шее. Эрнест Валерьянович деликатно пропустил ее вперед.

— Четвертый взял реванш! — сказал Лаутин.

Все тут знали о своеобразном соперничестве между третьим и четвертым вагонами, вернее, между инженером-технологом из Владивостока и хабаровским преподавателем физкультуры Эрнестом Валерьяновичем. Вчера победа была за Вадимом Петровичем.

— Как же это сплеховал он сегодня? — удивился Лаутин. Он не знал, что тот сплеховал еще вчера...

— Соседи из нашего купе уже ушли в ресторан, — заметил Сергей Владимирович. — Пора завтракать.

— Мне еще не хочется есть, — сказала Надя.

Она вошла в пустое купе, уселась на свое место, посидела в задумчивости; потом на книгу, которую читала в дороге, — «Голубая моя планета» Германа Титова, — положила чистый лист и продолжала начатое письмо.

«...Знаешь, Натка, — писала она, — сегодня мы снова долго разговаривали у окна. Боюсь, не начал ли он о чем-то догадываться, — уж очень часто стал говорить о жене, о детях... А я его попросила рассказать, где учился на пилота и — знаешь где? — в том же авиацион-

ном училище, что и Гагарин, да! Я спросила: почему и он не стал космонавтом? Сказал, что может еще стать. А когда станет, говорит, он пошлет мне привет из космоса. Из космоса, понимаешь?..»

7. Хорошо думается в дороге

Дорога без конца и без края... Поезд пятый день в пути, а все новые станции, города, большие и малые, наплывают, встречают, остаются позади — и вместо них другие, другие... А сколько пустующей земли, сколько рек, лесов, какие просторы для новыхстроек! Сибирь...

Неотрывно глядя в окно, Мира Ефимовна была благодарна своим соседям, которые надолго оставляли ее одну, наедине со своими мыслями, не мешая ей вслушиваться в ту новую жизнь, которая зрела внутри нее, то и дело напоминая о себе настойчивыми толчками, как бы спрашивая: «Скоро ли, скоро?..»

Предстоящие роды пугали ее, и все же ей хотелось, чтоб это началось скорее, хотя и не ранее ее приезда на место. С ужасом она отбрасывала мысль о том, что это может случиться раньше, в пути, и тут же успокаивала себя: ехать осталось менее двух суток, и чувствует она себя вполне сносно.

Теперь, когда близится к концу чудодейственный цикл, предваряющий рождение человека, ей хотелось думать о том, как все это началось...

А началось не просто. Чуть было не засиделась в старых девах. Да, пожалуй, и без всякого «чуть» — в двадцать семь лет у нее никого еще не было. Шутка ли? Впрочем, мальчики, а затем и парни интересовались ею и в школе еще, потом в техникуме, позже — в институте, да и когда стала учительницей. Но — странное дело — никто из тех, кто выказывал к ней интерес, — а иные и немалый, — не нравились ей. И не потому так случалось, что была она очень уж привередлива, что ли, хотя само собой именно так получалось, ибо одному, другому, третьему давала она понять, чтоб не связывали с ней никаких надежд, и от нее уходили. Истинная причина этого состояла в том, что с детских лет — такую уж была — привыкла ставить серьезные, большие требования к себе

и другим. А если кто этим требованиям не соответствовал, то о чем и речь? Она никогда не связала бы своей жизни с человеком, с которым у нее не было общих взглядов, интересов. Водить же за собой парней «просто так», на всякий случай, для того чтоб досужие кумушки могли сказать «пользуется успехом», — этого она не могла, не умела и считала нечестным. «Что значит, — думала она, — встречаться с человеком, вместе ходить на концерты, в кино? Это значит — обнадеживать его. Но как можно на такое пойти, не питая к этому человеку серьезного чувства, не будучи готовой связать с ним жизнь? Многие так поступают? Но что же с того?» Так и ответила она однажды матери, когда та очень уж стала приставать со своими материнскими наставлениями и заботами о будущем.

А мать — та ничего не могла понять. «Когда Мира была еще крошкой, — так рассказывала мама, — ей на улице не давали проходу, восхищались ее красотой». «В девках не засидится», — говорили знакомые и незнакомые, и мать не сомневалась, что так и будет. Умница ведь, пригожа, всем взяла! В школе, потом в техникуме была из лучших. В институте портрет ее не сходил с Доски почета. За время работы в школе получила уже несколько грамот. И все-таки при всем при том — засиделась! Где же было матери такое понять! Тем более что те, кто интересовался Мирой, были не какие-то там недотепы, а все, как на подбор, хорошие парни! Один из них после окончания школы работал шофером и одновременно учился заочно в машиностроительном институте. Окончив институт, стал инженером. Среди тех, кто, как мать говорила, души не чаяли в Мире, был преподаватель физкультуры — «истый Аполлон», по выражению не мамы, а Мириных подруг, которые немало ей завидовали; был молодой скульптор. Каждый из них, бывало, в свое время начинал захаживать к ним в дом и вскоре исчезал. Таким же образом однажды появился высокий интересный молодой человек с рыжими пышными бакенбардами — кандидат физико-математических наук. «Ну, это уже всерьез, — подумала мать, — как-никак кандидатами улицы не мостят...» Каково же было ее удивление, когда и этот, как прочие, вскоре перестал являться. «Что случилось?» — спросила мать у Миры. «Ничего особенного», — ответила та. «Почему к нам больше не заходит

Эдуард Михайлович?» (Так звали кандидата.) «А ему не зачем заходить». — «Что это значит? Такой человек, кандидат. . .» — возмутилась мать. «А среди кандидатов, — ответила Мира, — разве не бывает глупцов?» Больше о нем речи не было.

Мирина мать много лет работала воспитательницей в заводском детском саду, ее там уважали, ценили. Была она доброй женщиной, преданной матерью, и ей хотелось получше устроить будущее дочери. Убедившись, что доводы ее не действуют, мать стала выговаривать отцу: почему он-то дочери ничего не скажет, не попытается ее вразумить? Почему он так безразличен к Мириной судьбе? Или та не дочь ему? Но отец не вмешивался, молчал. Он работал мастером участка на большом подмосковном заводе. Поступил он туда вскоре после войны, когда демобилизовался из армии. За эти годы к фронтовым наградам у него прибавились медаль «За доблестный труд» и почетное звание «Мастер — золотые руки». У него, опытного слесаря, токаря и электросварщика, руки действительно были золотые, к тому же, как утверждали все знавшие его, обладал он и «золотым характером» — был человеком непритязательным, покладистым и при всем том молчуном. В ответ на мамины сетования по поводу того, что он ничего не говорит Мире, Ефим Зильберг сказал: «Ты, вот говоришь — и что же помогло тебе?» Он был уверен: дочь просто не нашла еще своего суженого. Так и объяснил это матери.

— А если она так его и не найдет? — вскинулась та.

— Тогда он найдет ее, — спокойно ответил отец.

Так оно и было.

Призвание учительницы в Мире пробудилось рано. Окончив семь классов, пошла она в педагогический техникум. Затем два года работала в младших классах той школы, где ранее училась сама, а по окончании института стала преподавательницей русского языка и литературы в старших классах этой же школы.

В конце октября состоялся в школе традиционный вечер выпускников. На этом вечере кто-то (она и не помнит, кто) познакомил ее со студентом выпускного курса электротехнического института. Студент когда-то учился в трех старших классах этой школы, притом в то время, когда Мира перешла уже в техникум, вот почему они ранее друг друга не знали. Имя и фамилия студента были

Миша Хейфец. На том вечере они немного побеседовали, потанцевали. Из школы вышли вместе большой компанией — учителя и гости. Постепенно компания растаяла, и Мира со своим новым знакомым остались одни. Было поздно, и он проводил ее домой. Прощаясь у ее дома, он спросил: мог ли бы он встретиться с нею еще раз? «К чему?» — спросила она. «Просто для продолжения нашего знакомства». — «Это так важно?» — поинтересовалась она и услышала в ответ: «Наверное, важно». — «Если это так, — промолвила она, — вам теперь известно место работы и адрес дома». — «А желательна ли будет для вас эта встреча?» — спросил он. «Там уж видно будет!» — ответила она и сама удивилась тому игривому тону (откуда он у нее?), с которым она произнесла эти слова. Быстро поднялась к себе на четвертый этаж, тихонько, чтоб не разбудить родителей, отперла дверь, прошмыгнула к себе в комнатушку, улеглась и всю ночь так и не сомкнула глаз. . .

Как и каждая девушка, Мира в шестнадцать — семнадцать лет уже имела перед своим мысленным взором образ человека, с которым она готова была бы соединить свою жизнь. Конечно же он был умен, эрудирован, любил (как и она) поэзию, был добр, настойчив в достижении цели и — в этом состояло главное его достоинство — любил ее. . . Любил так, как ни один герой из всех прочитанных ею книг не любил свою возлюбленную. . .

Имела она и достаточно ясное представление о внешнем облике своего избранника. Сама она была достаточно роста — метр шестьдесят восемь, — а он должен был быть хотя бы на пару сантиметров выше, тут Мира не уступила бы и сантиметра! Сама была темноволоса, кареглаза, следовательно, ему положено быть светлым: золотистые выющиеся волосы, голубые глаза, умный, выразительный взгляд. Ну, и он должен быть крепок в кости, чтобы было на кого опереться. . .

Зная это, легко понять, почему стольким парням она указала на дверь, — они не соответствовали ее идеалу. Кроме того, никто из них ни разу не заставил так забиться ее сердце, как забилося оно, когда познакомили ее с этим студентом. . .

«И впрямь, отчего вдруг так замерло, а потом встре-

пенулось сердце?» — думала она об этом в ту бессонную ночь, лежа в постели в своей маленькой комнатке, и не могла понять... И почему, когда компания, вместе с которой они вышли в тот вечер из школы, стала расходиться, она, Мира, вдруг так испугалась при мысли, что за следующим углом распрощается и уйдет и этот студент, Миша Хейфец, и она больше никогда его не увидит?.. А потом, когда он привел ее к дому, ей так захотелось, чтоб он предложил встретиться еще раз, что, когда он действительно предложил, ей показалось, что не его это было желание, а ее, переданное ему какой-то гипнотической силой внушения...

Они встретились еще и еще раз. Встречи эти стали необходимостью, счастливой обязанностью. Не было дня, чтобы они при любой занятости не увиделись хотя бы на минуту. Выходные дни проводили вместе. Он стал заходить к ним в дом. Родители Миры, наученные прошлым опытом, только и ждали, когда — после третьего или четвертого посещения — и этот парень, как было с другими, по их понятиям более завидными, перестанет у них бывать. Но странное дело — визитам нового знакомого уже и счет потеряли, а все не видно было, чтоб Мира хоть в какой-то мере противилась им. Наоборот, с приходом Миши Хейфеца Мира преображалась, становилась веселее, разговорчивее. Раньше, бывало, ее не вытащишь в кино — она показывала на гору тетрадей со школьными сочинениями, диктантами, которые предстояло проверить. Теперь тетрадей было не меньше, но она находила время и для кино и для прогулок.

Во время этих прогулок Миша рассказывал ей о себе.

У него было тяжелое детство. Отец погиб на фронте, мать, слабая, болезненная женщина, воспитывала Мишу одна. По окончании школы пошел он поэтому не в институт, а на завод. Несколько лет проработал слесарем, потом наладчиком. В институт поступил заочно и лишь последние два года отдался целиком учебе. Теперь он уже заканчивал последний курс, готовил дипломную работу. Было ему под тридцать.

Ну, а девушки у него были? И никого он до сих пор не любил?

Во время одной из прогулок Мира задала ему эти вопросы.

— Нет, никого не любил, — ответил он, — и девушек у меня не было... Впрочем, — тут же спохватился он, — девушки у меня были, и немало.

Но все это такие девушки, пояснил он, которых мама, да и разные знакомые прочили ему в невесты.

А он?

Он и встречаться с ними не желал, а те, с кем он, по настоянию матери, и встречался, ему не нравились.

— Ни одна? — спросила Мира.

— Ни одна.

— И мне тоже.

— Что — тебе тоже? — спросил он.

— Мне тоже никто не нравился.

— И у тебя были парни? Я имею в виду — такие, которых прочили тебе в женихи?

— Да, и тоже немало.

— А ты?

— Говорю же — никто мне не нравился. Родители сердились даже, особенно мама.

— И моя мама сердилась. Кроме этого, — продолжал рассказывать Миша, — всегда в жутком цейтноте. Завод, нагрузки всякие, учеба...

— И у меня, — сказала Мира.

— Что — и у тебя?

— То же самое: работа, учеба, нагрузки...

Они шли под руку, пальцы их рук были тесно переплетены.

То ли в третью, то ли в четвертую встречу — был поздний вечер — Миша несмело обнял Миру за плечо, да так и забыл на плече ее свою руку. Некоторое время они так шли, затем она руку его осторожно с плеча своего сняла.

— Не надо, — сказала она тихо.

— Почему?

— Возьми меня под руку.

— Так лучше?

— Да.

— Большой практики у меня в этом деле нет, — признался Миша.

— Значит, кое-какая практика все же есть?

Он совсем смутился.

— Смотрю вот, как молодые пары ходят в обнимку, и подумал... Хотя мне самому такое не по душе...

— Вот видишь, — перехватила слова его Мира, — и я в толк не возьму эту новую моду. Когда мужчина ведет женщину под руку, он тем самым поддерживает ее, помогает ей, оберегает ее, это красиво, приятно, имеет, наконец, смысл. А тут... Ну, погляди вот, — и Мира показала на парочку, шедшую впереди.

Девушка была маленькая, тоненькая — тростиночка. Шедший с нею рядом высокий увалень с длинными лохматыми космами небрежно держал на ее плечике тяжелую руку, под которой бедная девушка чуть не сгибалась.

— Одним словом, «оберегайте мужчин»! — усмехнулся Миша.

— Вот-вот, — засмеялась и Мира.

Они прибавили шагу, обогнали парочку, и Мира сказала:

— А я хочу быть старомодной... Я хочу, чтоб рядом с тобой мне было не тяжело, а легко. Я хочу, чтоб ты оберегал меня... Хорошо?

— Хорошо, — ответил Миша, еще крепче вплетая свои в ее пальцы.

Некоторое время они шли молча. Вдруг Мира остановилась, осененная внезапной мыслью.

— Что же это получается, — сказала она. — Значит, всю жизнь ты ждал меня? Одну меня, да?

— Так получается, — усмехнулся он. — А ты?

— И я... Но скажи: как ты мог знать, что я, Мира, существую на свете? Как ты мог знать?

— Видишь вот, знал... А ты?

— И я...

Кто к кому потянулся раньше в первом неловком поцелуе?

Потом, лежа в постели в своей комнатушке, она долго не могла уснуть, снова и снова вспоминая и переживая всю эту прогулку от начала до конца, мысленно восстанавливая каждый жест и каждое слово вплоть до первого неловкого их поцелуя...

Вдруг она тихо, про себя, засмеялась. И впрямь не смешно ли, до чего он, Миша ее, не похож — ну совсем не похож — на того парня, чей образ она столько лет лелеяла в своих девичьих грезах... Золотистые волосы? Ничуть не бывало! Правда, густые, вьющиеся, но темные, почти как у нее. Голубые глаза? Нет, серые, со множеством крапинок вокруг зрачков. Из-под густых черных

бровей, соединенных в одну сплошную линию (такие разве она представляла себе?), глаза его смотрят напряженно, серьезно, с видом обремененного заботами человека. Но стоит глазам этим устремиться на нее, как выражение озабоченности в них исчезает и они начинают излучать нежность...

А нос... ха-ха! Такой разве нос виделся ей у ее суженого — толстоватый и длинный? Но разве это важно? Зато что за умница, как интересно с ним говорить, до чего эрудирован, особенно в технике и математике — областях, в которых сама она ни бум-бум... Любит и неплохо знает историю, начитан в исторической литературе. Увлекают его и книги по фантастике, но равнодушен к поэзии... О любимом ее поэте Николае Заболоцком (в институте она написала о нем работу, которая была высоко оценена) он даже не слышал... К поэзии придется его приобщать.

Она тихо посмеивалась про себя. Вот он, наконец, вместо бесплотного и безмянного героя ее грез, — не такой уж идеальный и даже с крупными недостатками (чего стоит его равнодушие к поэзии!), но зато живой, реальный Миша Хейфец, с которым они сегодня впервые так неловко поцеловались...

Мира готова была простить ему еще один весьма существенный недостаток — то, что ростом он был ничуть не выше ее. Поначалу ей даже показалось, что он ниже, и это не на шутку ее огорчило. Но пару раз, незаметно для него, она с ним померилась и пришла к выводу, что оба они одинакового — абсолютно одинакового — роста и что она кажется выше только из-за своих высоких каблучков. Тут же было принято твердое решение: туфель на высоких каблуках она больше носить не будет.

Вскоре сыграли свадьбу. И он и она обошлись бы и без этой утомительной, шумной и дорогостоящей затеи. Да и к чему все это? — искренне не понимала Мира. Сходятся два человека, это их — и только их — интимное дело, и никого более. Конечно, к этому причастны в какой-то мере и ближайшие родственники, ее и его. Но к чему, однако же, громоздкие сборища посторонних молодых и старых мужчин и женщин, которые обычно занимают места за свадебными столами? С ужасом представляла себе Мира, как все эти люди во всю мощь своих глоток начнут реветь: «Горько!», а она и Миша должны

будут подниматься и на виду у всей этой оравы обмениваться поцелуями... Нет, после регистрации в загсе небольшой ужин для самых близких и никаких свадеб! Так и сказала она родителям в день, когда они подали заявление в загс.

Мать была настолько ошеломлена, что не могла вымолвить и слова. На этот раз сказал свое слово отец.

— Дочь моя, — несколько торжественно обратился он к ней, — ты знаешь, я молчал, не вмешивался, не докучал советами. Знал: настанет день. И вот этот день настал. Теперь, прошу, не вмешивайся ты. Дай нам с матерью, коль мы дожили до этого дня, сделать все, как водится у людей. Ведь мы ничем не хуже других...

На том и порешили. Свадьбу сыграли в большом кафе, снятом вместе с оркестром на целый вечер. Было свыше ста приглашенных: учителя из школы, где работала Мира; Мишины сокурсники, воспитательницы из детского сада, где трудилась мама: рабочие и мастера цеха, где руководил участком отец; родственники, знакомые, друзья.

Официанты в галстуках бабочкой разносили блюда одно аппетитнее другого и среди них специально заказанные: фаршированную рыбу, кисло-сладкое мясо и другие. То в одном конце, то в другом за плотно расставленными столами громкими хлопками стреляло шампанское и, шипя, выливалось из бутылок. То и дело заполнялись рюмки золотистым коньяком, чистой как слеза водкой, зеленоватым сухим вином. И конечно же вопили: «Горько!» Мира в белом свадебном платье и фате, которые очень шли к ее темным глазам и волосам, и Миша в строгом черном костюме поднимались и проделывали на виду у всех то, к чему еще не очень привыкли и с глазу на глаз... Много танцевали. Твист и шейк — молодежь, шер и фрейлехс¹ — пожилые гости. Любо было смотреть, как сват, Мирин отец, со сватьей, Мишиной матерью, отплясывали «танец с платочком»...

После свадьбы Миша переехал к Мире в комнатуху, здесь они прожили короткое время, оставшееся до окончания института.

Всех выпускников распределили на работу в разные места — кого в Среднюю Азию, кого в Сибирь, кого на

¹ Еврейские национальные танцы.

Крайний Север. Еще до начала распределения Миша подал в деканат заявление о просьбой направить его на Дальний Восток, в Хабаровский край. Там он собирался хлопотать о назначении в город Биробиджан, где он после института хотел жить и работать. Прежде чем подать заявление в деканат, он советовался с Мирой.

— Почему в Биробиджан? — спросила она.

Он пояснил: до войны там жили его родители, и, как ей известно, там он родился. Мать, тогда еще молодая, здоровая женщина, работала на швейной фабрике, отец — на небольшом заводе металлоизделий. Он был жестянщик. Вскоре после начала войны отца призвали в армию. Первое время служил он в Биробиджане и нередко мог навещать дом. В сорок втором часть, в которой служил отец, переместили дальше, в Сибирь, а затем направили на фронт. Полгода спустя на имя матери пришло извещение о том, что муж ее, командир пулеметного взвода Михаил Захарович Хейфец, пал смертью храбрых на поле боя. И — должно же такое случиться — в день получения похоронной на свет появился сын, Миша, названный так в память об отце...

Мать стала часто хворать. Одной воспитывать сына было нелегко, и вскоре после войны она переехала с ним к сестре, в подмосковный заводской поселок, где и живет до сих пор.

— Я много раз пытался установить, — рассказывал Миша, — где находится прах моего отца, но безрезультатно. Место, где он погиб, переходило из рук в руки, и братскую могилу, в которой он был похоронен, вражеские танки сровняли с землей. Так что и следа не осталось. Одна только мать и помнит его.

— А родственники, — спросила Мира, — братья, сестры?

— Все родственники отца, да и матери, — ответил Миша, — а это были большие, разветвленные семьи, — не успели эвакуироваться. Они остались на Украине, попали в гетто, и всех их уничтожили немцы.

Больше Мира ни о чем не спрашивала.

Миша сказал:

— Хочу жить там, где жил мой отец, где я родился.

Она смотрела на мужа, и ей казалось, что таким, как теперь, она его еще не видела.

— А ты? — помолчав, спросил он.

— Я поеду с тобой.

По-иному отнеслись к задуманному переезду родители Миры. Поначалу они и слышать не хотели о том, что дочь их будет жить за десять тысяч километров и они не смогут видеть ни ее, ни внука или внучку... Они стали собирать всякие сведения о тех местах, куда собирались дети, и пугать их: там климат пакостный — зимой сильные морозы, летом дожди, комары, да и снабжение там неважное.

Что касается климата, их успокоила Мишина мать, которая также собиралась ехать.

— Климат как климат, — сказала она, — мы там уже жили. Что же касается снабжения, — добавила, — то, правда, лимоны и апельсины там на дороге не валяются... Но жить можно, как и в любом другом месте.

Увидев, что решение детей твердое, их не переубедишь, родители Миры сдались. Ефим Зильберг сказал:

— Когда-то многие мои товарищи уехали в Биробиджан. Был бы и я там, — помешала война. Теперь вижу — Биробиджана мне, пожалуй, не миновать. Ты, Миша, едешь в места, где жил твой отец. А мы с матерью поедем туда, где будут жить наши дети...

Вскоре Миша и его мать уехали, и из Биробиджана стали аккуратно приходить письма. В Хабаровске, сообщал Миша, ему нетрудно было добиться назначения в Биробиджан. Ему предоставили интересную работу в конструкторском бюро на большом заводе силовых трансформаторов, продукция которого известна по всей стране. Кстати, сообщал Миша в письме, предприятие это выросло на базе того небольшого завода металлоизделий, на котором до войны работал его отец. Что касается Биробиджана, писал он, это небольшой, но довольно красивый и культурный город. Он, Миша, был совсем ребенком, когда они уезжали оттуда, он мало что помнит, но мать говорит, что город стал неузнаваем. До войны он весь состоял из деревянных одноэтажных и двухэтажных зданий, теперь же и в центре и на окраинах — всюду высятся пятиэтажные дома из светлого силикатного кирпича, который придает городу нарядный, веселый вид. На берегу Биры раскинулся красивый парк, в городе много зелени. Из конца в конец прорезает его широкий проспект, которого раньше вовсе не было, — улица Шолом-

Алейхема. Крайние дома этой улицы упираются в большой поселок, который носит имя бывшего рабочего обозостроительного (а теперь «Дальсельхозмашин») завода, Героя Советского Союза Иосифа Бумагина. Это звание было присвоено Бумагину посмертно, после того, как он в боях за Бреслау в апреле 1945 года повторил подвиг Александра Матросова.

Сообщая об этом, Миша в одном из своих писем писал: «Это, конечно, случайное совпадение, что улица Шолом-Алейхема упирается в поселок имени Бумагина. Но когда я впервые ходил по этой улице, впервые был в этом поселке, присматривался к людям, живущим здесь, я подумал, что, может быть, и не случайное это совпадение и что, если хочешь, есть в этом особый и в чем-то даже символический смысл».

Далее он пояснял: «Понимаешь, милая, изображая плачевную долю и горемычное житье бедолаг из Касриловки, Шолом-Алейхем не переставал мечтать о времени, когда они или хотя бы их дети, внуки узнают иную, лучшую долю. В своем герое Феферл, сосланном царскими жандармами в Сибирь, в добровольно последовавшей за ним Годл, старшей дочери Тевье-молочника, он видел борцов за народное счастье. Он мечтал о времени, когда из еврейской народной среды будут выходить не люди воздуха, всякие там Менахем-Мендлы, а истинные герои. Не зная еще их имени, Шолом-Алейхем предчувствовал, предвидел приход таких славных сынов своего народа, как Иосиф Бумагин. И вот они рядом — улица писателя и поселок Героя, понимаешь, милая...»

Это слово «милая» Миша не уставал повторять в своих письмах. А она не уставала, читая их, впитывать в себя все, что за этим словом стояло, что было в нем скрыто и что понятно было только ей одной. Она отвечала ему также пространно, писала, что да, она понимает малейшее движение его души, понимает главное: он счастлив на новом месте, следовательно, счастлива и она и желает лишь одного — как можно скорее очутиться с ним рядом.

Вскоре он написал, что для завода закончили строить большой, стоквартирный дом и что одну из ста квартир решено выделить им. Она может уже приезжать.

И вот она едет.

Но и с поездкой не все было просто.

Мама и слышать не хотела о том, что Мира в таком положении, на сносях, пустится в дальнюю дорогу. Мать хотела, чтоб роды прошли тут, на месте, под ее материнским присмотром. А так как произойдет это в зимнюю пору, то до наступления полного тепла о поездке с ребенком не будет и речи, а она, бабка, глядишь, хоть немного натешится внуком или внучкой... Но в силу этих самых обстоятельств Миша слал письмо за письмом, требуя, чтоб Мира приехала как можно скорее. Все готово к ее приему. А что касается родов, нечего опасаться, в городе есть великолепное гинекологическое отделение при больнице, с прекрасными специалистами.

А Мира? Могла она разве отложить встречу с Мишей хотя бы на один лишний день? Ей хотелось как можно скорее увидеть его, быть с ним, хотелось, чтоб он — и никто другой — пришел в больницу за ней и ребенком.

Она решила лететь. Но от этого отговорил пожилой врач в женской консультации, куда она пришла посоветоваться.

— Лететь? — сказал он. — Никоим образом!

И пояснил:

— При нормальном полете вы, конечно, можете выиграть время. Но пора зимняя, могут полет и отложить. Один аэропорт долго не выпускает, другой долго не принимает, садятся на третьем. Мало ли что... А вы будете мучаться на переполненных аэровокзалах. Нет, поезжайте-ка лучше экспрессом «Россия» — самое верное дело!

— Но он идет шесть суток, — сказала Мира, — а за это время...

— Нет, нет, — понял ее опасения врач, — если выедете на этой неделе, гарантирую... И, кроме того, — под седыми кустиками бровей врач показал узкие щелки сощуренных в улыбке глаз, — кроме того, ваш сын, — вы ведь хотите сына, да? — сын ваш потом не простит, что, имея возможность родить его дальневосточником, — понимаете, дальневосточником! — вы произвели его на свет в каком-то небольшом неизвестном поселке.

Из консультации она ушла успокоенная.

И был еще один довод в пользу поездки, его привел Миша в последнем письме. «Теперь, — писал он, — когда ты, милая, носишь его еще в себе, тебе легче будет до-

бираться с ним, нежели потом, когда тебе придется везти его с собой...»

Да, в себе... Вот он, их ребенок, дает о себе знать легкими толчками — один, другой... О, как ей хочется скорей увидеть Мишу! Только один раз положить бы руку его себе на живот, чтоб и он ощутил эти мягкие требовательные толчки...

Которые сутки в дороге, и все еще нет ей конца...

8. Ольга

Вася Петров прервал ее мысли. Хмурый, чем-то раздосадованный, вошел он в купе и таким тоном, точно она в чем-то была виновата, сказал:

— Ну, Мира Ефимовна, знаете... Это ведь...

— Что случилось? — не поняла она.

— Но это же черт знает что такое! Это...

— Ничего не понимаю! — повернулась к нему Мира.

— Да Ольга вот...

— Какая Ольга?

— Ильинская...

— А! — наконец дошло до нее. — Ну и что же?

— Так ведь все шло хорошо! Он даже в любви ей объяснился, понимаете, в любви...

— Ну, и...

— Ну, и тут же на попятный! Она ждет его... Ждет день, второй, третий, а он... Он придумывает отговорки и дрыхнет дома...

— На то он и Обломов, — сказала Мира, с интересом разглядывая Васю: до чего книга его задела!

— А Ольга, — не успокаивался он, — не выдержала, сама к нему приехала. Это же понимать надо — сама приехала, — а он? Байбак!

Вася в сердцах бросил книгу к себе на полку.

— Ну его...

— А вы дальше, дальше читайте, — сказала Мира.

— А что дальше? — ответил он. — Уж если Ольга с ее любовью не расшевелила его, он таким и подойдет...

— Но Ольга...

— А что Ольга?

— О, ей еще многое предстоит!

— Да? — спросил он и тут же спохватился: — Извините, Мира Ефимовна, я вам, наверное, помешал? Дочитал, знаете, до этого места, и такая досада взяла. . . Надо было с кем-то поделиться. Извините! — сказал Вася и направился в коридор.

— Вы мне ничуть не мешаете, — сказала Мира, — читайте здесь. Я ведь ничего не делаю. Только думаю.

Вася присел на краешек полки.

— А о чем вы думаете, Мира Ефимовна, можно знать?

— О разном, Вася. В дороге думается хорошо.

— Это верно, я по себе это знаю, — согласился он.

— О чем же вы думаете, Вася?

— Тоже о разном.

— Все же?

— Вот читаю и думаю: Обломовы в наше время невозможны, а Ольги? Такие женщины, как Ольга, у нас есть?

— Думаю, что есть, — сказала Мира. — Они, конечно, во многом отличны от той — время-то другое, — но достоинства Ольги — жажда жизни, тяга к прекрасному, энергия, стремление и способность к действию — все это теперь присуще женщинам гораздо в большей мере, чем тогда. . .

Вася молча слушал, не сводя глаз с собеседницы.

— Почему вы смотрите так на меня? — смутилась Мира.

— Простите, Мира Ефимовна, вот слушаю вас и думаю: многое и в вас от Ольги. . .

— Что вы, какая из меня Ольга! — усмехнулась она и, чтоб отвлечь разговор от себя, спросила: — А вы, Вася, свою Ольгу уже нашли?

— Нет.

— Почему?

— Не вижу я что-то вокруг себя никаких Ольг. . .

— А кого видите?

Вася задумался.

— Вот вы только что говорили, — сказал он, — о достоинствах Ольги — ее энергии, стремлении и способности к действию и прочее. Но было в ней еще кое-что, и Гончаров подчеркивает это: мягкость, красота, нежность. Помните, характеристику Ольги он завершает тремя словами: «Словом, она женщина». А вот девушкам, понимаете, тем девушкам, которых знаю я, этой самой женствен-

ности как раз и не хватает. Чересчур много мальчишества на себя напускают. И прически, и брюки, и папиросы! К чему? Это меня отталкивает. В девушках я ищу то, чего мне самому, может быть, не хватает, — мягкости, нежности. . .

— Плохо ищите, — заметила Мира. — Правда, и в этом, пожалуй, вы правы — наши девушки, женщины часто почему-то прячутся под каким-то напускным мальчишеством, как бы стыдясь своей женственности. Но она есть, и надо уметь ее разглядеть.

— Значит, не умею, — сказал Вася.

— Вот возьмите нашу Зиночку. . .

— Зинаиду Семеновну?

— Да.

— И что еще можно увидеть в ней, кроме того, что сразу бросается в глаза? — спросил Вася.

— Не думайте, она вовсе не такая, как может показаться с первого взгляда. Чего-то она в жизни ищет, пока не находит и от этого страдает. . .

— Поверьте мне, — горячо возразил Вася, — ничуть она не страдает. А то, что ищет, находит: вчера Вадим Петрович, сегодня Эрнест Валерьянович, завтра. . .

— Не говорите, Вася, вы не все знаете.

— А я и не хочу знать! Я лучше опять к Ольге. . . — Он схватил книгу с полки и вышел в коридор.

Зинаида Семеновна снова поздно вернулась в купе.

Плюхнувшись на постель, откинула голову к стенке и прошептала:

— Если б вы знали, как все это мне надоело. . .

От нее, как и вчера, пахло коньяком.

— Что вам надоело? — спросила Мира.

— Все, все. . . Знали бы вы, как я устала. . . Одно и то же. . . Одно и то же. . . Вчера один вагон, сегодня другой. . . Вчера одни люди, сегодня другие. . . Но все то же: карты, коньяк, пошлые комплименты. . . О, как все это мне надоело. . .

— Ну, а как Эрнест Валерьянович? С виду довольно интересный человек.

— Интересный? — Зинаида Семеновна нахмурилась. — Такой же, как все. . .

— Но он, надеюсь, не предлагал вам, как Вадим Петрович, выходить за него замуж?

— Хуже.

— Что — хуже?

— Он предложил мне сойти в Хабаровске и остаться на пару недель. . .

— С ним?

— Да.

— А жена?

— Жена, научный работник, в длительной командировке. . .

— И вы отвесили ему пощечину?

— Нет.

— Жаль. Он ее заслужил.

— На всех пощечин не напасешься, рук не хватит. . . — Зинаида Семеновна закрыла глаза. — Как мне все надоело!

— Но вас никто ведь не неволит так жить? — сказала Мира.

— А как жить?

— Вот мы едем с вами столько дней, а вы ни разу еще в книгу не заглянули. . .

— Читать? — Зинаида Семеновна рассмеялась. — Покорно благодарю! Читать о том, как другие жили, живут? И потратить на это свою жизнь? Нет, пусть другие читают обо мне. . .

— Но вам не по душе ведь тот образ жизни, который теперь ведете?

— А как жить иначе? Как?

Мира глянула на Зинаиду Семеновну, хотела что-то сказать, но раздумала.

Некоторое время женщины молчали. В тишине слышнее стал стук колес. Чем больше Мира слушала этот стук, тем отчетливее, казалось ей, она слышала в нем повторение одних и тех же слов, слов из полученной ею вчера телеграммы:

«... Люблю... Целую... Миша...

... Люблю... Целую... Миша...»

Бессильно откинувшись к стенке, Зинаида Семеновна тоже вслушивалась в колесный перестук, и ей мерещилось в нем одно и то же: «...Надоело... Надоело... Надоело...»

Сидя с закрытыми глазами друг против друга, две женщины в неумолчном стуке колес слышали каждая свое. . .

9. Привет из Биробиджана

Прошел еще один день в пути.

Капитан Лаутин и Надя Симонова, как и в прежние дни, подолгу стояли у вагонного окна, тихо о чем-то между собой беседуя.

Вася Петров читал «Обломова».

Лев Маркович Гнезин, сидя в вагоне у своего коллеги Савелия Кузьмича, ждал перевода в другое купе.

Мира то сидела, то лежала, вся погруженная в то огромное и важное, что творилось внутри нее и что воспринималось ею и как частица ее самой и как нечто такое, что вскоре от нее отделится. Это было очень странно и немного страшно — начнет существовать самостоятельно, отдельно от нее...

Зинаида Семеновна никуда не ходила и почти весь этот день спала.

Дверь в купе с шумом раскрылась. На пороге стоял человек, весь сиявший благодушной улыбкой. Был он Мире совершенно не знаком, но улыбался так, будто приходился ей очень близкой родней и только диву давался — как же та сразу его не узнала...

За гостем, на полторы головы возвышаясь над ним, стоял Вася.

— Абрам Лазаревич Зискинд, — сказал он, — из Биробиджана.

— Из Биробиджана? — Мира поднялась, подала гостю руку. Тот ее крепко пожал.

— О себе, Мира Ефимовна, можете ничего не рассказывать. Этот товарищ о вас все доложил, — указал он на Васю.

Тот тут же пояснил:

— Сидим за обедом, как всегда, втроем — Лев Маркович, Савелий Кузьмич и я. Подсел четвертый. Разговорились — из Биробиджана. «С нами в купе, говорю, едет женщина в Биробиджан». — «Кто такая? Откуда?» — «Вы ее не знаете, говорю, она туда едет впервые, и ее очень интересует, что там и как...» Вот...

— Садитесь, — указала Мира гостю на свою полку, а сама подвинулась к окну.

Гость был невысок, полноват, круглолиц, а когда улыбался, на лице его улыбалось все — черные, живо поблескивающие глаза, щеки, лоб, коротковатый нос.

— Вам хочется знать, — весело спросил он, — как-то там, в Биробиджане? Что ж, можете получить живой привет!

— Мне это интересно, — сказала Мира, — я еду ведь туда впервые и, как видите, — она показала на свою фигуру, — не одна...

— О, это вы очень хорошо делаете, — рассмеялся Абрам Лазаревич, — смеялся он так, как будто горох рассыпают по жести, — хорошо делаете. Биробиджан нуждается в людях. Впрочем, — тут же добавил он, — где теперь нет нужды в людях? Вот я еду из Иванова...

Он рассказал, что работает помощником мастера в ткацком цехе текстильно-швейной фабрики. Несколько человек было командировано поближе ознакомиться с постановкой дела в городе ткачей, перенять кое-какой опыт.

— Ну, и переняли? — спросила Мира, глядя на Абрама Лазаревича и удивляясь тому чувству, которое он у нее вызвал, — будто знает она его уже очень давно, чуть ли не столько, сколько и родного отца.

— Конечно же переняли, — ответил он. — Причем нам много не нужно, любая малость, намек — и с нас достаточно. Остальное сами додумаем, сделаем. На то мы еще в известном смысле и рационализаторы...

— Почему в «известном смысле»? — спросила Мира.

— В том смысле, что второго лунника мы еще не придумали, но делаем все, что требуется, чтоб дела на фабрике шли лучше... Да, вы ведь просили, — спохватился Абрам Лазаревич, — рассказать о Биробиджане, а я рассказываю о себе...

— Рассказывайте, пожалуйста, — попросила Мира, — ведь и вы сами частица Биробиджана, не так ли?

— Это правда, — ответил он, — и, если хотите, даже изрядная часть...

— Как это понять?

— Понять это надо так, что с тех пор, как существует Биробиджан, существуем и мы там, Зискинды. Родители мои прибыли туда в числе самых первых переселенцев, то ли вторым, то ли третьим эшелонам, еще в двадцать восьмом году. Отец мой — теперь он уже на пенсии — все годы работал кузнецом. Богатырь и мудрец, он любит говорить нам, детям, — нас у родителей восьмеро — пять сыновей и три дочери, — так вот, любит он нам говорить:

«Вы, дети, принадлежите ко второму поколению биробиджанцев — вас породил Биробиджан. А мы — первое поколение. Биробиджан породили мы...»

— «Биробиджан породили мы», — повторила Мира. — Хорошо сказано!

— О, мой отец умеет сказать! Вот приедете, познакомитесь с ним. Ему уже под восемьдесят, но он аккуратно просматривает каждое утро газеты — «Биробиджанер штерн», «Биробиджанскую звезду» и, конечно, «Правду». Любит потолковать о мировой политике. С ним поговорить интересно.

— Так кáк говорит он, отец ваш, — переспросила Мира, — «Биробиджан породили мы»?

— Да, и этим он хочет сказать о том, каких невероятных трудностей им, первым, стоило все то, что тут за недолгое время создано. На великой Транссибирской магистрали был маленький, затерянный среди сопок и тайги разъезд Тихоньяка. Все его население составляло несколько сот человек рыбаков и охотников. Тут предстояло заложить город, начать большую жизнь. И ее начали!

— Откуда приехали ваши родители?

— Из Витебска. Отец тогда уже был в годах. А мать — комсомолка. Теперь и она на пенсии. Часто приглашают ее на комсомольские собрания, пионерские сборы, и она рассказывает нынешним нашим ребятам, как жили комсомольцы двадцатых и тридцатых годов. Геройское было племя! На их долю такое выпало...

— Да, — сказала Мира, — для нас это уже история, а они творили ее своими руками. Первые пятилетки... Коллективизация... Так дорого стоившая победа в войне... Послевоенное восстановление... Мой отец тоже воевал, а теперь работает на заводе. Мы, молодые, в большом долгу перед нашими отцами и матерями...

— Плохо лишь то, — заметил Абрам Лазаревич, — что не все молодые это понимают.

Зинаида Семеновна на своей постели повернулась лицом к стенке и плотнее натянула на себя одеяло. Абрам Лазаревич приложил палец к губам и заговорил тише:

— К тому времени, когда я стал подрастать и кое-что понимать, многое было уже сделано. Биробиджанский национальный район был преобразован в Еврейскую автономную область, и Биробиджан стал областным центром. Отец мой имел честь быть делегатом Первого об-

ластного съезда Советов. До сих пор он любит рассказывать о том, сколько делегаций прибыло тогда со всех концов страны — из Москвы, Минска, Киева, Ленинграда и других городов — приветствовать рождение новой национальной области. Сюда шли эшелоны с оборудованием, машинами, техникой — вся страна строила новую область. И так — по сей день. Теперь не узнать уже города моего детства, преобразился он до неузнаваемости. Вырос новый город, с асфальтированными улицами, пятиэтажными кирпичными домами, с большими заводами и фабриками с современным оборудованием. Строятся новые и новые микрорайоны. . .

Наблюдая за тем, с каким увлечением он рассказывает о своем городе, Мира заметила:

— Видно, Абрам Лазаревич, вы влюблены в Биробиджан?

— Как вам сказать. . . — ответил он. — Я в этом городе родился и вместе с ним рос.

Вася Петров после того, как познакомил Абрама Лазаревича с Мирой Ефимовной, постоял с ним немного и вышел в коридор. Теперь он снова появился, спросил:

— Ну как, не скучаете?

— Что вы, — ответила Мира, — мы тут беседуем.

— Беседуйте, беседуйте, не буду мешать, — сказал Вася, взял с собой книгу и вышел.

— Скажите, — обратилась Мира к Абраму Лазаревичу, — есть в области еврей-земледельцы, механизаторы?

— А как же! — ответил тот. — Многие из них известны не только в области, но и в крае. Есть среди них и знатные животноводы и овощеводы. О ком бы вам рассказать? Да взять хотя бы семью Рак. . .

— Рак? — переспросила Мира.

— Да, даром, что фамилия такая, а назад не пятятся, нет! Все передовики!

— И много их?

— Много. Отец, Ехиел Рак, тоже был среди первых поселенцев. Приехал из маленького местечка на Украине, — кажется, из Погребищ. Там он был бедолагой — извозчиком, тут стал трактористом. Он был одним из тех, кто километрах в двенадцати от Тихонькой стали рубить тайгу и ставить там первые дома. Место это называли Валдгейм, что значит — дом в лесу. Со временем Ехиел

стал бригадиром тракторной бригады и руководил ею много лет. Тем временем подросли сыновья и тоже пошли в трактористы. Жена его, тут же, в Валдгейме, родила десятерых. Была она матерью-героиней.

— Была?

— Да, теперь ее нет в живых. Нет и Ехиела. Живут и трудятся их дети. Сын Арон — заместитель председателя колхоза, второй сын, Борис, — колхозный инженер, дочь заведует Домом культуры, — целая династия! А вы спрашиваете, есть ли еврей-земледельцы! — с легким укором закончил свой рассказ Абрам Лазаревич.

— Это очень важно — то, что вы рассказываете, — сказала Мира. — Не всем это известно. И я вот не знала. А есть ли еврей-рабочие — токари, слесари, сварщики?

— Да еще какие! На заводе силовых трансформаторов много лет трудится — ваш муж, наверное, его уже знает — знатный токарь Морис Глик. Восьмую пятилетку он выполнил за три с половиной года. За столько же времени собирается он выполнить и девятую. Жена Мориса, Сарра Глик, — начальник большого цеха на нашей текстильно-швейной фабрике. Оба награждены орденами.

— Как, вы сказали, их фамилия?

— Глик.

— Да, это поистине счастье¹, — промолвила Мира. — Ну, а вы сами, Абрам Лазаревич, почему не рассказываете о себе?

— А что обо мне рассказывать?

— Но вы и сами, наверное, давно и хорошо работаете?

— Четверть века. С восемнадцати лет.

— И небось имеете награды?

— Не без того.

— У вас должно быть много детей. Угадала?

— Нет, не много — трое.

— По нашим временам немало. Большие?

— Дочка в восемнадцать вышла замуж и произвела меня, представьте, в деда. Вот уже два года, как я удостоен этого звания.

— Внучка? Внук?

— Внук!

¹ Игра слов. Слово «глик» по-еврейски означает счастье.

— И хорош?

— Загляденье!

— А еще?

— Два сына. Старший в институте, младший в школе еще.

— Коль так, — сказала Мира, — и вас, Зискиндов, в Биробиджане целая династия?

— Немалая! — с радостью согласился Абрам Лазаревич. — Знаете, недавно в новом микрорайоне я получил квартиру из четырех комнат с лоджией. Но поверите, в праздник все равно всю родину не соберешь — тесно!.. Ну, хватит, — спохватился Абрам Лазаревич, — я тут заговорил вас, а вам отдыхать надо.

Он поднялся.

— Посидите еще.

— Нет, пора. Я — через вагон. Меня ждет уж наш профессор.

— Какой профессор?

— Едет с нами в купе. Из Владивостока. Кстати, гинеколог. Могу вас с ним познакомить.

— Благодарю. Зачем утруждать человека?

— За время пути мы с ним очень сдружились. Он заядлый шахматист, да и я в этом деле немного смыслю. До свидания! В Биробиджане — милости прошу!

Он пожал ей руку, и все лицо его — глаза, щеки, лоб, коротковатый нос — засветилось в улыбке.

Мире казалось — человека этого знает она уже целую вечность.

10. Дальний и Ближний

Повернувшись под одеялом, Зинаида Семеновна выпростала голую руку и зевнула.

— Он меня замучил, ваш гость. Сколько можно?

— Вы разве не спали? Мы старались говорить тихо.

— Какое там! Он разбудил меня, как только вошел! — Зинаида Семеновна опустила на пол голую ногу. — Не люблю людей, которые все на свете рисуют в розовых красках...

— Но он ведь рассказывал интересные вещи, — сказала Мира.

— Кое-что было интересно, да. — Зинаида Семеновна опустила вторую ногу и стала разглядывать педикюр. — Но вообще... — Она снова зевнула и сбросила одеяло.

— Что вообще? — спросила Мира.

— Вообще не верю я людям, которые пытаются делать вид, что все хорошо... — Узкий светло-зеленый бюстгальтер и такого же цвета плавки — все, что было на ней, — оттеняли атласную белизну ее кожи. — Ах, что вы! — воскликнула Зинаида Семеновна. Раскрылась дверь, показалась голова Васи, но тут же Вася дверь захлопнул. — Напугала мальчика, — усмехнулась Зинаида Семеновна, накидывая шелковый цветастый халат.

Расчесывая на постели льняные локоны, сказала:

— Не верю я тому, что все уж так хорошо, как ваш гость тут расписывал. Есть, видать, немало своих бед и в Биробиджане.

— Возможно, — ответила Мира. — Но не об этом была у нас речь. Он отвечал на мои вопросы, и видно, что человек влюблен в свою работу, в свой город.

— Любовь бывает одна — между мужчиной и женщиной. Остальное — чепуха! — отрезала Зинаида Семеновна.

— А любовь к месту, где родился, к родному краю?

— Оставьте!

— Вы неправы, — возразила Мира. — Любовь — понятие более широкое, нежели вам кажется. А я, — добавила она, — влюбленных людей люблю! Неважно, в кого или во что человек влюблен — в женщину, в город, край... Такой всегда способен сделать больше, чем другие...

— Не будем спорить, — примирительно заявила Зинаида Семеновна, — вам, Мира Ефимовна, это вредно. Но гость ваш, — она внимательно рассматривала карандаш для подрисовки бровей, — рассказал и кое-что существенное. Я, например, не знала, что существует Еврейская автономная область...

— Неужели не знали? — удивилась Мира.

— Нет.

— А о Биробиджане слышали?

— Слышала, но всегда путала: Азербайджан, Биробиджан...

— Сильны же вы в географии, — рассмеялась Мира, — да и в истории тоже...

— С этими предметами я всегда была не в ладу, — призналась Зинаида Семеновна, — но Еврейская автономная область — это интересно. . .

— Это вас действительно интересует?

— А почему бы и нет?

— Каким же образом?

— А самым непосредственным, — ответила Зинаида Семеновна.

— Не совсем понимаю, — призналась Мира.

— Сейчас объясню. Моя мать еврейка, а отец русский. Он давно умер.

— Вот уж, признаться, никогда бы не подумала, — удивилась Мира, — что у вас мать еврейка.

— Непохожа? — весело рассмеялась Зинаида Семеновна.

— Ничуть!

— Вот и прекрасно! Но я говорю, — подчеркнула она, — что мать еврейка.

— А вы?

— Я — русская.

— Этим вы меня совсем огорошили. Как же так?

— А очень просто. У нас каждый волен выбрать ту национальность, которая ему желательна. Когда я получала паспорт, я попросила записать меня русской. Это мое право, тем более что мой вид, мое имя, мой язык. . .

— Но одно дело — право, — сказала Мира, — другое — как им пользоваться.

— А чего мудрить? — возразила Зинаида Семеновна. — Я имею право, и я им пользуюсь.

— Но это не так просто, — после некоторого раздумья ответила Мира. — Как вы можете записаться русской, если ваша мать еврейка?

— Но я так хочу!

— А почему, собственно, вы так хотите?

Теперь наступил черед задуматься Зинаиде Семеновне. От непривычного напряжения над ее тоненьким носиком наметилась складка.

— Так проще, — сказала она.

— Что проще?

— Жить.

— А если бы вы записались еврейкой?

— Понимаете, — замялась Зинаида Семеновна, — евреи — это такой народ. . .

— Какой народ?

— Всегда с ним что-то было неладно...

— Как это понимать?

— Ну вот, я плохо знаю историю, но кое-что мне известно. Еще в давние времена в Италии, Испании евреев преследовали. Об этом много пишет Фейхтвангер. До революции в России евреи имели право жить только в определенных губерниях. Об этом можно прочесть у Шолом-Алейхема. Петлюра, Деникин, Махно и прочие учиняли еврейские погромы. Об этом родители мне рассказывали. Гитлер вовсе вознамерился истребить всех евреев и много в этом преуспел...

— Да, но все это было в прошлом! Понимаете, в прошлом!

— Почему вы иронизируете? — зло выкрикнула Зинаида Семеновна. — Разве я одна? А вы? Можно подумать, что вы хвастаетесь тем, что вы еврейка!

— Нет, не хвастаюсь, — ответила Мира, — это было бы глупо. Но и не стыжусь — это было бы подло. У нас в стране никому не дано повода стыдиться своей национальности.

— А почему, по-вашему, евреи едут в Израиль?

Мира посмотрела на собеседницу, не сразу уловив связь между тем, о чем шла речь, и этим ее вопросом.

— Есть разные евреи, — ответила она. — Некоторым из них, может быть, снится большой бизнес, и они полагают, что там его смогут делать.

— Но туда едут и евреи-ученые, люди искусства.

— А эти, — что же, эти собираются делать тот же бизнес, но на науке и искусстве.

Помолчав, Зинаида Семеновна спросила:

— А вас, Мира Ефимовна, скажите правду, не тянет туда?

— Куда?

— В Израиль.

Мира долгим взглядом посмотрела на собеседницу и сказала:

— Я вам отвечу словами моего отца.

— Кто ваш отец?

— Простой человек. В войну был солдатом. Теперь работает мастером на заводе. К тому же не любит много говорить. Так вот, на этот вопрос, когда ему его задали, он ответил очень коротко.

— Как?

— «Все на свете можно заменить, кроме Родины и матери».

— А я бы поехала! — с какой-то залихватской беспечностью в голосе воскликнула Зинаида Семеновна.

— Вы? Но что вы-то стали бы там делать?

— А что?

— Вы же русская...

— А там мы это как-нибудь опять бы переделали! — тем же тоном ответила Зинаида Семеновна. — Мои родители еще пока не решили, но они уже собираются.

— Кто ваши родители?

— Это имеет значение?

— Нет, просто интересуюсь.

— Отчим заведует фармацевтическим складом. Мать — косметичка.

— И они собираются ехать? — спросила Мира. — Не думаю, что их ожидают там большие блага.

— А вы бы ни за что не поехали? — еще раз спросила Зинаида Семеновна.

— Как видите, — ответила Мира, — я еду на Дальний Восток. Он мне ближе.

Зинаида Семеновна вдруг поднялась, запахнула на себе цветастый халат, подхватила полотенце, мыло, зубную щетку.

— Пойду умываться.

— Поторопитесь!

— А что?

— Скоро большая станция, закроют туалет.

Выйдя из купе, Зинаида Семеновна увидела Васю. Он читал на выдвижном стуле у окна.

— Бедный мальчик, — слегка коснулась она его беле-сого чуба, — ведь вы давно уже могли войти...

11. Все нормально

Экспресс шел по территории Еврейской автономной области. Позади остались ворота области — станция Облучье, где с высокой горы вокзал горделиво взирает на широко раскинувшиеся железнодорожные пути вниз. Проехали станцию Известковую с большим известковым заводом, который выглядел карликово-малым у подно-

жия огромной заснеженной сопки. Промелькнули три дымящие трубы Теплоозерского цементного завода, исчезли вдаль мраморные сопки за Бираканом.

До Биробиджана осталось ехать считанные часы.

У окна, где все эти дни привыкли видеть капитана Лаутина и Надю, девушка теперь стояла одна. Он сошел двумя станциями раньше. Она накинула на себя пальто и тоже выскочила на перрон. Широко улыбаясь, он подал ей руку, а она вдруг припала головой к его шинели и на миг ощутила у себя на волосах его ладонь. Ее душили слезы, и она ничего не могла сказать. Он, кажется, все понял...

— Не тушуйся, Надюха, — грубовато сказал он, — жизнь — штука серьезная. Держись!

Она некоторое время еще смотрела ему вслед, пока он уходил, затем вернулась в вагон. И вот она едет одна. Ехать осталось ей недолго. А жить?...

Она вошла в купе, где все еще было полно его живым дыханием. На книгу, которую так и не дочитала, — «Голубая моя планета» Германа Титова, — положила чистый листок.

«Натка, — писала она, — он сошел. Скоро вот будет третья станция без него...»

Шариковая ручка застыла над чистым листом. В глазах у Нади стояли слезы.

Вася читал на выдвижном стуле у окна. Он закрыл книгу, поднялся, выглянул в окно. Вдруг он почувствовал, что глаза у него становятся влажными, и сам удивился — отчего? Умер Обломов... Но тот и при жизни был мертвецом. И все же...

Осторожно открыв дверь, Вася вошел в купе. Зинаида Семеновна, умытая, пахнувшая тонкими духами, у себя на постели обрабатывала пилочкой длинные розовые ногти. Мира Ефимовна тяжело дышала, лежа на постели.

Вася склонился над нею:

— Мира Ефимовна...

— А?

— Умер Обломов.

— Что?

— Обломов умер, — повторил он и в страхе вдруг отшатнулся.

Глаза у беременной стали огромными, она с трудом прохрипела:

— Уйдите... Уходите же! У...

Он не успел, выбегая, прикрыть за собой дверь, как его настиг страшный, наполненный *неимоверной болью крик, и спустя мгновение крик этот повторился...

Побледневшая, выбежала Зинаида Семеновна, схватила Васю:

— Скорее! Через вагон с биробиджанцем едет профессор...

Васю как ветром сдуло. Через несколько минут он вернулся с Абрамом Лазаревичем и профессором. Это был очень высокий старик с густой, как бы присыпанной инеем шевелюрой и жесткой щеточкой усов над прямой линией упрямо сжатого рта.

Профессор скрылся в купе.

Бледная, испуганная, прибежала Надя. Сбежались пассажиры из других купе. Криков больше не слышать было. Томительно тянулись минуты.

Наконец вышел профессор.

— Ничего страшного, — сказал он. — Все нормально. Начались родовые схватки...

— Что же делать? — забеспокоились пассажиры.

— Роженицу надо снять на ближайшей станции.

— Какая ближайшая станция?

— Биробиджан.

— Какое счастье! — воскликнула Надя. — Туда она ведь и едет... Какое счастье!

Профессор обратился к Васе:

— Отыщите начальника поезда. Пусть немедленно передаст, чтоб в Биробиджане встречала «скорая». Ну, а если можно, чтоб передать родным...

Вася исчез.

— А не может случиться, профессор, что еще до Биробиджана... — заикнулась было Зинаида Семеновна.

— Нет, не может, — резко ответил профессор и, глядя на нее, осекся. Что за красотища! Как же он раньше ее не заметил? «Но детей не рожала, — определил он тут же, — делала аборт».

Чуть мягче добавил:

— Так быстро сие не делается.

Он глянул на часы:

— До Биробиджана остался час... час десять минут. А это обычно продолжается дольше...

Из купе снова донесся крик. Все стоявшие у дверей вздрогнули. Абрам Лазаревич умоляюще глянул на профессора:

— Сделайте что-нибудь, Александр Иванович!

— Тут ничего не поделаешь, — развел тот руками. — Природа... Наша с вами партия, Абрам Лазаревич, видно, останется неоконченной. А жаль... У моей королевы отличная позиция...

Александр Иванович снова вошел в купе. Зинаида Семеновна подалась за ним, но он вежливо остановил ее:

— Пока не надо. Доверьте это мне: мой хлеб...

По всему экспрессу быстро разнеслось, что в шестом вагоне у беременной женщины начались родовые схватки.

— Так я и знал! — сказал Лев Маркович Гнезин своему коллеге Савелию Кузьмичу, в купе которого сидел, — так и знал...

— Вам повезло, — заметил Савелий Кузьмич, — что это не случилось ночью, когда вы там...

— О, это было бы ужасно!

— Зато, — утешал его Савелий Кузьмич, — в Биробиджане вы сможете занять ее место.

— Ни за что! Несколько часов, что останутся до Хабаровска, я проеду с вами...

— Как вам будет угодно...

До чего же ему в этой поездке не повезло... Коль надумала роженица разрешиться от бремени в дороге, не могла она это сделать хотя бы сутками раньше...

Лев Маркович и Савелий Кузьмич какое-то время поговорили еще по поводу случившегося и пошли в ресторан.

Вася Петров обо всем договорился с начальником поезда и теперь стоял в коридоре у окна.

Какие страшные были у нее глаза... И вдруг: «Уходите!..» Видно, из нее уже рвался крик, но она его из последних сил сдерживала, пока он, Вася, не уберется. Что за выдержка... И все-таки нет-нет, а кричит... Видно, это сильнее ее. Рождаются люди. Тысячи людей ежедневно являются на свет... Родился и он... Но никогда не думал о том, каких это стоит мук. Странно: наслаждение и боль — у истоков человеческого бытия. Наслаждение испытывают двое, а боль — женщина одна... Одним этим заслуживает она вечного поклонения...

Впервые в жизни пришли эти мысли к Васе Петрову теперь, когда, стоя у окна, он слышал крики, время от времени вырывавшиеся из закрытого купе.

В одном месте поезд так круто повернул, что Вася увидел впереди длинный зеленый тепловоз и первые вагоны, увидел, как поспешно он тащит их за собой, как бы желая, чтобы как можно скорее и лучше свершилось то, что должно свершиться...

12. Экспресс следует дальше

В Биробиджан экспресс прибыл вечером. Кружила пурга. В свете прожектора снежная пыль взметалась высоко к фронту вокзального здания, то закрывая, то вновь открывая русские и еврейские буквы названия — «Биробиджан».

Не успел поезд остановиться, как в шестой вагон вошли два рослых санитара в белых халатах поверх пальто, с носилками. Мира, уже одетая для выхода, в платке поверх шапочки, в каком-то забытии полусидела, полулежала на своей полке, поддерживаемая с одной стороны профессором, с другой — Зинаидой Семеновной.

Когда ее выносили из вагона, она виноватым взглядом простилась со всеми: «Не дотянула... Доставила столько хлопот...» Хотела что-то сказать, но не смогла. Ее опять одолела боль, правда, не такая сильная, и она смогла задержать в себе крик, прикусив нижнюю губу...

На перрон сошли также профессор, Зинаида Семеновна в накинутом на плечи котиковом манто. Вася снес два тяжелых чемодана. К носилкам сразу кинулись молодой мужчина в коротком пальто и ушанке — Миша — и низенькая, полная женщина — его мать.

Взволнованный, растерянный случившимся (не так он представлял себе эту встречу), Миша низко приник к носилкам:

— Мира, что ты... как?

Она нашла в себе силы ему улыбнуться.

Мать заплакала.

Санитары подняли носилки и поспешно пошли с ними к выходу с перрона, где ждала машина «скорой помощи».

Зинаида Семеновна вернулась в вагон.

Абрам Лазаревич попрощался с профессором.

— Мы еще когда-нибудь сыграем с вами в шахматы! — сказал ему тот, стоя в тамбуре.

Вася догнал уходящего Абрама Лазаревича:

— Одну минутку. Ваш адрес. . .

— Пожалуйста! Зачем?

— Я вам напишу с Камчатки. А вы мне сообщите, как тут все кончилось, хорошо?

— Понимаю. Записывайте.

Вокзальное радио объявило об отходе поезда.

— Я запомню.

— Чапаева, восемь, квартира пятнадцать.

— Спасибо!

Поезд тронулся. Вася посмотрел в ту сторону, где скрылись санитары с носилками, Миша и его мать, и вскочил в вагон.

— Как бы вы не простудились, — сказал он в тамбуре профессору.

— Такому старому хрычу, как я, — ответил тот, — уже ничего не страшно. А вам, молодой человек, не мешало бы что-нибудь надеть.

— Как вы думаете, профессор, — спросил Вася, — с роженицей не случится худого?

— Все будет в порядке, она здоровая женщина, можете не сомневаться.

— А то, что началось в пути, в поезде?

— Это не имеет значения.

Профессор задумался и сказал:

— В такое время живем: умирают, рождаются — все на ходу.

И добавил:

— На полном ходу!

Тут же спросил:

— Играете в шахматы?

— Нет.

— Жаль. У нас осталась неоконченная партия. . .

Он ушел к себе в вагон.

Вася постоял у окна, глядя в ту сторону, где в метельном вихре маячили огни Биробиджана. Затем он открыл дверь в купе. На своей постели, приклонив голову к вагонной стенке, сидела Зинаида Семеновна, и из ее боль-

ших, широко раскрытых серо-голубых глаз катились по бледным щекам крупные слезы.

Он опешил, не зная, оставаться ему или бежать.

— Что, — не меняя позы, спросила Зинаида Семеновна, — в первый раз видите, как плачет баба?

— Но вы...

— Что я? Думал, я только веселюсь и гуляю, да? Прожигаю жизнь! Эх, вы...

— Я вижу... — пытался Вася что-то сказать.

— Что вы, мужчины, можете видеть? На вершок вглубь, не более... А что помимо этого — не ваше дело...

— Я понимаю, — сказал Вася, — вам жаль Миру Ефимовну? Вы думаете, с ней может быть худо? Или с ребенком?..

Зинаида Семеновна улыбнулась:

— Ну и чудак же вы, Вася...

Она наклонилась к нему:

— Мира Ефимовна лежит теперь в светлой палате, вокруг нее врачи и сестры. Еще до полуночи на белоснежной простынке ей поднесут такого крикуна... «Жаль Миру Ефимовну»... Чудак!

У Зинаиды Семеновны вдруг скривились губы, и она закрыла лицо. Вася понял: она плакала из жалости к себе.

Он вышел в коридор. Долго простоял у окна и думал о том, что как только прибудет на место, напишет Абраму Лазаревичу. Тот ему обо всем сообщит. «Все будет в порядке», — сказал профессор. Она очень хотела сына. Возможно, так и будет. Он, Вася, напишет Мире Ефимовне маленькое письмецо, поздравит ее и мужа с новорожденным. А когда она выпишется из больницы, ответит ему. Почему бы ей не ответить ему?

В другом конце вагона у окна стояла Надя. Кроме их двоих, в пустом коридоре никого не было. Сбивчивым шагом — вагон швыряло на ходу — Надя пошла к Васе, стала с ним рядом.

— Грустно, — сказала она.

— Да, — ответил Вася.

Помолчали.

— Закончили «Обломова»? — спросила Надя.

— Осталось несколько страниц.

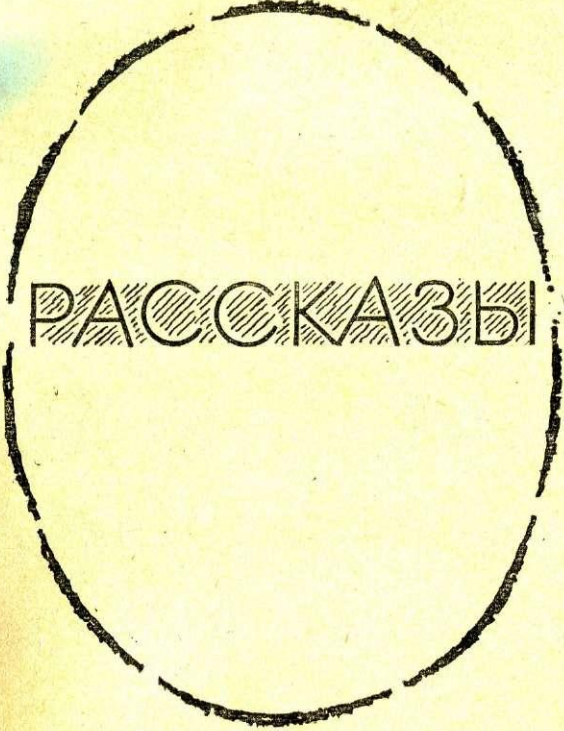
— И я не дочитала свою книгу.

— Какую?

— «Голубая моя планета» Германа Титова.

В окно глядела непроглядная темень, и оконное стекло возвращало им расплывчатые отражения их собственных лиц.

Вскоре вновь появились огни. Они быстро наплывали, исчезали и вновь наплывали, и сопровождаемый ими экспресс в клочья рвал метельную зимнюю ночь...



РАССКАЗЫ

КОМСОМОЛЬЦЫ

Часов в семь, когда солнце опускалось все ниже к земле, Калмон Грушевский торопился к землянкам, быстро шагая по колючему жнивью. Позади остались маленькие, уютные вагоны-домишки, вросшие колесами в грунт.

В одном из этих вагонов, у старого своего знакомого, десятника Аврома, Калмон и прожил все эти дни. У Аврома было гораздо удобнее и теплее, нежели в большой землянке, где жили все шестьдесят комсомольцев Калмоновской бригады. Они прибыли сюда, в коммуну «Новая жизнь», на семь дней по распоряжению окружкома.

И вот сегодня последний, седьмой день. Еще одна ночь — и Калмон поедет к себе, к русоволосой Адели, в просторную комнату на третьем этаже, к желтому столу и обитому кожей стулу в учреждении... Вчера, лежа в слабо освещенном вагоне, Авром сказал ему перед сном:

— Стало быть, Калмон, ты здесь вроде старшего? Как я, скажем, десятник. Ну-ну... А тебе везет, как я полагаю... И всегда так. У отца твоего ты был единственным сыном, ты и командовал... Я помню, когда ты, бывало, играл с моим сорванцом в лошадки, всегда ты погонял... Такая, видно, семья у вас. И отец твой, царство небесное, тоже... Помню, когда я возил его по садам, никто не смел ему слова сказать! «Кому — мне? Нояху Грушевскому? Как так?» Да, вот я и говорю...

«Значит, и Авром уже знает, что говорят ребята, — думает Калмон. — Но при чем тут отец?» Он умер в семнадцатом году, когда Калмону было всего каких-нибудь одиннадцать. С тех пор он живет один. И чего только

пережить не пришлось! Был он и батраком, и на Донбассе работал. Так при чем тут отец? Его назначили бригадиром — и дело с концом. . .

А ребята шумят с каждым днем сильнее:

— Хотя он и бригадир, а тоже мог бы взять вилы в руки и работать! Писать сводки в окружном — двух часов в день более чем достаточно, а в остальное время нечего симулировать! Не надзирателем его сюда послали. . .

А наглее всех Витька. Он смеется прямо в глаза и всех ребят настраивает против него. . .

Калмон Грушевский крепче обхватил свой узел, перетянутый ремнями, застегнул пуговицу пальто и, закусив губу, продолжал шагать в высоких, за колено, сапогах к двум землянкам, уже показавшим горбатые крыши и несколько слепых окошек над землей.

Большая коммуна «Новая жизнь» на время уборки вся перебралась в степь, в землянки и в небольшие красные вагоны с чернеющими дымовыми трубами. Эти вагоны вместе с молотилкой перетаскивают с места на место, и после них возле высоких соломенных скирд остаются глубокие следы колес. Три таких вагона стоят возле землянок постоянно, — в них помещаются медпункт, милиция и церабкооп.

Сейчас, на закате, здесь, на просторной площадке между вагонами и землянками, тихо и спокойно. Никого нет. Лишь уборщица наливает в баки воду для умывания.

Ступени, ведущие в землянку, чисто подметены. И в полутемной землянке чисто. Возле входа широкий обтесанный столб упирается в низкий потолок. Между двухэтажными нарами в проходе еще три столба — они поддерживают верхний накат.

Калмон положил свой узел на стол — три длинных сколоченных доски — и забрался на верхние нары, поискать среди уложенных рядом жестких соломенных матрацев свободное место.

«А вдруг ребята придут и застанут здесь. . . Ну и что же? Ничего. Скажу — боли в животе. . . Лучше, пожалуй, было поработать. Ребята-то чужие. . .»

Впервые он встретился с ними три недели назад в большом зале заседаний окружкома, куда их собрали по три-четыре человека от ячейки — всего шестьдесят человек.

После собрания секретарь указал на него:

— Ну, ребята, а вот это ваш бригадир. Вот он стоит, видный такой. Вы должны его слушаться во всем в порядке комсомольской дисциплины, в порядке фронтовой дисциплины, потому что едете вы не играть! И курево, и все прочее тоже требуйте от него!

Ребята осмотрели его с ног до головы и сказали:

— Ладно!

А спустя неделю Латун сказал ему:

— Что же ты себе думаешь? Раздавать папиросы и расхаживать с блокнотом да записывать? Мы думали, ты тут горы ворочать будешь, такой парнище!

Подошел Витька.

— А ну-ка, возьми грабли и развороши сено вот здесь, — предложил он.

А когда Калмон, взглянув на грязные и вспотевшие лица ребят, на разбухшие от мозолей руки, сказал, что ему некогда, что он должен отослать сводки в окружном, ребята отошли от него, и с этого дня в его адрес посыпались колкости и Витькины насмешки. Но сегодня с этим должно быть покончено.

Вошла уборщица, оставила дверь открытой и сказала:

— Едут.

В землянку доносились скрип колес приближающихся арб и мелодия какой-то протяжной песни.

А когда уборщица зажгла круглый, оплетенный проволокой фонарь на столбе, шаги ребят уже послышались на ступеньках.

— Ох, ребята, и наработалась же я! Ни рук, ни ног, ни спины не чувствую, — сказала Манька, сбрасывая платок с каштановых растрепанных волос и садясь на свое место.

— Да, да, — протянула Сонька, шуря черные горячие глаза на фонарь. — Выкрути нашу прекрасную лампу — уж больно светло горит!.. Слушайте, ребята! — продолжала она. — Есть у меня тетка, толстая такая. Когда вымоет пол, начинает голосить: «Ой, мои рученьки, ой, мои ноженьки! Ой, мой позвоночный столб!..» Вот и нам так надо, ха-ха! «Мой позвоночный столб!»

И, обняв столб, она присела рядом с Манькой.

— О, бабы разревелись! — проговорил, входя, Мишка. — Что случилось? Нет, в самом деле, что случилось?

— Ишь забеспокоился, а сам лезет на нары... Даже не умылся...

— Подумаешь, какая важность! Умылся! Лучше поспать. Последний денек! Попробуй целый день подавать снопы на барабан, тогда узнаешь...

Виктор заметил Калмона и подошел к нему, приветливо помахивая рукой:

— А-а! Мое, мое, мое!.. Давай по доброй воле папиросу!

Калмон подал папиросу. И Виктор продолжал дружески, освещая огоньком папиросы свои тонкие ноздри и смешливо приподнятые брови над серыми глазами:

— Стало быть, ответа из окружкома ты все еще не получил? Вот? Человек пишет и пишет как проклятый три недели подряд, а ответа не получает... Однако все это мелочи, не так ли? Главное — писать, а потом отдыхать. Отдыхаем, а?

Калмон закусил верхнюю губу и поглядывал из-под козырька на ребят, собравшихся вокруг него и Витьки.

Манька встала напротив и, причесывая свои каштановые волосы, сказала:

— Володька такой слабосильный паренек, маленький, тощий, а работал, пока не захворал, а ты, такой здоровила, ни черта не делаешь... Володьку вчера Латун отвез в город. Знаешь?

— Он даже не спрашивает, где Латун, где Володька, — заметила Сонька. — Вот они будут в окружкоме и дознаются, в качестве кого тебя сюда посылали — надзирателем или, как и нас, мобилизованным на село...

Ребята столпились вокруг стола, загородили скупой и неровный свет от криво повешенного фонаря и с раздражением поглядывали на Грушевского, прятавшего лицо в тени.

— Не о чем мне с вами разговаривать... Окружком послал меня, перед ним я и отвечаю...

— Нас всех посылал окружком!

— Как это ты не желаешь с нами разговаривать?

— Да, с такими бузотерами, как Витька, я разговаривать не хочу.

— Не пристало тебе? — спросил Витька и обратился к ребятам: — А ну-ка, давайте сейчас устроим собрание! — Он постучал по столу. — Я буду председателем.

Согласны?.. Согласны. Вот, не смейтесь, я покажу вам пролетарскую установку! К порядку!

— Ох, Витька, брось трепаться со своим собранием! Пошел на левый бок. Выспимся лучше... Последний денек... — сонливо проговорил Мишка на верхних нарах.

— Ну, ты там! — крикнул Витька. — Хочешь, сейчас назначу тебя секретарем собрания! Смеешься?.. Именно потому, что это последний денек, нельзя оставлять. В комсомоле торчит этакий балласт — пять пудов человечины, работы от него и на золотник не дожدهшься, а ячейка носится с ним! Если мы сегодня оставим это дело, с ним и дальше носиться будут! Это, по-вашему, пролетарская установка? Да? Тише! Общее закрытое комсомольское собрание считаю открытым! Предлагаю секретарем Мишку Рабиновича. Никто не возражает?.. Нет. А ты там! Давай слезай!

В углу возле дверей собралась группа ребят вокруг десятника Аврома. Ребята кричали все сразу, доказывая Аврому, что он их обманывал, все время неправильно отмечал, сколько кто выработал.

— Восемьсот пудов, говорите вы? Быть не может! Правда, в первый раз в совхозе, мы выработали не больше. Но ведь это с непривычки, впервые принимались за такое дело. А здесь? Здесь мы уже сделали... Позвольте-ка, сколько у здешних рабочих выдает молотилка за день? Полторы тысячи пудов? Ну вот! И мы столько же сделали! И нечего обманывать! Умник какой выискался!

Но Авром твердил свое, прикладывая руку к уху.

— А? Что такое? Полторы тысячи пудов? Дудки! Наши делают тысячу двести, самое большее — тысячу пятьсот пудов, — медленно тянул Авром. — А вы — хи-хи... — заканчивает он коротким смешком, не оставляющим сомнения в том, что ребята работают слабее.

Но Гришку, главного крикуна, это не убедило, он крикнул на всю землянку:

— Эй, Сонька! Сонька, ты сегодня на весах стояла. Сколько мы сегодня обмолотили?

— А что? Авром пришел? Скажи ему, чтоб не обманывал! Я сегодня нарочно считала: тысяча пятьсот — тютелька в тютельку! — ответила Сонька из своего угла.

Ребята с веселым «ага!» налетели на Аврома. Сонька была занята в своем углу. Она, окруженная девочками, держала в руках задущенного мышонка. В землянке

было немало мышей. По ночам они прыгали на нары, вызывая неистовые крики перепуганных девушек.

Теперь они стояли, едва сдерживая отвращение и стараясь не визжать, смотрели на Соньку, которая мышей не боялась. Пойманного мышонка она задушила и держала за длинный хвост.

— Паразита убей! Чего тут брезговать, не понимаю, — сказала Сонька, сморщила нос и пожала плечами.

Она швырнула мышонка в угол и подошла к столу, где Мишка сидел уже в кожанке, накинутаой на грязную рубаху, и искал в кармане карандаш. За столом сидели все. Те, что успели лечь, теперь сидели на нарах, спустив босые ноги.

Авром тоже подошел к столу и спросил, приложив к большому уху руку:

— Закрытое собрание, говорите вы? Значит, мне нельзя присутствовать? Сын у меня партиец, а я сам — нет... Но уж если собрание, то мне хотелось бы парочку слов сказать, если позволите... А потом я уйду.

— Ну как? Разрешим ему? — спросил председатель. — О чем ты хочешь говорить?

— Ну... об... так... вообще...

— Да, вилами он работает лучше, чем языком! — сказал Витька. — Но надо думать, что старик зря слов на ветер не бросает.

— Давай, десятник!

— Ребята недовольны, что я будто бы не все учитываю, что вы сделали... Надо правду сказать, — у Аврома от улыбки исчезли белки глаз, — был такой грех... Но только не со злым умыслом... Бригадиру я давал ежедневно точные сведения, а вам говорил намного меньше, — тогда вы на следующий день делали больше. А сегодня вы действительно сделали все тысячу пятьсот пудов...

— Ага! Ага!

— Ну конечно. Я правду вам говорю. Сегодня ведь последний день. То есть, по правде говоря, мы послали телеграмму, чтоб вас оставили еще дней на пять по крайней мере, потому что нужны вы нам как воздух... Но это мы еще посмотрим. Вы спрашиваете, принесли ли вы нам пользу? Ого! Вас здесь будут помнить долго и после того, как съедят намолоченный вами хлеб! Но есть у вас, ребята, и недостаток, которого, пожалуй, не должно

быть... Я имею в виду дисциплину... Чересчур много ругаетесь, не при девушках будь сказано... Конечно, ребята, я сам бывший извозчик и знаю цену «деликатному» слову... Но среди вас, кажется мне, этого могло бы и не быть. Вот вчера работает один из вас по одну сторону стога, а второй — по другую. Внизу стоят наши работницы, а парни наверху перекликаются: «Гришка!» — «А-у!» — отвечает тот. «Помер Максим!» А тот ответил хоть и складно, в рифму, а только стыдно мне было перед нашими работницами...

Ребята рассмеялись, но Витька их остановил и, положив руку Аврому на плечо, сказал:

— Ты прав, десятник, целиком и полностью! Я и сам ругался! Но вот обещаю: если будем работать завтра, ни одного такого слова не услышишь! Договорились?

И — к секретарю:

— Запиши. Первый вопрос — о дисциплине. Второй — о Грушевском.

Грушевский сел вполоборота к столу, оставив ноги по ту сторону скамейки, и положил перед собой свой бригадирский блокнот, прикрыв его руками, спрятанными в брезентовые рукава.

— Кто просит слова?

Поднялось несколько рук сразу.

— Порядок, товарищи! Всем будет дано слово.

Выступали Рабинович, Гришка, Сонька, Манька и другие. Говорили о том, что Грушевский на первых порах больше всех болтал, что нужно работать, и пугал окружкомом, а оказалось, что сам он ничего не делает. Не захотел даже спать в землянке со всеми ребятами, устроился у десятника, а третьего дня он и вовсе не вышел к молотилкам — уехал верхом на целый день в деревню, черт его знает зачем... Гришка предложил снять его с должности бригадира и выбрать другого. Но Рабинович сказал, что Грушевского назначил окружком и поэтому снять его без окружкома нельзя. Сонька сказала, что Грушевского самого надо немедленно отправить в окружком и нечего с ним цацкаться!..

Потом слово взял опять Витька.

— Кто там рассказывает байки насчет окружкома? Я сам окружком! — сказал он, стукнув себя по груди, и обратился к Грушевскому: — Я сам окружком! И говорю тебе: хочешь работать, как настоящий пролетарий? Тогда

оставайся бригадиром, и блокнот твой останется при тебе. А не хочешь — убирайся вон! Сию минуту вон отсюда! И чтоб я тебя больше не видел!

Витька с силой прижал кулаки к столу, и тени пробежали по его лицу, каждый мускул которого был полон гнева. Успокоившись немного, он сказал Грушевскому, который все еще сидел, опустив голову на руки:

— Твое слово.

Грушевский только чуть приподнял голову и начал своим низким спокойным голосом:

— Вы здесь все меня оскорбляли. Все время оскорбляете... Вы пользуетесь тем, что Грушевский отнесся к вам как товарищ и на другой день не отослал половину ребят в окружком за ваше поведение. Вот сегодня даже беспартийные указывали... Меня окружком назначил руководителем, а вы, значит, выступаете против окружкома? Так поступают комсомольцы? А знаете ли вы, что я бывший шахтер и работы не боюсь? Грушевский завтра же выйдет на работу и покажет вам, что он умеет...

— Почему же ты до сих пор не показал? Ты, шахтер? — шумно перебили ребята.

— Да, знаете, что я от работы не отказываюсь. Так и запишите в протокол: я хочу работать. Но в таком случае выберите другого бригадира...

В землянке стало шумно. С десятков рук поднялось вверх. Думая, кому бы первому предоставить слово, Виктор вдруг увидел у входа Латуна.

— О, Латун! Ребята, Изька вернулся! Иди сюда, Изька! Что слышно?

— Как там Володька?

— В окружкоме был?

Латун подошел к столу и, широко улыбаясь, обвел своими черными глазами собравшихся. Остановился на Калмоне.

— Ах, это вы о нем вопрос обсуждаете? Давно пора взять его в работу... Погодите-ка, дайте отдышаться. Пятнадцать верст от станции на кляче тряся, в темноте, хоть глаз выколи... Нате-ка, закусите!

Он достал из верхнего кармана наган, положил его на стол, потом вытащил кулек с печеньем. Когда ребята поделили печенье, он спросил:

— Вы еще с этим вопросом не покончили? В таком случае моя информация будет потом...

— Нет, нет, давай сразу! Что у нас, торжественное собрание, что ли?

— Ну, тогда слушайте. Прежде всего насчет Володьки: я доставил его домой, теперь он уже в больнице. Все время держалась высокая температура — тридцать девять, сорок, — похоже, что это воспаление легких... Но он выдержит, ничего! Теперь относительно окружкома. Я там расспросил насчет Грушевского. Ничего подобного! Он мобилизован наравне со всеми на работу. Ему только дано право работать по восемь часов в день, а пятый день — выходной. Остальные — работать.

— Это неправда! — воскликнул Грушевский.

— Что неправда? — медленно повернул к нему Латун смеющиеся глаза.

Грушевский молчал.

— И еще — бумага из окружкома, мы остаемся здесь на пять дней. А о Грушевском я тоже хотел сказать, — продолжал Латун, доставая из кармана распоряжение.

Но Грушевский его перебил, он поднялся, красный, с перекосенным лицом.

— Я не позволю! Если вы собираетесь меня учить, то не надо мне всего этого! Вот вам мой комсомольский билет!

Но руку из кармана он вытащил пустую. Отошел от стола, остановился возле столба у дверей.

— Слыхали? Комсомольский билет отдает!..

— Билетом швыряется...

— Шахтером еще называется!..

Шум нарастал.

— От билета отказывается! Видно, легко ему достался...

— Ну, и не видать тебе его как ушей своих...

— Если ты способен на такой поступок из-за нескольких дней работы, то кто же ты такой? — громче всех крикнула Сонька, глядя на Грушевского широко раскрытыми, горячими глазами.

— Конечно! — крикнул Виктор и ударил по столу. — Выбирайте бригадира!

— Правильно! Правильно!

— Другого бригадира выбрать!

— Называйте кандидатуры!

— Виктора! — раздалось несколько голосов. — Уж он даст пролетарскую установку!

Когда руки, поднятые за Витьку, опустились, Латун сказал секретарю:

— Так и запиши — общее закрытое комсомольское собрание постановило: Грушевского за отказ от выполнения возложенной на него работы с должности бригадира снять и отослать в распоряжение окружкома!

Грушевский все еще стоял у дверей. При последних словах Латун он шагнул вперед:

— Грушевского — в распоряжение?.. И — кто? Вы?

Он резко повернулся и толкнул дверь. Она легко вздохнула, закрываясь, а за нею послышался стук упавшей метлы.

— Ушел! — сказал кто-то.

— Ну, и... умер Максим! — проговорил хриплым голосом Витька и рассмеялся. — А теперь мой первый приказ — спать! Уже, наверное, второй час.

— Вот это правильно! — сказал Латун.

— Собрание считаю закрытым!

Через четверть часа слабый свет прикрученного фонаря едва касался свисающих пяток сладко спавших ребят. И только на нижних нарах девушки все еще перешептывались. Но и там старались уснуть, потому что спать оставалось уже недолго.

Через каких-нибудь три часа окна стали литься, и Авром, едва выделяясь из серой мглы, уже стоял посреди землянки и стучал по доскам верхних нар:

— Пора вставать, ребята! Пора... Светает...

Как всегда, первым проснулся Витька — словно и не спал. Натягивая башмаки, повернул взлохмаченную голову к ребятам, которые уже тоже сидели и спросонок лениво почесывали подмышки, и спросил:

— Ну как, ребятки? С охотки спалось?

Через десять минут они уселись на длинные арбы и поехали по тряской дороге к молотилкам. Где-то на полпути их нагнало торопливо поднимавшееся, опаздывающее солнце. Но быстрые кони несли вперед ребят, оглашавших коротко остриженную степь веселой и радостной утренней песней:

Та-ти-ра, гоп ти-ра...

Та-ти-ра, гоп ти-ра!...

ЗОЛОТО

1

Вот уже третий день, как Доба-тощая не выходит из дому, не переступает порога.

Страх перед тем, что у нее будут искать золото, что ее ограбят, все возрастает. В последнее время этот страх не покидает Добу ни на минуту, сторожит у ее изголовья: то скрипнет дверью, то прошуршит под крышей, то ветром ударит в ставень... Точно живое существо, этот страх шагает по дороге от крайней избушки местечка до первого двора деревни и вот останавливается возле Добиного дома посреди тракта.

Доба сидит на высокой остывшей печи в темном углу. Вокруг бродят запахи старых субботних чугунов, опаленной курицы, грязной клетки, в которой томится дряхлый индюк. Доба держит во рту, под языком, чтобы не скоро растаял, кусочек мучнистой карамели и пьет остывший кофе из черного горшка, сжимая его худыми, искривленными пальцами. Взгляд ее больших, черных, слезящихся глаз то и дело обращается к полуоткрытой двери, ведущей в сени. Там, запертый в клетке, с полузакрытыми глазами старца, чутко дремлет индюк, в любую минуту готовый приоткрыть узенькие щелочки. Это совсем не тот индюк, что был три года назад, когда Доба принесла его с базара и посадила в эту клетку, — он вылинял, поблек, и нитка красных бус у шеи бледнеет с каждым днем.

Сейчас Добе кажется, что индюку тоже страшно. Он то и дело встает на свои тощие и грязные ноги, покрытые чешуей, царапает когтями грязную клетку и вдруг кричит, совсем как в доброе старое время:

— Олдр-олдр!

Доба вздрагивает.

— Что это его там разбирает? — ворчит она и свисает с печи так, что едва не касается длинной седой прядью золы на припечке.

— Олдр-олдр! — снова кричит индюк.

Доба отставила горшок с кофе и прикрыла его тряпкой. Из-за редких пожелтевших зубов вынула остаток карамельки, завернула в бумажку и спрятала в карман передника. Потом она осторожно слезла с печки, упираясь рукой в потолок, и, путаясь в залатанной юбке, вышла в сени.

— Олдр-олдр! — раскричался индюк, очевидно полагая, что хозяйка принесла ему поесть.

Из верхнего узенького окошка над клеткой тянулась бледная полоска света, еле пробиваясь сквозь паутину и мутные стекла.

Доба наклонила голову набок, подперла рукой запавшую, морщинистую щеку с волосатой бородавкой и проговорила, обращаясь к индюку:

— Провались ты! Ешь то, что под ногами...

Индюк глянул на Добу круглым глазом, тоже наклонил голову, будто хотел сказать: «Оба мы с тобой мытаримся... И чем это все кончится?»

Доба успокоилась и пошла из сеней обратно к печке, но тут дверь, не привыкшая, чтобы ее часто отворяли, вдруг запела ржавым голосом. Встрепенулся индюк, вздрогнула и Доба.

— Кто там?

В дверях стоял невысокий старик с длинной курчавой бородой и из-под нависших бровей острым взглядом шарил по избе.

— Помоги бог! — произнес он хрипло.

Одна бровь у него была выше другой, и казалось, что глаза глядят в разные стороны, так, что ничего от них не укроется.

Доба съежилась от этого взгляда, замызганная юбка и рваная кофта, из-под которой торчали пучки подкладки, обвисли на ней еще больше.

Она хотела уже сказать: «Идите, идите... Мне нечего подать... Носит вас нелегкая...»

— Вы меня не узнаете? — обиженно проговорил вошедший и уставился на нее одним глазом, в то время как другой смотрел на индюка.

— Смотрите, пожалуйста! Лейви-Герш? — удивилась Доба. Хотя она его узнала, голос ее оставался холодным и чужим. — Гость... Давно не видала...

С минуту они смотрели друг на друга, наконец Доба сказала:

— Вы, наверное, думаете, что для вас есть работа? Нет, Лейви-Герш, не те времена... Нечего резать...

— Да, не те... Где там резать, что резать? Разве что свиней в этом колхозе...

Лейви-Герш вздохнул, провел рукой по бороде и поставил на пол корзинку, прикрытую тряпицей. Выждал минуту, думая, что его пригласят войти. Но Доба молчала. Лейви-Герш постоял, переминаясь с ноги на ногу, и сказал громче:

— Где оно, Доба, где то время, когда я у вас резал жирных кур и откормленных гусей к осенним праздникам?

Лейви-Герш метнул взгляд на клетку. Индюк, словно что-то предчувствуя, попытался отозваться, но, видимо, сил у него не хватило, и он улегся, прикрыв глаза.

— Хорош я стал, не правда ли, Доба? — сказал Лейви-Герш. — Да и вы тоже... Скажу вам правду: когда-то говорили о вас в местечке, что вы красивая. Шутка ли — мануфактурщица Доба... Красавица! Так говорили о вас... Мне, конечно, тогда на вас и смотреть не полагалось... Ну что такое резник?.. А сейчас, я вижу, вы выглядите неважно.

Доба не любила, чтобы ей напоминали о прошлом, она сторонилась людей, которые помнили о том, что она была местечковой богачихой, имела лавку «красного товара», бакалейную лавку и заезжий двор. А сейчас ее звали «Доба-тощая».

— Что у вас в корзинке? — спросила она.

Лейви-Герш огляделся по сторонам.

— Пара белья из мадаполама. Шелковые чулки, есть и простые. Отрез сукна. Дети, дай им бог здоровья, присылают мне из Ленинграда. По талонам это там дешевле...

— Значит, живете кое-как? Все-таки мужчина...

— Думаете, я зарабатываю? Боюсь... Э...

Снова заскрипела дверь. Лейви-Герш, собиравшийся развязать корзинку, насторожился.

Вошел младший сын Добы, двадцатичетырехлетний Исосхор, единственный сын, оставшийся с ней. На пороге он низко наклонился, а когда расправил плечи, чуть не достал головой до потолка. Взглянул насмешливо на гостя и проговорил басом:

— О-о, Лейви-Герш? Хорошо, что вы здесь.

— А что такое? — Лейви-Герш стал боком двигаться к дверям.

— Не удирайте, погодите минуточку. Резак при вас?

— А что такое?

— Я имею в виду большой, не тот, что для голубей...

— А если большой, так что?

— Тогда вы сейчас зарежете этого вонючего индюка.

Доба бросилась к клетке и заслонила ее, раскинув руки:

— Злодей!

Исосхор мгновение смотрел на нее, ничего не говоря. Затем сжал кулаки, на вспотевшем лбу, на шее вздулись темно-синие жилы. Он крикнул:

— Мне нужны деньги, мамаша!

Лейви-Герш забрался в угол у дверей со своей корзинкой, готовый удрать в любую минуту. Доба метнула на сына колючий взгляд, но обратилась не к нему, а к Лейви-Гершу:

— Думаете, он у меня живет? Раньше таскался по улицам с ворами, а теперь решил осчастливить колхоз...

Она повернулась к сыну:

— Мало тебе дают?

Исосхор еле сдерживался.

— Всегда была скупердяйкой. Прячешь, да?

— Вон! — крикнула Доба, потрясая кулаками.

Но слова у Исосхора уже летели, как искры из костра:

— Я весь дом разберу! Разнесу эту мерзость! Гниешь вместе со своим золотом!

Он ударил жилистым кулаком по грязной клетке.

— К черту! К черту этого индюка! Что он тебе, отец или муж? Сидит тут над кошельком с золотом... Еще посмотрим!..

— Это с матерью так... — чуть не задохнулась Доба, обернулась к Лейви-Гершу, но только махнула рукой.

— Мать? Где у меня мать? — проговорил Исосхор. — Не ты ли всегда гнала меня из дома?

Он поднял кулак к морщинистому лицу старухи, повернулся и вышел, хлопнув дверью так, что корытце в клетке подскочило и вода из него пролилась. Индюк встал, сердито надулся и снова упал, издав при этом какой-то странный звук.

Перепуганная Доба с минуту стояла молча.

— Слыхали?

Лейви-Герш вытер пот со лба.

— Я его помню, еще когда ему было лет тринадцать, то есть когда вы еще жили в местечке. Особенной радости он и тогда вам не доставлял...

— Пока было что тащить из дома, я была матерью, и он мог транжирить... А сейчас...

— Слышал... слышал... — отозвался Лейви-Герш и направился к выходу.

Доба его остановила:

— А что вы такое слышали? Что вы думаете?

Она забежала вперед и, сощурившись, посмотрела ему в лицо.

— Слышал все, что он говорил. Не глухой же я.

— Слышали? Можно и в самом деле подумать, что у меня золото валяется... Парень с ума сошел. Бедная его мать! Вы разве не видите, что он тронутый?... Золото какое-то... Он и сам не знает, что говорит! Разве разумное дитя так обходится с матерью? Скажите вы, Лейви-Герш!

Она подняла передник к мокрым глазам, ее плечи, седая голова тряслись.

— Помнят еще обо мне в местечке? Говорят о Добе? — вдруг спросила она.

— Ну конечно, говорят...

— Говорят? Наверное, думают, что у меня еще кое-что сохранилось? Разве не ходят такие слухи?

— Ходят или не ходят... Говорят... Мало ли о чем люди судачат... Стану я слушать все, что говорят!.. Недавно встречает меня один человек — не могу вам назвать его имени, но очень порядочный человек — и спрашивает, не знаю ли я, где можно достать золотые пятирублевки. Теперь этого нигде не достать. Если и были у кого, так либо их отобрали, либо сами давно уже снесли в Торгсин. На прошлой неделе в местечке забрали последнюю пятерку. Они говорят, что на эти деньги строят заводы... К чему я вам это рассказываю?.. Зачем я за-

шел, хотите знать? Я бы, конечно, не зашел, если бы Исосхор не говорил мне, что вы хотите зарезать индюка. Дело в том, что Исосхор, как только встречает меня, говорит: «Мать велела, чтобы вы пришли зарезать индюка...» А когда меня приглашают резать, я всегда беру с собой корзинку. То есть, разумеется, если увидят, что я торгую, то по головке не погладят. Но если догадаются, что я хочу резать, то и вовсе стыдно будет людям на глаза показываться. Резник, что такое резник? Хотя, с другой стороны, а что же мне делать? Идти в колхоз? С ума я сошел, что ли? Так я думал, что вы хотите зарезать индюка, но я уже слышал... Подумайте, однако, о том, что я вам говорил. Уж раз я пришел, не надо ли вам отрез сукна на юбку? Ленинградское сукно. Это, конечно, не то сукно, которое когда-то было у вас в лавке... Нет, у Лейви-Герша нет ни гроша за душой. Сами видите, в чем я хожу...

Когда Лейви-Герш подошел к двери, она опять его остановила:

- Хочу вас попросить, Лейви-Герш...
- Для вас, Доба, с удовольствием.
- Прошу вас, не рассказывайте никому...

2

Прошло несколько недель. Один раз за это время проснулся среди ночи индюк, тревожно закричал. Доба испугалась, вышла в сени, но там никого не было.

Исосхор уехал в город. Она давно его не видела.

Тем временем избушка Добы совсем накренилась. Несколько лет назад Доба купила ее у одного крестьянина, получившего этот домишко по наследству от матери. Крестьянин был не здешний и собирался разобрать избу, тем более что она уже свое отслужила. Тут ее и откупила Доба.

Изба стояла на тракте, ведущем к деревне, в которой и был организован большой колхоз.

Забор вокруг избы давно уже завалился. Между досками буйно разрослась крапива, достигавшая ободранной крыши. Во дворе все дорожки заросли лопухами и травой. Из углов выглядывали кусты колючего репейника. Перед домом росла кривая дикая яблоня, положив на

крышу одну свою засохшую ветвь; по обе ее стороны слепыми глазами глядели закрытые ставни.

Тусклый, неровный свет скользил по стенам комнаты, перебегал с одной фотографии на другую. На одной фотографии Доба и ее муж. У нее на высокой груди медальон, волосы взбиты, лицо усталое. У мужа подстриженная борода, подкрученные усы, по жилету цепочка. Паук затянул фотографию серой сетью, полной дохлых мух. На окне сиротливо стояла треснувшая фарфоровая лампа. На голом столе чадила коптилка из аптекарского пузырька с жестянкой. Рядом лежала холодная, недоеденная, круто посоленная картофелина, стоял черный горшок из-под кофе.

Доба, скрючившись, сидела в углу на кровати. Она бормотала что-то, глядя в одну точку на стене. В паутине едва шевелила лапками муха. Из-за ставен доносился лай собак, он то стихал, то снова становился громче. Огонек коптилки замигал — кончился керосин. Тень от крюка, торчавшего посреди потолка, начала метаться в разные стороны, то вытягиваясь, то сжимаясь. Доба погасила огонь и прислушалась. Под ставней билась о стекло бабочка. В сенях индюк крикнул со сна не своим голосом. Доба достала из-под слежавшейся постели глиняную лепешку, положила ее на костлявые колени и привычными движениями нащупала круглые впадинки.

— Восемь, девять, десять... — медленно считала она.

Еще в ту пору, когда купила индюка, Доба замесила песок с глиной и, пока масса не засохла, вдавила с обеих сторон все свои золотые пятирублевые монеты. Потом вынула и запрятала их в разных местах — в грязь под индюком, под потолком, возле крюка... Часто она так доставала засохшую глиняную лепешку, тощими пальцами ощупывала оттиски...

Тяжело, как будто она весит много пудов, Доба переворачивает лепешку на другую сторону, вздыхает. Пятирублевки, отпечатанные на этой стороне, имеют свою историю, которую Доба не может вспоминать без боли.

В деревне, там, где сейчас колхоз, брат Добы Зайвл много лет имел свою мельницу, усадьбу и большой красивый дом. Назло местным кулакам, этот дом с зелеными ставнями стоял посреди деревни, рядом с церковью. Однажды в конце субботы Доба приехала к Зайвлу. Жила она хоть недалеко, но гостей была редкой. На этот раз

ее застигла ночь, и Доба осталась ночевать у брата. Она помнит, как сейчас, — все спали, и она влезла на чердак. Неподалеку от трубы на веревке сохла конская шкура. В этом месте она и зарыла шерстяной чулок, набитый золотыми пятерками...

Вскоре после этого в селе организовали колхоз. Зайв-ла со всей его семьей выселили. Окна красивого дома за-колотили досками — дом стал хлебным амбаром...

Об этом и думает сейчас, сидя на кровати, Доба. Об этом она может думать целые ночи напролет. «Как до-стать оттуда заветный чулок?»

Если бы она его достала, она бы вложила туда осталь-ные пятирублевки и уехала отсюда. Куда? Куда глаза глядят, лишь бы не оставаться здесь, в этой западне, где нельзя даже высунуть голову... Но без этого шерстяного чулка, о котором, кроме Зайв-ла, не знает ни одна душа, она не может тронуться с места...

3

Рассвет разорвал и разметал серые клочья тумана. По одну сторону дороги уходят вдаль ровные, лишь кое-где холмистые поля, по другую сторону поднимается частый лесок. Молодые дубы попеременно со светло-зелеными кустами орешника стоят среди высоких сосен. Кое-где тя-нутся вверх тонкие березы с кудрявыми вершинами. У ле-са — опушка с низко подрубленными пнями.

Кряхтя, Доба осторожно приоткрыла криво висевшую ставню, посмотрела на дорогу, которая, огибая ее дом, упиралась прямо в амбар рядом с церковью. Церковь вы-силась посреди села двумя пузатыми куполами без кре-стов. За ней над сельским клубом трепетал на ветру крас-ный флаг. Доба разглядывала заколоченные окна амба-ра, двор, старую акацию, которая там росла. С ветвей дерева поднимались черные стаи ворон и садились на крышу амбара, сгоняя оттуда голубей, которые спокойно ворковали возле трубы. Голуби взмывали кверху и исче-зали белоснежными комочками. Вороны бегали по двору, выхватывали у кур рассыпанные зерна, садились на спи-ны кабана и коровы, разгуливавших здесь же, на телегу, стоявшую с опущенным дышлом возле дверей амбара.

— Слава богу, устроили... — бормотала Доба, обли-
зывая сухие губы и глядя на амбар. — Во что они его пре-
вратили, дом Зайвля...

Шлепая опорками, она подошла к индюку.

— Слава богу, — произнесла она, постукивая по клет-
ке. Налила воды в корытце и проворчала: — Отныне спа-
си, господи, и помилуй...

— Олдр-олдр, — едва слышно отозвался индюк, зака-
тив круглый глаз, глотнул воды.

Двух вещей больше всего боялась Доба: чтоб не подох
индюк и не сгорел амбар. Она слыхала: случается, что
в колхозах кулаки поджигают амбары...

«Вот если б так было, — думала она, — чтобы вдруг
вспыхнул пожар и охватил все село, весь колхоз. Чтоб
сгорели дотла все дома, и люди, и кони, и коровы — все,
до цыплят и наседок... И чтобы только амбар уцелел».

Вечером, перед тем, как закрыть ставни на ночь, Доба
снова стояла у окна.

Солнце погружалось в пламенеющее зарево за селом.
Все небо было охвачено багровым огнем, так что флаг над
сельским клубом был едва заметен. Черными точками ка-
зались вороны, сидевшие на ветвях акаций.

Во дворе у амбара стали собираться люди. Их стано-
вилось все больше и больше. Приехал на машине пред-
ставитель из района. Он вышел, и его окружили со всех
сторон. Люди о чем-то говорили, жестикулировали. Ско-
ро машина укатила. Люди во дворе долго еще разгова-
ривали, потом стали расходиться. Возле амбара смени-
лись сторожа. Двор опустел.

Доба все еще стояла у окна. Небо стало синеть. Доро-
гу уже поглотила тьма. Привыкшие к темноте глаза Добы
различали темный силуэт сторожа у амбара.

— Они думают, что сторожат свое, а они сторожат
мое! Болячка им... — проговорила Доба и прикрыла
ставню.

4

А в это время там, где вербы склонились над водой,
сидели Исосхор и Дворця.

Под ногами у них был сбитый из досочек мостик.
Одна досочка сломалась посередине и упала в воду.
В узкую щель гляделась луна.

Дворця пыталась выдернуть руку из цепких пальцев Исосхора.

— Ну как, Дворця, помиримся? А? — Исосхор улыбался. У него был вид человека, который хочет сообщить необычную новость.

Дворця не шевельнулась.

— Ну, хватит! Посмотри хоть на меня...

Она подняла свое продолговатое загорелое лицо с зелеными, чуть навывкате глазами. Глаза под тонкими нахмуренными бровями были сейчас сердиты. Но все же в них то и дело, словно рыбка в прозрачной воде, мелькала озорная усмешка.

— Улыбнешься ты мне сегодня? — спросил Исосхор.

Она не выдержала, уголки рта раздвинулись сами собой, обнажив два ряда ровных зубов.

— Вот так ты славная девушка! — сказал он и обнял ее.

Дворця теребила бахрому платка на коленях и словно не замечала руки Исосхора на своем плече.

— Что-то мне не по душе, Исосхор...

— Что? — тихо рассмеялся он.

— С этим золотом... Когда речь заходит о золоте, ты кажешься вроде твоей матери... Не знаю, что-то не нравится мне...

— Чего же ты хочешь?

Она взглянула на него.

— Не люблю я, когда ты прикидываешься...

— А я не люблю, когда ты говоришь мне не знаю что...

— Ну, может, я и сама не знаю... Это золото... Не нравится мне это... Уж я тебе говорила...

— Это все?

— Да, Исосхор. Сколько я ни думаю, мне кажется, надо было бы его отдать... Ну, ты понимаешь, кто я такая? Вот скажи...

— Ты красивая девушка, Дворця. Мне бы такую на всю жизнь.

— Не мѣрочь голову! Я не об этом... А кто твоя мать?

— Злая индюшка! Такую бы жизнь моим врагам...

— А ты кто такой?

— Красивый, славный парень! Дай нам бог обоим такую жизнь, Дворця!

— Нет, не то. Я в колхозе ударница, бригадир...

— Будешь меня агитировать?
— Я хочу понять...
— А я уже понял, Дворця... Тебе нужен не я, тебе нужно золото...

— Мне?!

— Все равно... Если ты так говоришь, значит, не любишь. Что ж, как хочешь... Есть еще девушки...

Она подняла голову и тихо проговорила:

— Я тебя люблю. Но я хочу, чтобы ты был... такой, как есть, но только немножко другой...

Она заглянула в его глаза. Она знала: всегда дикие, грубо-насмешливые, они становились покорными и нежными, когда он глядел на нее; они словно удивлялись собственной покорности и нежности. Она положила руку ему на плечо, и он тут же прижал ее к себе с невероятной силой.

— Дворця!

— Что?

— Покончено с этим, Дворця!

— С чем?

— У старухи нет больше золота...

— Как это так?

— Но ведь ты так хотела?

— Так я не хотела, Исосхор...

— Не все ли тебе равно? Лишь бы все было хорошо.

— Для этого ты ездил в город?

— Да, Дворця. Я нарочно тебе заранее не говорил. Хотел тебя сразу обрадовать...

— Но ты отнес его, куда я говорила?

— Послушай, сейчас расскажу, как это было. Прихожу и говорю им: «Нате вам золото!» Они на меня смотрят, а я продолжаю: «Берите все, что лежит под индюком и под потолком. Никому пользы от него не было. Сам-то я, пожалуй, этого бы не сделал, — так я им сказал, — но этого хотела Дворця» — «Какая такая Дворця?!» — «Дворця, говорю, ударница, бригадир. Дворця мне дороже золота...»

— Так и сказал? — разразилась она смехом.

— Так я хотел сказать, Дворця... Слушай дальше... Самое интересное дальше. Я зашел в Торгсин, — это тут же, рядом с вокзалом. Встретил одного человека в очках, такого солидного. Разговорились о том о сем...

— Ну?

— Словом, что тут долго говорить, Дворця! Нам сейчас на всех наплевать, Дворця ..

— Что-то ты болтаешь

— Дворця, уедем отсюда вдвоем, купим себе квартиру.

— А какой болван тебе сказал, что я хочу уехать отсюда, да еще с тобой?

— Если я так хочу, то и ты хочешь, — и кончено!

— Я хочу знать: ты не отдал золото?

— Говорю же я тебе...

— Ну?

— Тот, что в очках...

— Кто это такой?

— Думаешь, жулик? Наоборот, очень порядочный человек. Думаешь, он меня обманул? Исосхора не обманешь! Может, я его еще обдурил... Смотри!

Он вытащил пачку денег и помахал ею перед ее глазами.

— У меня еще есть!

Он бросил пачку ей на колени. Дворця вздрогнула. Она скинула деньги на мостик, вскочила с места, побежала. Через минуту ее уже не было видно. Исосхор начал собирать с земли деньги, совать их в карманы. Две бумажки упали в воду. Он засучил рукава, лег на мостик и долго искал их в темноте под склоненными вербами.

5

Исосхора и след простыл. Он словно в воду канул.

Впервые за много лет Доба надела зеленую, с толстой бахромой шаль. Надежными засовами заперла ставни изнутри, залезла под печку, достала из кучи хлама два ржавых замка. Третий замок, со связкой длинных ключей, висел на кухне на гвозде, белом от присохшей известки. Ржавые длинные ключи, казалось, хранили память о мануфактурной лавке, о богатом бакалейном магазине, о просторном заезжем дворе с полутемными комнатушками.

Доба со связкой ключей и с замками в руках остановилась на минуту в сенях перед клеткой, проворчала:

— Скоро подохнет. Толку от него...

И вышла.

Несколько раз она осмотрела снаружи ставни, замки, взглянула на дикую яблоню, как бы стараясь ее запомнить, и, опираясь на палку, отправилась в деревню, к Дворце, — узнать, куда девался Исосхор.

Но Дворца работала в поле. От ее матери Доба узнала, что дочь поссорилась с Исосхором.

— Разве вы ничего не слышали? — сказала старуха, с удивлением глядя на Добу. — Все об этом говорят. Никто не знает, откуда у него взялись такие деньги. Ведь он уже третью неделю гуляет в городе...

Но Доба уже не слушала. Она бежала, низко наклонив голову, чтобы никто ее не остановил, не задержал, бежала домой. У околицы навстречу выбежала ватага босых ребятишек. Они кричали, строили рожи:

— Доба-тощая! Тощая Доба!

Доба нагнулась, подняла камень, швырнула его в ребят, побежала дальше. Юбка то вздувалась, то колотила ее по ногам. Вот и дом. Ржавые ключи визжали, не поворачивались. Наконец она в сених. В клетке дремал индюк. Здесь все было в порядке.

Доба вошла в комнату, посмотрела на крюк на потолке и чуть не лишилась чувств. Глина вокруг крюка осыпалась, видно, уже давно... Она взобралась на стол и стала ковырять ножом потолок. Сухая глина падала на плечи, на ноги — она не замечала... Вот и то отверстие, но оно было пусто! Доба дико закричала. Выпавший из рук нож воткнулся острием в стол. Доба сорвала с головы шаль, платок, чепец, с рассыпавшимися волосами бросилась в сени, вырвала из засохшей грязи клетку с индюком и отшвырнула ее в сторону, а сама, упав на колени, стала ногтями разрывать и разбрасывать во все стороны грязную землю. Докопалась до ямки, но и она была пуста... Доба вспомнила, как в ту ночь индюк кричал не своим голосом, — сразу же после этого уехал Исосхор...

Она упала без чувств, головой в грязь.

Очнувшись, Доба увидела индюка. Он направлялся к двери. Видимо, когда отшвырнула клетку, вылетели две дощечки, и индюк вышел на свободу. Доба приподнялась и ухватила его за потрепанный хвост. Но индюк, почуввав свободу, уперся. Доба очень ослабела. Он вырывался у нее из рук и тащил ее во двор. Там она наконец выпустила индюка. В щели забора она вдруг увидела детские глаза, — видно, дети бежали за ней до самого дома.

— Чего смотрите, а? Вы все еще раньше Добы подохнете... все!

Глаза тут же исчезли.

Доба стояла одна во дворе, под дикой яблоней. Индюк, увидев, что о нем забыли, улегся на пороге и прикрыл глаза.

6

Доба шла медленно, тихо. Только подол юбки шуршал по земле, и шорох этот был не громче шороха листьев в рощице, мимо которой она шла. Подвязанные опорки шлепали по земле. Одной рукой Доба придерживала шаль под подбородком, в другой руке у нее была палка. Небо обложили низко нависшие тучи. Лишь кое-где в разрывах блестели далекие, холодные звезды.

Доба подошла к амбару. Он, как и все вокруг, был погружен в сон. Возле него, как дремлющий сторож, чуть-чуть покачивалась акация.

Доба передвигалась вдоль стены, держась за нее руками, то и дело припадая к ней всем телом. Сонная ворона слетела с ветки. Ветка долго качалась, потом опять все стало тихо. Доба нащупала лестницу, взмахнула руками и наткнулась на перекладины...

Не прошло и минуты как она была наверху. Там она нашарила отставшую доску. Комок подкатил к горлу, она еле удержалась на лестнице. Собрав последние силы, Доба пролезла на чердак. Она почувствовала запах сушившихся здесь когда-то табачных листьев, конских шкур и дыма. Что-то крошилось и осыпалось под ногами. Согнувшись, Доба ползла вперед на четвереньках, шаря руками. Юбка задела за что-то острое и разорвалась. Доба изо всех сил закусил губу. Достала спички. Огонек вздрогнул, заколебался, но все же разгорелся синевато-красным острым язычком. Теперь Доба видела справа печную трубу, над головой были протянуты веревки. Она подобрала и зажгла длинную щепку, подошла к трубе и опустилась на колени. Снова к горлу подкатил комок. Искривленными пальцами она разгребала набросанные здесь кукурузные початки, стебли, щепки, сгнившие листья. Нет, это не то. Надо по ту сторону трубы... Но и там нет. С ума, что ли, сошла? Вон здесь, в углу... Как раз на этой веревке сушилась тогда шкура... Доба

стояла неподвижно. Щепка все еще горела. Пробежала мышь, — внизу, наверное, хранился хлеб. Доба разрыла мусор и добралась до ямки.

Здесь!

Она опустила в ямку дрожащие пальцы, пошарила и вдруг нащупала чулок, в котором было спрятано золото... Вот оно! Битком набито!.. Она вытащила руку, в другой держала горевшую щепку... На ладони у нее лежала дохлая крыса с отъеденной головой.

«Зайвлева работа, — мелькнуло у нее в голове. — Родной брат... Кроме Зайвля, ни одна живая душа не знала об этом...»

Горевшая щепка выпала из рук на сухие стебли и листья. Доба лишилась чувств.

7

Тревожно звонили колокола на колхозном дворе. Далекое зарево вздымалось вверх над домами и огородами, доходило до леса, выхватывало из темноты белые стволы берез. Перепуганная белка прыгала с одной вершины на другую, кричали ослепшие совы.

В ярко освещенном небе, отчаянно каркая, носилась стая ворон, собаки выли в подворотнях, бегали с красными глазами, высунув языки, деловито помахивая хвостами. Слепой старик стоял в луже посреди улицы, ярко освещенной пламенем пожара. Он топтался на одном месте, тыкая палкой, вертел головой во все стороны:

— Где горит?

— Хлеб горит!

— Амбар! — хрипло кричал колхозник, бегавший от дома к дому и будивший крестьян.

Отворялись двери, выбегали полураздетые люди с вилами и топорами, с лопатами, с ведрами.

— Кто мог поджечь?

— Раздумывать некогда!

— Наш хлеб горит! Наше золото!.. — кричал рослый, широкоплечий парень с растрепанными волосами, указывая на амбар. — Золото... Труд наш горит!..

— Наш хлеб!

Знали одно: надо снять крышу, покуда огонь не пошел вниз. Надо спасти хлеб в амбаре. Во дворе было пол-

но народу. Ржали наспех запряженные лошади, мычали телята, визжали свиньи, огонь трещал, стрелял искрами, гремели подъезжавшие и отъезжавшие подводы с бочками воды.

На одной из них примчалась Дворця, энергично нахлестывая лошадей. Наверху в пламени и клубах дыма колхозники с топорами в руках боролись с пожаром.

Вдруг пламя охватило старую акацию. Она раскачивалась, словно желая увернуться от огня, ветви ее почернели. Огонь захватил гнездо, из которого высунулись два голошеих птенца. Писка их не было слышно, видно было только, как они быстро и широко раскрывают клювики. Вокруг гнезда отчаянно вились самец и самка. Огонь как бы поднимал их кверху на горячих волнах. Вдруг одна из птиц ринулась вниз, за ней — другая, обе скрылись в дыму. Через минуту они вылетели из пламени, держа в клювах птенчика.

— Воду давайте! — кричали колхозники на крыше.

— Лестницы!

— Потолок обмазанный! Выдержит!

Широкие струи воды беспрестанно били из брезентовых рукавов. Ведра и ушаты переходили из рук в руки, выплескивались одно за другим. Бочки подъезжали и отъезжали. Раскаленными топорами люди разбивали крышу.

Когда крышу разобрали — потолок остался цел, зерно почти не было повреждено, — возле развалившейся печной трубы нашли обгоревшее, залитое водой тело женщины. Неподалеку от тела валялась тлеющая крыса...



СЫЗНОВА

1

Семь дней в ярком пламени утренней зари всходило солнце. Сейчас оно медленно опускается за голубоватую полосу дальней рощи. В этот тихий вечерний час воздух полон настоявшейся синевы. Леса и перелески то приникают к самому вагонному стеклу, то убегают в сторону. Прносятся мимо окон селения. Иногда промелькнет речка и затеряется в набегающих кустах. Внушительно грохочут железнодорожные мосты. В немолчный говор вагонных колес вдруг врывается короткий озорной свисток и тут же тает в бескрайних просторах.

Кеслер, высокий, плотный человек с седеющей шевелюрой, опирается на раму приоткрытого окна. Ветер треплет его волосы, то и дело хлопает серебристыми прядями по широкому лбу и глазам в мелких морщинах. Между пальцами дымится папираса. В полуоткрытых купе, в которых едут из Крыма пионеры, беспрестанно поют песни.

Вот уже несколько месяцев американец Кеслер разъезжает по Советскому Союзу с ощущением человека, который никак не может понять, кто кого обманул. Приехал он из Америки с намерением чему-то здесь научиться, но вот уже несколько месяцев он разъезжает и не решается подвести итоги.

Кеслер уехал в Америку за несколько лет до мировой войны. Там на одном из предприятий он встретил милую девушку Дженни. Он излил перед ней душу и показал пару тетрадок, исписанных еще в России. Там их не печатали. Девушке понравились и Кеслер и его тетради. И все написанное в этих тетрадках приобрело тогда отсвет тихих серых глаз Дженни, ласковость ее рабочих

рук. Дженни захотелось, чтобы он писал, писал как можно больше. Она заставила его бросить фабрику. Сама она неплохо зарабатывала, детей у них не было, а со временем она стала первоклассной закройщицей в большом магазине на одной из авеню.

У Кеслера появились манеры человека, которому некуда спешить. Он не торопился печататься, не искал встреч с редакторами. Он приходил в кафе «Рояль» или «Юроп», где собирались писатели, но и там не любил говорить о своей работе. Его хлеб насущный от этого не зависел. В Америке это явление очень редкое. Поэтому на него стали смотреть как на человека, пользующегося особым положением. И у самого Кеслера постепенно сложилось о себе мнение как о человеке не совсем обыкновенном. Он стал держаться еще увереннее.

Кроме писателей его окружали друзья Дженни, ее жизнь, ее интересы. Дженни создала ему уютный домашний очаг и, главное, атмосферу почтительного отношения к его писательской работе. Дженни была счастлива: она, его жена, первая открыла его талант.

Но после того, как весть об Октябрьской революции дошла до рабочих Америки, у Дженни появились новые друзья, они часто приходили к ней и в отношении ее мужа вели себя так, будто он и не был крупным писателем. Впрочем, он понимал это так: они люди трудовые, занятые забастовками, жизнь у них невеселая, им не до писателей.

Так прошло немало лет. Но вот настало время единого народного фронта. Дженни, никогда не интересовавшаяся отношением мужа к политике, вдруг начала таскать его на собрания и митинги. Оказалось, что большинство рабочих относится чрезвычайно холодно ко всему, что пишет Кеслер. Это его задело. И больше всего задело то, что Дженни, как ему казалось, становится равнодушной к его работе. Не закрадывается ли у нее мысль, что она зря связала с ним свою жизнь? Вообще что все это значит? Сколько лет он был писателем для всех, — и вдруг оказалось, что есть люди, которым нужны другие писатели, другие сюжеты, другие темы... Откуда у них такие требования? Неужели все это идет оттуда, из Советской России? В таком случае надо посмотреть на эту страну, на ее людей. Как полагает Дженни? Дженни уже давно

мечтает об этом! Со всем энтузиазмом прошлых лет она собирала его в дорогу...

И вот уже несколько месяцев он разъезжает по городам и стройкам Советского Союза. Он чувствует себя как во времена банкротства, но он все еще не знает, кто обанкротился.

На зеленовато-голубом фоне мелькают сосны.

— Это не сосны, это пихты, правда? — услышал Кеслер рядом женский голос.

Сбоку, у окна, стояла высокая женщина с копной черных волос, жена командира, едущего с ним в одном купе.

— Да, — ответил Кеслер, — пихты...

И только тогда он заметил, что женщина обратилась не к нему, а к своему мужу.

Он вдруг почувствовал себя одиноким, стало тоскливо. Может быть, ему вообще не следовало ехать сюда? Там, в Америке, все же были люди, которые читали его книги и уважали его, хотя Дженни и относила их к мелкой буржуазии.

Ему показалось, что сразу же по приезде он напишет значительное, правдивое произведение об этой стране. Он несколько раз принимался за перо, но каждый раз приходил к выводу, что все, что он напишет, будет интересно только тем, кого Дженни относит к мелкой буржуазии, а не ее друзьям и тем более не русским. Что он знает о них?

Вот едет с ним в одном купе командир, с которым он разговаривает каждый день. Этот человек столько видел и пережил: был партизаном, потом строителем, сейчас опять командир. Что же он, Кеслер, может рассказать ему о его жизни? Или взять сорокалетнего инженера из соседнего купе, который едет строить мосты. Казалось бы, обыкновенный человек. А ведь у него богатейший опыт, он бывал в командировках в Германии, Англии и Америке, прекрасно знает свое дело, а в детстве был где-то в этих местах пастухом. Он знает классическую литературу, влюблен в Пушкина. Даже пионеры, которые едут в этом вагоне, кажется Кеслеру, не такие, как дети других стран. Кеслер писал и для детей. Но что он мог бы рассказать этим детям об их жизни и об их стране?

На повороте поезд выгнулся дугой, показывая закутаный дымом паровоз. У открытых окон стояли пассажиры. Подъезжали к станции. В вагоне был полумрак,

света еще не зажигали. Следя за людьми, которых он, казалось, изучил за семь суток, проведенных в поезде, Кеслер представил себе, что читает им кое-что из своих сочинений. Что же могло бы их заинтересовать? Он писал об американцах среднего достатка, о еврейских полунинтеллигентах, которые ведут в Нью-Йорке холостяцкий образ жизни и собирают коллекции галстуков, о женщинах второй молодости, о своих путешествиях по другим странам... Но что до всего этого его нынешним спутникам?

— Ну-с, гражданин американский писатель, попрощаемся! — услышал Кеслер и обернулся. В кожаном пальто, с чемоданом в руке, стоял инженер. Его глаза смотрели с насмешливым сочувствием.

— Вот здесь, неподалеку отсюда, я буду строить мосты.

Инженер посмотрел на носки своих ботинок, подумал немного, потом снова взглянул на американца и добавил:

— Построить в нашей стране хороший мост — все равно что помолодеть. Не правда ли, это прекрасное дело?

И, больше не оглядываясь, пошел к выходу. Поезд задержался на одну минуту, оставил несколько человек на этой заброшенной станции и отправился дальше. В сумерках уже трудно различались окутанные туманом луга, контуры тайги. На фоне синего неба вырисовывались сопки. В вагоне пассажиры пили чай за освещенными настольной лампой столиками. Кеслер все еще стоял у окна и никак не мог представить себе черты лица инженера, с которым только что попрощался, запомнился лишь сочувственный взгляд его глаз.

Поезд неся меж гор, вдоль берегов большой реки.

2

Перебирая близких людей и знакомых, Кеслер остановился на друге детства Эле Гринберге, который работал в Биробиджане.

В 1928 году, когда в Биробиджан стали съезжаться первые переселенцы, Эля Гринберг написал Кеслеру, что тоже едет туда, едет с женой и четырехлетней дочуркой.

К Эле Гринбергу и ехал Кеслер.

Кеслер отошел от окна и вошел в свое купе. Оба его попутчика, командир и краснофлотец, сидели, склонившись над шахматной доской. Жена командира уже лежала, завернувшись в одеяло, и следила за игрой.

Перевес, видимо, был на стороне краснофлотца. Во всяком случае, он весело проговорил, оторвавшись от шахматной доски:

— Ну как? Скоро Биробиджан?

Тогда и командир поднял глаза на Кеслера.

— Вот увидите, — сказал он, тоже весело, очевидно забыв, что его белые оказались в трудном положении. — Прямо-таки город вырос...

— Да! — отозвалась жена командира. — Я помню, всего несколько лет назад, когда мы здесь проезжали, было скучновато. Лишь кое-где освещенное окно да одинокий деревянный вокзальчик...

Теперь в окне вагона мелькали огоньки, приближались, их становилось все больше.

3

На дверях квартиры Гринберга висел большой замок. От этой закрытой двери на Кеслера повеяло отчуждением, холодным равнодушием, как если бы кто-то спросил: «Чего ищешь? Что ты здесь оставил?»

Моросил дождь.

Чтобы избавиться от этого ощущения, Кеслер постоял еще немного, потом нарочно медленно пошел прочь. Он шел по улице. Вокруг высились стройки. Люди взбирались на верхние этажи по лесам, копошились в глиняных ямах, укладывали фундаменты, возводили стены, крыли крыши, выравнивали, чинили мостовую, прокладывали деревянные тротуары. В центре города возвышался новый, красивый вокзал. Экскаваторов Кеслер не увидел, башенные краны не простирали своих стрел над стенами домов. Небоскребов тоже не было, а весь разбросанный город выглядел как сплошной строительный лагерь.

Кеслер зашел в школу. Он застал только учителей — учебный год должен был начаться через несколько дней. Узнав, что он американский писатель, несколько учителей предложили ему пожить у них до приезда Эли Гринберга. Он согласился.

Первое время дожди не прекращались. Целыми днями Кеслер гулял по городу. По ту сторону реки он видел окутанные туманом сопки.

Потом дожди прекратились. Ясными вечерами огромный оранжевый диск солнца бросал какие-то необыкновенные розово-лиловые лучи на реку, задерживаясь на голубых вершинах.

Сопки с ярко-фиолетовыми краями постепенно погружались в вечерний сумрак.

Проходя мимо дома, где жил Гринберг, Кеслер поглядывал на двери его квартиры.

В один из таких дней Кеслер увидел на ступеньках крыльца девочку лет двенадцати-тринадцати. Ему показалось, что эту девочку он несколько раз встречал на закате на мосту через Биру. Насколько ему помнится, она сидела на приступочке и рисовала.

Неужели это дочь Гринберга? Вечером Кеслер нарочно еще раз пришел на мост, широко раскинувшийся над рекой. Девочка, как всегда, была там. Она сидела и рисовала.

Кеслер тихо подошел сзади и взглянул на полотно. На нем были сопки, похожие на верблюдов на коленях, освещенные закатом. словно почувствовав на себе чей-то взгляд, она отняла кисть от картины и обернулась. С минуту они молча смотрели друг на друга.

— Эскьюз ми, — произнес он по привычке, но тут же спохватился. — Это не ты сидела сегодня у дверей, где живут Гринберги? Ты им кем-нибудь приходишься?

— Да, — довольно холодно ответила девочка. — Я Фира Гринберг. А что такое?

Она сказала это совсем как взрослая. Зато Кеслер почувствовал себя очень неловко, когда ответил:

— Я друг твоего отца. Меня зовут Кеслер. Я и приехал к твоему отцу.

Так как она молчала, он добавил:

— От отца ты никогда не слыхала моего имени? Кеслер, еврейский писатель из Америки...

— Нет, — ответила девочка, — никогда не слыхала.

Она минуту подумала, и только тогда на ее продолговатом личике появилось действительно детское выражение. Она пожала плечами и сказала:

— Наверное, папа забыл...

Солнце зашло. От поблекшей воды, от побледневшего неба потянуло прохладой. Из-за сопок выглянул молодой месяц. По реке протянулись серебристые дорожки.

— Ну что ж, пойдемте, — как старому знакомому, сказала девочка. — Могу вам дать ключ.

Шагая с ним рядом, Фира рассказала, что отец и мать на курорте, что они уже едут обратно — прислали телеграмму с дороги. А она, Фира, пока нет родителей, живет у подруги.

— А вы живете у одного учителя из нашей школы, — неожиданно добавила Фира. — Я несколько раз видела, как вы шли туда.

4

Через два дня Фира зашла к учителю, у которого жил Кеслер, и сообщила, что родители ее приехали. Они просили прийти к ним вечером, когда вернутся с работы.

Часов в восемь Кеслер пришел к Гринбергам. У них была большая чистая комната с занавесками на окнах и портьерами на дверях. На столе свежая голубая скатерть, на которой еще видны сгибы от утюга. За столом, освещенным электрической лампой, сидела со своим альбомом Фира. Рядом с ней стояла мать, Фаня Гринберг, и просматривала рисунки, сделанные дочерью за время их отсутствия.

Когда Кеслер вошел, обе повернулись к нему. Они старались делать все, что полагается в таких случаях: пригласили снять пальто, присесть, — но он подумал, что они делали это исключительно из вежливости.

— Эля сейчас придет, — сказала Фаня и продолжала рассматривать альбом.

Может быть, оттого, что к Фире Кеслер уже успел привыкнуть, лицо матери, на которую Фира была похожа, показалось ему знакомым. В чертах обеих были строгость, сдержанность и привлекательность.

Сидя на диване, Кеслер заметил, что они все время быстро переводят взгляд с альбома на него. Он пригляделся и увидел, что Фира скупыми штрихами успела нарисовать его профиль.

— Ол райт! — произнес он. — Но почему с трубкой во рту? Ведь я курю сигары.

— Все равно, — заметила Фира. — Вы американец, вы должны держать трубку во рту.

Фаня и Кеслер от души рассмеялись, и этот смех, который их обоих немного сблизил, очень обидел Фиру.

— И вовсе нечего смеяться, — сказала она. — Я видела здесь много американцев. Без трубки у них рот какой-то кривой.

— Но с трубкой, — улыбаясь, ответил Кеслер, — рот ведь тоже кривой!

— Да, — сказала Фира, — но тогда это из-за трубки...

— Ну, ты болтаешь глупости! — сказала мать. — Везде могут быть люди с такими ртами... А у товарища Кеслера как раз рот не кривой.

По тому, как Фаня сказала «товарищ Кеслер», он понял, что она и Эля уже говорили о нем.

Пришел с работы Эля. Это был высокий смуглый человек с чуть выющимися волосами, с полными губами и улыбающимися глазами. Он был немного похож на араба.

Он долго смотрел на Кеслера, окинул взглядом его фигуру, лицо и седеющие волосы.

— Кеслер? — спросил он тихо.

В грудном его голосе было что-то приятное и в то же время сдержанное, как у человека, который не любит много говорить.

— Садись! — сказал он, поздоровавшись, а сам остался стоять, положив обе руки на высокую спинку стула. Он все еще не отрывал глаз от Кеслера, очевидно находя в его лице знакомые черты молодого человека, с которым когда-то был в близких, товарищеских отношениях. — Ну, что ты успел повидать у нас? — спросил он дружески.

Кеслер сразу оживился. За чаем говорили о Биробиджане, о том, что успел уже посмотреть Кеслер. К Фане Гринберг пришла молодая женщина. Из их разговора Кеслер понял, что Фаня врач.

Потом Кеслер заговорил о природе края, о том, что борьба с природой, овладение ею всегда были одной из интереснейших тем в литературе.

На лице у Гринберга застыла улыбка. Он снова внимательно посмотрел на Кеслера, наморщил лоб и спросил:

— Ну, а как у вас, в Америке?.. То есть насчет литературы. Я оторвался, — объяснил он смущенно. — Было у вас несколько писателей, наиболее близких нам. Помню, что носились с Лейвиком, с другими... Где я был тогда? В Донбассе. А что он там сейчас делает, Лейвик? Все еще считается агентом мессии в Нью-Йорке? Я кое-что читал из его сочинений... Он, кажется, здорово влюблен в свою персону?

Кеслер почувствовал себя неловко.

Женщина, приходившая к Фане, ушла. Вскоре Фира, вежливо попрощавшись с Кеслером, отправилась спать. Через несколько минут из комнаты послышался ее голос — она звала отца.

5

Кеслер прожил у Гринбергов недели две. Спать обычно ложились не поздно, вскоре после ужина. Однажды Кеслер уже разделся и лег, когда в комнату осторожно вошла Фаня.

— Можно? Вы, кажется, хотели посмотреть дневник Фиры? — сказала она.

Да, он действительно хотел.

— Ш-ш-ш! — предостерегающе подняла она палец. — Может быть, она еще не спит. Она не должна об этом знать...

Фаня дала ему дневник и вышла. Абажур оставлял в тени двери комнаты, ярко освещая постель Кеслера. Он закурил. В этом чужом городе, на этой белоснежной постели Кеслер чувствовал себя одиноким.

Облокотившись, он стал рассматривать дневник Фиры. Наряду с ее рисунками (дома в лесах, трактор на пароме, охотник) он увидел записи мыслей, рассказов отца о гражданской войне, всего, что она слышала о стране, о своей родине...

Кеслер читал:

«Напротив нас начали строить большой каменный дом. Когда мы приехали сюда, на этом месте была вода. Через воду перекидывали доску, которая всегда раскачивалась, когда по ней шли. Однажды я поскользнулась, упала и чуть не захлебнулась. Меня вытащили всю мокрую. Иногда мы становились на какую-нибудь доску и плыли по ней, как на лодке. Теперь на этом месте я поса-

дила садик. Две вишни и три акации. Они хорошо принялись...

...Отец тогда отступал с бронепоездом от Деникина, был ранен. И вдруг они получили известие, что в десяти верстах отсюда путь взорван. Штаб приказал взорвать бронепоезд, чтобы не достался врагам. Но тогда все сразу принялись за работу. Раненые тоже таскали к насыпи песок. Папа полз на коленях, полуголый, край рубахи с песком придерживал зубами и так карабкался на насыпь... Люди падали без сил и снова поднимались. Через пять часов путь был восстановлен. Бронепоезд ушел дальше. А как только он ушел, несколько оставшихся человек снова взорвали линию — враги были уже близко. Боевой приказ — взорвать бронепоезд — на этот раз не был выполнен... О бронепоезде мне рассказывал папа перед сном...

...Сегодня с лесов свалилась балка — и прямо ко мне в садик. Балка сломала мои вишенки и раздавила все мои цветы... Я плакала...

...Отец поехал в командировку по области. У меня каникулы, и он взял меня с собой. Уже несколько дней, как мы едем. Не знаю, есть ли где-нибудь еще такие красивые места? Красиво вечером и ночью, когда луна. А на рассвете! Кругом высокие горы с острыми вершинами. Только что из-за горной вершины выглянуло солнце. И вся гора стала словно голубая, вершина розоватая, а меж склонов, скрытых в тумане, пробились яркие лучи... Поезд бежит над рекой. Вода в реке морщится и убегает. Потом вырастает гора. Страшно: вот-вот треснет скала, сорвутся каменные глыбы и завалят поезд, папу и меня. А вот меж двух голых камней выглянул цветок на высокой ножке и несколько травинки. Откуда-то на камень нанесло немножко земли, и там выросла травка и этот цветок. Хотела показать папе, но поезд уже промчался мимо...

...Мне хочется в своем альбоме зарисовать все, что у нас строится. Сегодня долго стояла на углу Октябрьской улицы и зарисовывала новый вокзал. Я тогда вспомнила, как здесь целыми ночами жгли тайгу. Это тоже хорошо было бы зарисовать, но я тогда была еще совсем маленькая и плохо это запомнила...

...Недавно к нам приехал папин друг из Америки — Кеслер. Говорят, что он писатель. По-моему, он очень

странный человек. Я его нарисовала с кривым ртом и с трубкой в зубах, а он обиделся. Мама тоже сказала, что я неправа. А я знаю, что у многих иностранцев такой рот, как будто им что-то здесь не нравится. Все они какие-то скучные. Вот и Кеслер такой же. Не понимаю, почему им у нас так скучно? Сегодня Кеслер сказал мне:

— Ты настоящая биробиджанка...

Потом подумал и добавил:

— Ты даже года на два старше Биробиджана...

Что он этим хотел сказать?»

Да, что он этим хотел сказать? Дневник все еще лежал раскрытый, но Кеслер больше не читал. Предвестниками наступающего утра в окно заглянули румяные вершины далеких гор.

«Можно ли еще что-нибудь вернуть?» — подумал Кеслер. В эту минуту он вдруг ясно почувствовал, что вся его жизнь, годы творчества расплываются, как папиросный дым, перед несколькими простыми и беспомощными строчками из этого детского дневника.

И еще почувствовал он в эту минуту: он обанкротился, остался в неоплатном долгу перед жизнью, потому что, видимо, начал ее скверно, фальшиво. Надо было начинать так, как это сделал его товарищ детства Эля Гринберг, если он не мог тогда начать так, как начинает она, Фира... Значит, надо начинать сызнаова...

Через несколько дней тот самый поезд, который привез Кеслера сюда, мчал его обратно на запад. Ясный, солнечный день стоял над Биробиджаном. Синеватой дымкой были окутаны далекие горы. Кеслера проводила Фира. Эля и Фаня попрощались с ним утром, перед уходом на работу. Поезд тронулся с места. Фира заметила, что глаза у него подернуты влагой.

Фира, вокзал, люди, город исчезли. Виднелись только дымящие трубы. А у Кеслера было неприятное ощущение, что едет он не вперед, а назад, назад...

Он ехал обратно в Америку, к Дженни. Поезд проносился меж лесов и гор. В говор колес, как и две недели назад, врывался озорной свисток и таял в голубом просторе. Кеслер, как и тогда, стоял, опершись локтями о раму открытого окна, и курил. Сейчас он твердо знал, что предстоит ему делать дома...

Всю жизнь надо начинать сызнаова.

ДРУГАЯ КОНЦОВКА

Фары большого автобуса выбрасывали вперед два длинных ярких столба и, щупая ими дорогу, освещали на обочинах невысокие деревца с засохшими, пожелтевшими листьями. Деревца то раступались, то вновь смыкались, а дорога, вся в накатанном снегу, убегала назад.

Окна автобуса заиндевели от мороза. Вместе с ехавшими домой колхозниками были тут и мы, несколько писателей и артистов, направлявшихся на литературный вечер в колхозный Дом культуры.

Я давно не был в этом селе, куда мы теперь ехали и где в свое время я бывал довольно часто, имел там знакомых, друзей.

«Кого же из них я встречу теперь?» — думал я, сидя в автобусе, и очень сожалел о том, что наверняка не увижу Даниэла Бермана. Еще в те времена, когда я нередко навещался в эти места, он ушел из колхоза. Кстати, история, послужившая причиной его ухода, стала темой одного из моих рассказов, который я и вез с собой.

* * *

Даниэла Бермана я знал немало лет, с тех давних уже пор, когда мы оба были молоды. Студентом я на каникулы, бывало, приезжал в колхоз на Украине, где жили тогда мои родители и работал Даниэл.

Рослый, стройный, с густой шевелюрой кудрявых черных волос, с большими черными глазами, был он парнем, каких поискать! Девушки по нем сходили с ума. А он — вечно в работе, всюду попевал. Комсомолец, активист, особо отличился он в годы коллективизации.

А спустя несколько лет, по окончании института, я приехал на Дальний Восток и здесь совершенно неожиданно встретил Даниэла Бермана. «Как тебя сюда занесло?» — спросил я. «Просто, — ответил он, — отслужил службу в армии и решил в этих местах остаться».

Дальневосточная земля привлекла его своими огромными неосвоенными просторами, изобилием своим и даже теми трудностями, которые были связаны с ее освоением. Одним словом, работа оказалась по нему.

Когда мы встретились, он уже в колхозе председательствовал, имел семью. Женат он был на одной из тех колхозных девушек, которые когда-то по нем сходили с ума. Было у них уже двое детей — два мальчика. Берман был степенным и солидным, но в его черных глазах горел все тот же огонек, что и в юности.

Началась война, и Даниэл ушел на фронт. Под Сталинградом был ранен, подлечился — и снова на фронт. Острием своего штыка он также начертал на заковтой стене рейхстага свое имя. Войну он закончил в Маньчжурии и вернулся в колхоз. Здесь его ждали жена и двое взрослых сыновей — трактористов. В колхоз с ним приехала и группа фронтовых друзей. С их помощью колхоз стал на ноги.

Все шло хорошо, пока в район не приехал новый секретарь райкома. Даниэл с самого начала с ним не поладил. Не хотел начинать сев, так как земля была еще мерзлая. Урожай спас, себя — нет.

Даниэла вызывали в райком, говорили, что он игнорирует указания, ведет себя по-анархистски. Кончилось тем, что в колхоз прислали нового председателя. Тот чаще всего сидел в кабинете и передавал по телефону сводки. Берман же стал рядовым колхозником.

— Во мне разве дело? — сказал он как-то мне. — Сердце болит... Пока мы колхоз на ноги подняли... Легко ли это было после войны? А теперь? И года не прошло, а что стало с фермой? Когда-то была лучшей в районе. Урожай вовремя не сняли, пошли дожди, и половина осталась в земле. Что же будет дальше?

Даниэл был не из тех, кто о наболевшем говорит шепотком. Несколько раз он открыто выступал на собраниях, и от этой критики ему не поздоровилось. Даниэл уехал, кто говорил — на Украину, а кто — что завербовался на Сахалин.

Тогда-то я и написал рассказ о своем друге. «Где ты, Даниэл Берман?» — этими словами заканчивался рассказ, который я собрался прочесть на литературном вечере.

* * *

Колхозный Дом культуры был переполнен. Опоздавшим пришлось сгрудиться в дверях.

Выступали пожилой прозаик, затем молодой поэт. Я всматривался в лица зрителей, заполнивших зал. Было среди них и немало знакомых. Вот сидит в первом ряду не старая еще женщина с широкоскулым, как у монголки, лицом. Волосы на голове ее гладко зачесаны, на плечах белый шерстяной платок, — это колхозный агроном, депутат Верховного Совета.

На противоположной стене с большого портрета улыбался Ленин, улыбался, казалось, всем, кто здесь был, и всему, что здесь происходило.

Я думал о том, что выступать перед подобной жадно внимающей тебе аудиторией все равно что поставить себя под огромное увеличительное стекло — каждое твоё достоинство и любой недостаток становятся поразительно отчетливы. Какое-то слово — тебе казалось, что оно продумано и стоит на своем месте, а тут замечаешь — не годится! В одном месте ты рассчитывал вызвать улыбку — раздается дружный хохот...

Читать рассказ я начал с некоторой опаской — заинтересует ли? — но внимание аудитории придало мне уверенность, и вот летят уже в зал заключительные слова рассказа: «Где ты, Даниэл Берман?»

В перерыве я через боковую дверь вышел в фойе. Здесь было накурено. Колхозники, стоя тесными кружками, оживленно беседовали. Пахло табаком, овчиной.

— А вот он я.

Человека, подошедшего ко мне с этими словами, я не сразу узнал. Вгляделся, и постепенно у меня на глазах началось удивительное превращение его в другого, которого я когда-то знал.

— Да ты ли это, Даниэл?! — воскликнул я.

— Он самый...

И моя рука утонула в его большой ладони.

— Каким образом? Откуда?

— Целый день возил навоз в поле. Я тут бригадиром.

И улыбается так, точно мы вчера только расстались.

— Опоздал к началу, пришлось постоять в дверях, — сказал он хриплым, простуженным голосом, — но я слышал: «Где ты, Даниэл Берман?» Так вот он я.

«Куда же деться Даниэлу Берману? Даниэл Берман никуда деться не может!» — не словами, улыбчивым взглядом он мне это сказал.

В тот вечер я домой не уехал.

В небольшой, небогато обставленной комнате жарко от хорошо натопленной печки, а может быть, от рюмки другой водки, которую мы успели пропустить. В спальне напротив свет уже погашен. Там спит жена Бермана, — завтра ей рано на работу, она доярка. Большой, мохнатый рыжий кот степенно покружил вокруг стола, затем вскочил на табурет возле печки и свернулся в клубок.

— Вот так оно, братец мой... — сказал Даниэл Берман, завершая свой рассказ, и вылил из стаканчика, который вертел в сильной загорелой руке, оставшиеся несколько капель. — Что было, то было.

Часы показывали три. Мы уже обо всем поговорили, рассказали друг другу о своем житье-бытье за те годы, что не виделись.

— Вчерашний день учит нас постигать, что хорошо, что плохо, — сказал Даниэл, — а постичь это надо во имя дня завтрашнего.

На лбу у него блестели капельки пота. Широко растегнутый ворот рубашки открывал ключицы и волосатую грудь. Постарел мой друг — кудри поредели и покрылись инеем, щеки запали, только глаза все еще лучились молодой, неумемной энергией.

— Два миллиона составляет доход нашего колхоза, — рассказывал он, — два миллиона! С такими средствами можно себе уже кое-что позволить. Сорок девять квартир построили и еще двенадцать начали строить. И мало, все мало! Приезжают новые люди, хотят работать. Платят ведь уже не палочками, которыми когда-то отмечали трудни. Прошел месяц — приходи за получкой, как на заводе. Вот как... Помнишь, как приходилось созывать людей на работу?.. А теперь? Планируй так, чтобы работы хватило на всех! Больных нет. Другие времена — другие трудности.

— Что стоит одно то, — продолжал он, — что я, колхозник, знаю: мне полностью доверяют, надеются на меня! Не приезжает из города уполномоченный тыкать пальцем, как и что, когда я должен сеять, что и когда снимать. Я это и сам всегда знал отлично. Разве я был когда-нибудь себе врагом?

Даниэл встал, подошел к окну.

— Вот мой сосед, что живет напротив, — Нахман Браверман. Большая семья, все работают. И знаешь, сколько он выработал за год? Четыре тысячи двести рублей наличными. А это только начало. Чувствуешь?

Даниэл отошел от окна и принялся крупными шагами мерить комнату.

— Сейчас, брат, такая жизнь началась — об этом можно было только мечтать!

Долго звучал еще хриплый, простуженный голос Даниэла.

Кот, проснувшись, спрыгнул с табурета и стал тереться у наших ног.

Полусонным голосом жена Бермана удивленно спросила из спальни:

— Вы что, еще не легли? С ума спятили, что ли?

Даниэл на цыпочках подошел к двери.

— Спи, спи! Мы тут немного заболтались.

Нам обоим спать не хотелось.

Утром Даниэл проводил меня к автобусу.

— Ну, а в твоём рассказе, — смеясь, сказал он на прощанье, — придется сделать другую концовку...

— Бог с ней, с концовкой, — ответил я, — могу и от всего рассказа отказаться. Главное, что ты здесь и что тебе живется хорошо.

— Это так, — сказал Даниэл, — но от рассказа отказываться не следует. Пусть будет рассказ, нужна лишь другая концовка.

— Ты на этом настаиваешь? — спросил я.

— На этом настаивает жизнь, — ответил он.

Я выглянул из автобуса и увидел — рослый, крепкий, шагал он утренней морозной улицей по направлению к колхозным фермам.

ПРОВОДЫ

Ах, эта маленькая и пронырливая Геля Маркова! Она всегда первой все узнавала. Каким образом она умудрялась быть в курсе событий, кто знает. Во всяком случае, именно ей девчата были обязаны и этой последней новостью, которая так их вдруг всполошила.

Утром, едва они появились в коридоре училища, Геля кинулась к ним навстречу:

— Ой, что я скажу вам, девочки! Послушайте, мы же остаемся без мальчиков. Как вам это нравится?

Высокая, светловолосая Рита Голубева смерила ее наигранно удивленным взглядом и, прищурив свои голубые, чуть-чуть подведенные тушью глаза, остановилась.

— На курсе у нас всего один парень, а ты говоришь о нем во множественном числе. Смешно... Маль-чи-ки. Тоже мне...

Рита поправила пышную прическу и хотела уже войти в класс, но Геля загородила ей дорогу:

— Постой, Ритка. Девочки, погодите. Еще семь минут осталось. Идемте сюда...

Геля стала оттеснять всех от распахнутой двери в глубину коридора, к широкому подоконнику, заставленному цветами в горшках. Там среди ярко синевших фиалок за ночь расцвел бледно-розовый кактус. В другое время они бы бросились его разглядывать, но сейчас было не до цветов. Девчата обступили Гелю со всех сторон, начались расспросы:

— С чего ты взяла?

— Куда он денется, наш Фомин? Уезжает, что ли?

— Вот именно! — воскликнула Геля и тут же, понизив голос, быстро стала объяснять: — Вчера Сережка получил из военкомата повестку. Через пять дней у него призывная комиссия. В общем он уходит в армию. Ясно?

— Да, но Сережа ведь сорок второго года рождения, — возразила Валя Смолова, вытирая платочком остренький, веснушчатый носик. — Он же еще...

— Нет, сорок первого, — перебила Геля.

— А мне тоже казалось, что он сорок второго, — неопределенно вставила, пожимая плечами, Рая Гулевич.

— Ну вот еще! Говорю вам — сорок первого, не спорьте.

— Тсс...

В коридоре появился Сергей Фомин. Не слишком броский на вид парень, никому бы из девчат и в голову не пришло назвать его красивым, и все же он был высокий ростом и складный. Тряхнув копной густых волос, слегка удлинненных, как этого требует мода, он по обыкновению кивнул всем девушкам сразу, здороваясь с ними, и прошел в класс медленной, немного вразвалку походкой, к которой они уже давно привыкли.

Вот-вот должен был прозвенеть звонок. А девушки все еще толпились в коридоре. Как только Сережа скрылся за дверью, многие из них почему-то взглянули на Лиду Ермолову. Она стояла, облокотившись на подоконник, русоволосая, круглолицая, и взгляд ее широко распахнутых глаз, больших, карих, был устремлен на цветок. Она рассматривала кактус. Странно... Кажется, Лиду это известие больше всех должно было интересовать. Но она слушала молча.

— Есть предложение, девочки, — говорила между тем Геля, — давайте устроим Сереже проводины. А что? Сложимся, внесем по пятьдесят копеек с носа... Или по рублю, кто сколько может. Согласны? А?

— Может быть, проводы? — поправила ее любившая точность Рита Голубева. — Что ж, надо, конечно. Как вы, девчата?

— Да мы не возражаем.

— У него же ведь нет родителей, — сказала Валя Смолова.

— Почему? Нет разве? А я, например, не знала... — тихо, нараспев проговорила флегматичная Слава Бояркина.

Геля махнула на нее рукой, словно хотела сказать: «А-а, ты вообще ничего не знаешь», — но вместо этих слов пояснила:

— Одна сестра у него только. Вдова она. Работает на почтамте. Мы по соседству живем. Это она и сказала мне про повестку. Сам он молчит, видели? Сделаем так, чтобы для него это неожиданным было... Ну, а ты как, — обернувшись к Лиде Ермоловой, спросила Геля, — ты согласна?

Лиды, не ожидавшая такого вопроса, покраснела.

— Я? — Она растерянно взглянула на подругу, чувствуя, что щеки ее заливают румянец, опустила глаза, но тут же овладела собой: — Я, как все...

Потом прозвенел звонок, и девушки, подталкивая друг дружку под локоть, перемигиваясь и теснясь перед дверью, стали входить в класс.

Сергея сидел на третьей парте, справа у окна подперев ладонью щеку. Не совсем внимательно слушал он сегодня урок алгебры, то и дело смотрел в окно, где за ближними и дальними тополями дымчато голубели сопки. Он почти ничего не записывал в тетрадь, хотя она была раскрыта перед ним и в руке он держал карандаш. Привычная жизнь его менялась, он еще не знал, где ему придется служить, в какой род войск он попадет, и, может быть, думал об этом. По крайней мере тридцать девушек в классе были уверены в том, что Сергей Фомин думает сейчас именно об этом.

Лиды Ермолова, склонившись над партой, изредка поглядывала на него украдкой. Он сидел один наискосок от нее, в другом ряду, так, что сбоку ей был виден его насупленный профиль. Она попыталась представить Сережу в солдатской шинели, вообразила, как он будет маршировать в строю, и от мысли, что через несколько дней место, где сейчас сидит Сережа, окажется пустым, ей становилось грустно...

— Итак, перед вами уравнение с тремя неизвестными... — звучал голос преподавателя, стоявшего у доски.

Лиды поймала себя на том, что не слушала, о чем говорил Михаил Борисович; она вдруг спохватилась, стала смотреть на классную доску, там уже одна за другой лепились алгебраические формулы.

А все-таки трудно было не думать о Сереже... Выходит, Лиды была неправа, ей всегда казалось, что он со

всеми одинаков и так же относится к ней, как к Рите Голубевой или к той же Геле. На молодежных вечерах он чаще всего танцевал с Ритой и очень редко приглашал ее, Лиду. А то, что в библиотеке их видели иногда вместе и он помогал ей по физике, которая давалась Лиде с трудом, так ведь и Славе Бояркиной он тоже не отказывал в помощи. С Гелькой он даже в кино был как-то раз и потом совершенно равнодушно проходил мимо нее на переменах...

«Проводы... Какими они будут? Где? У кого? Впрочем, надо отбросить сейчас все постороннее», — твердила Лида себе, и хотя это плохо ей удавалось, она, изо всех сил напрягая внимание, стала следить за каждым словом преподавателя, объяснявшего новый материал. Но перед концом урока она вдруг почувствовала, как это бывает иногда, что на нее смотрят. Оказывается, Сергей Фомин, полуобернувшись, через плечо следил за ней, ждал, когда она поднимет на него свои большие темные глаза, хлопнет ресницами; он очень этого ждал и, как только взгляды их встретились, улыбнулся ей краешком губ, а она вспыхнула, потупилась, стала чертить у себя в тетрадке какие-то кубики, квадраты...

«На всех он так смотрит... И Рите тоже улыбался, я знаю... Потому что расстанемся скоро... — объясняла Лида самой себе. — Все-таки он к нам привык... Девчонкам кажется, что я с ним дружила, а ведь ничего такого не было, ничего... Только один-единственный вечер тогда. И то глупо как-то все получилось. Лучше бы этого не было вовсе...»

А было это на прошлой неделе. Они с Сережей вышли вместе из библиотеки, когда уже совсем стемнело. К станции с запада подходил скорый поезд, весь в огнях. Можно было перейти через виадук и прогуляться по перрону, как это делали иной раз девчата. В воздухе уже носился запах набухающих тополиных почек, дыма и талой воды, — весна о себе заявляла всюю, — но Лиде нужно было торопиться домой.

— Я тебя провожу, — сказал Сережа, мягко тронув ее за руку. — Не возражаешь?

— Ну хорошо. Идем.

Лида жила за станцией, в железнодорожном поселке, почти на самой окраине. Она ходила домой через переезд — так было ближе, — но на сей раз Сергей уговорил ее идти по Вокзальной. Они поднялись на виадук, постояли с минуту, оглядывая с высоты вокзал, освещенный огнями, сгрудившиеся внизу составы, послушали, как громкий голос по радио объявляет о прибытии московского поезда, и спустились по гремящим ступеням вниз.

Прошли незаметно всю Вокзальную улицу, потом свернули в глухой переулок. Из одного двора выскочила чья-то собака и с лаем кинулась им прямо под ноги, но тут же отстала.

— Как ты здесь ходишь, Лида? Ни одного фонаря, темень... — заговорил Сережа, оглядывая приземистые избы поселка.

— Я сейчас по вечерам дома сижу. Репетиции, спевки — они много времени отнимают... — Она помолчала. — И потом, знаешь, это только с непривычки кажется, что темно и улицы вроде запутанные какие-то, а меня уже ноги сами несут... Давай руку, будем прыгать, — сказала Лида.

Они сошли с деревянного тротуара и перепрыгнули через канаву, в которой бурлила вода. Теперь перед ними была уже ровная улица.

— Далеко же ты все-таки живешь, — заметил Сережа с сочувствием.

— Да... вот так, — неопределенно отозвалась Лида. Она хотела ему рассказать о себе, но раздумала, решила, что не стоит открывать душу, и разговор у них пошел о другом.

Собственно говоря, Лида жила не дома. Она приехала сюда из деревни. Тетя Стеша, родная тетка ее по отцу, пустила племянницу к себе на квартиру, и хотя никакой платы с нее не брала, у Лиды оказалось много обязанностей в этой семье. Она помогала тетке управляться с хозяйством, носила воду, дрова, мыла полы, стирала. Иногда работы накапливалось так много, что девушка не успевала готовить уроки. Особенно трудно ей было сейчас. С наступлением весны дел прибавилось: у тети Стеши был большой огород, что там только не росло! Редиска и лук, огурцы и помидоры, капуста, картошка... И все это она выращивала для продажи.

«Удивительно прямо, зачем ей столько? — думала Лида иной раз, наблюдая, как тетка, вернувшись с базара, пересчитывает деньги, аккуратно распрямляет смятые булочки и, уложив их стопками, завязывает в платок. — Она ведь совсем одна. Сын Игнатий живет со своей семьей где-то на Севере. Куда ей с этими деньгами?»

— Вы бы хоть себя пожалели, тетя Стеша, — сказала ей Лида на днях, после того, как та явилась с огорода, раскрасневшаяся, мокрая от пота, и долго не могла отдышаться — навоз раскидывала.

— Дай-ка мне водицы, — попросила тетя Стеша, усаживаясь на табуретку. Заскорузлыми, потрескавшимися пальцами взяла она чашку с водой, поданную племянницей, выпила и поставила на край стола. — Не потопаешь, так и не полопаешь, вот что я тебе скажу. Ты вот учительницей собираешься стать, над книжками сидишь по всей ночи. А знаешь, какую зарплату дают учителям? На этой-то зарплате, да если еще детишки пойдут, не уедешь далеко. Вот... Будешь небось огородик соображать тоже?

Лида отрицательно закачала головой.

— Ошибаетесь... — Она стала спорить с тетушкой: — А вас что, нужда заставляет? Привыкли торговать на базаре. Как вы можете? Стыдно ведь...

— Ну, это мое дело, тебя не касается.

— Вот именно... Да разве вам что-нибудь докажешь... — Лида махнула рукой и ушла в свою комнатку за деревянной переборкой.

В избе стоял запах сырого песка, земли, прорастающих картофелин — они были рассыпаны у стенки на кухне, лежали под кроватями на фанерных листах и даже на подоконниках. Везде была картошка, картошка... Дома у отца с матерью все делалось не так, по-другому. А здесь...

Вчера после занятий не успела Лида перешагнуть через порог, как тетя Стеша ей объявила:

— Сегодня будем картошку вытаскивать из подпола. Ты сперва пообедай. На плите вон борщ не остыл еще, вареники, ешь...

— Не хочу, тетя Стеша. Я в столовой обедала.

Лида разделась, но свое новое пальто на поролоне и вязаную шапочку не оставила на вешалке, а отнесла к себе в комнату, чтобы не запылить. Мельком взгля-

нула на учебник физики, лежавший поверх стопы книг, — надо было выучить целый раздел, но Лида решила, что успеет еще, тетке тоже нельзя не помочь. Она такая, может и отцу пожаловаться.

Допоздна они провозились с картошкой. Лида уже и не помнит, сколько ведер она вытащила из подпола. Наберет полное ведро и подаст тете Стеше наверх, а та ссыпает в мешки. Перед сном пили чай, хозяйка, довольная, тараторила за столом, говорила, что Буренка должна вот-вот отелиться, так что надо караулить ее ночами, а Лида думала о своем, и ей было неприятно слышать тетушкин голос.

Утром она едва поднялась с постели, весь день сидела на занятиях как побитая, не понимала, что с ней происходит, — так у нее ломило руки в плечах. Вчерашние ведра с картошкой давали знать о себе, но самое главное — она ведь так и не открыла учебник физики. Пришлось ей после уроков идти в библиотеку. Завтра физика, Георгий Ефимович строгий, у него получить хорошую оценку не так просто. Лида просидела в библиотеке до вечера. И Сергей Фомин тоже был там. Углубившись в чтение, он перелистывал книгу, но, должно быть, наблюдал за Лидой, и как только она захлопнула учебник и поднялась, он тоже встал и очутился рядом с ней у двери.

И вот теперь они шли вдвоем по темной улице, Сережа взял Лиду за руку. Хорошо, что в темноте не видно, как она улыбается. Не ему, — просто так, у нее было тогда веселое настроение. Сережа говорил, что хотел бы работать только в начальных классах, где-нибудь на периферии, ему нравится быть сельским учителем.

— Да? — переспросила его Лида. — Ты думаешь, что в деревне ребятишки другие? Они сейчас везде одинаковые. Но вот чтобы парень, такой, как ты, учил первоклассников, это же редко бывает. Все больше девочкам приходится. . . — Она сказала это серьезным тоном, и почему-то вздохнула, и руку свою высвободила из его теплой ладони.

Они подошли к дому и остановились у калитки.

— Постоим немного, Лида, не уходи. . . — попросил Сергей.

— Ладно. Я тебя не зову к нам, потому что. . . — начала было девушка, но он прервал ее:

— Понимаю и не спрашиваюсь. Ты у тетки живешь?

— А тебе откуда известно? — Она удивилась и подумала, что, наверное, это Гелька ему сказала. Ведь она приходила к ней два или три раза.

— Чудачка ты. Да я все о тебе знаю... — Сережа проговорил это почти шепотом и так близко придвинулся к ней, что она слегка оттолкнула его.

— Ну тебя, Сережка... Перестань.

Свет из двух окон падал на прошлогодние клумбы в палисаднике, он не достигал калитки. Однако Лида все равно озиралась, будто это не окна, а тети Стешины глаза глядели во тьму.

— Нет, не перестану... — сказал Сергей и обхватил ее за плечи. — Ты вот что... перебирайся в общежитие. Времена этих самых... золушек давно прошли.

— Тебе-то что? — грубовато возразила ему Лида. — Пусти меня... Слышишь, Сережа?

Но он не обращал внимания на ее слова, он стал говорить, что часто думает о ней, что много раз хотел сказать ей об этом, но не решался.

— И вот... — Глухое волнение слышалось в его молодом, ломком баске. — Скажи, я тебе нравлюсь? Хотя немножко нравлюсь?

— Смотря с какой стороны...

Сережа засмеялся и опять взял Лиду за руку:

— Ну, с левой или с правой — все равно, с какой... Скажи.

— Вот еще... — Лида на миг ощутила его горячее дыхание у своего лица. — Нет, нет... Совсем не нравишься.

— Это неправда... — Сережа хотел поцеловать Лиду, но она отстранилась от него резко, толкнула ногой калитку и юркнула во двор.

Стучалась в дверь так, что тетка, выбежавшая открывать, испуганно уставилась на нее:

— Ты чего это, девка? Гнались за тобой, что ли?..

На другой день был урок физики. Георгий Ефимович, пожилой, близорукий толстяк в очках с выпуклыми стеклами, почему-то сразу нацелился взглядом на Лиду Ермолову, вызвал отвечать, причем сделал это громко, будто выстрелил ее фамилией в затихшем классе.

Лида, смущенная до этого тем, что Сергей Фомин во время перемены положил ей на парту веточку тополя, медленно поднялась, и хотя вопрос, заданный преподавателем, не представлял сложности, она могла бы ответить на него, но почему-то стояла, опустив голову. Молча стояла — и все... Минута, наверное, прошла в молчании.

— Что? Не знаете? — подавшись вперед, спросил Георгий Ефимович. — Не знаете? Да? Садитесь. — Выпуклые очки его, блеснув, угрожающе склонились над столом.

— Нет, почему? — вдруг, словно очнувшись от какого-то странного оцепенения, заговорила Лида. — Я могу... Нет, не буду.

— Садитесь, садитесь, — повторил преподаватель, что-то записывая в журнале. — У вас слишком неустойчивое настроение сегодня. По-видимому, весна действует...

Лида села на место, а сзади послышался чей-то тихий смешок. Ах, как она презирала себя за то, что смутилась и не сумела быстро справиться с собой! Бывает же так... Ну почему так случилось?

Во время перемены девчата видели, наверное, как Сергей Фомин подошел к ней или, лучше сказать, приблизился робко и заговорил с Лидой. О чем? Никто из девчонок до сих пор так и не знает, даже Геля...

А в сущности, ни о чем... Он только просил Лиду, чтобы она не сердилась на него, как будто был виноват в том, что ей поставили двойку. И еще сказал, что все поправимо. Но Лида круто повернулась на каблучках и пошла по коридору.

С тех пор она старалась не замечать его... «Глупо. Как это было глупо...» — думала она теперь, вычерчивая в тетрадке кубики и квадраты. Почему же он сам не говорит им о повестке? Может, еще скажет? А ведь жаль будет с ним расставаться. И вообще многое представлялось ей уже в ином свете...

Когда раздался звонок и все высыпали в длинный светлый коридор, Геля Маркова опять подозвала к себе девчат.

— Ну что, девочки, где будем устраивать проводы?

- У Вали... Там пианино, Лидку заставим петь.
- Конечно, у Вали Смоловой, — раздался голос.
- У нее квартира большая.
- Как, Валя, согласна?

Но Валя Смолова, длинная, худая, остроносенькая девушка с веснушками на лице, сказала, что рада бы, но у них в квартире начался ремонт.

— Ладно, девочки, — Геля махнула рукой, — что-нибудь придумаем. Найдем! Сейчас надо собрать деньги. Давайте наметим, кто будет продукты покупать.

Они уже стали прикидывать, что купят, заговорили о том, где взять радиолу, — без музыки будет неинтересно... И тут неожиданно план изменился.

— А знаете, девочки, — выдвигаясь вперед, сказала до того молчавшая маленькая, с высоко вскинутыми тонкими бровями Слава Бояркина, — у меня другое предложение.

— Какое еще? — удивилась Геля.

— Пусть, пусть говорит...

— Сережа ведь один, — тихо начала она. — Я хочу сказать — вообще один. Из детдома же... Родителей нет. И никто ему, наверное, никогда не делал никаких подарков. Понимаете, девочки? Ну что эти проводы? Соберемся, потанцуем... А может, лучше что-нибудь купить ему, такое ну... на память?

— Тогда надо вносить больше! — предложила Рита.

— Почему? Столько же... Нас тридцать...

— Тише, девочки, — Геля состроила умоляющую гримасу. — Ти-ше... Славка права! Это идея... -- Переходя на шепот, она сказала, что над этим стоит подумать.

И тут к ней подошел Сергей Фомин, — он только что сдал в библиотеку книги, сбегал на первый этаж и вернулся оттуда почти бегом. Увидев столпившихся в коридоре девушек, он решил прервать их беседу.

— О чем шумите вы... — начал он декламационно, а сам раскрыл руки над Ритой, Гелей и Валею и обнял всех сразу. — Эх, девчата... Вы то шепчетесь, то митингуете. А мне вот документ вручили очень важный.

Сережа отпустил их и, приняв не свойственную ему горделивую позу, выпрямился, чтобы достать из кармана повестку.

— Знаем! Знаем! — заговорили они в один голос.

— Откуда? Кто вам сказал?

— Скрытничаешь, Сережка. А мы вот узнали. Да! И уже слезки проливаем о твоих кудрях! — Геля шутя стукнула его легонько по спине ладонью.

Они шутили и смеялись, но у них была своя тайна...

Был вечер... На окраине города в не слишком просторном зале заводского клуба собралось около двухсот юношей-призывников. Раскрасневшиеся после ходьбы, сидели они, еще по-разному одетые, но уже схожие между собой тем, что все были острижены под машинку. И голос, громко звучащий с трибуны, и многое другое объединяло их сейчас. Они смотрели на сцену. Там пожилой полковник из горвоенкомата с колодкой орденов на груди произносил напутственную речь им, будущим воинам.

Как всегда, на задних скамьях теснились провожающие, родственники, главным образом матери, отцы призывников. Были тут и братья и сестры. И невесты тоже были.

В середине переполненного зала, почти не отличимый от других, сидел с краю длинной скамьи Сергей Фомин. Непривычно холодило остриженную голову. Он чувствовал себя неловко оттого, что лишился прически (столько было волос — и вдруг...), и оттого, что знал: где-то позади в зале сидит его сестра Катя и прижимает к глазам платочек. Они уже виделись только что.

Когда на сцене опустился занавес, провожающих попросили выйти в фойе. Быстро разобрали скамьи, высоко нагромоздив их вдоль стен. В освободившейся середине зала построили призывников.

Четко раздалась первая команда:

— Ррав-няйсь!

Стали вызывать по списку — одного, другого, третьего... Вызванные покидали строй и становились в затылок друг другу. Когда были названы первые двадцать пять человек, симпатичный молоденький лейтенант, прибывший из части, скомандовал призывникам следовать за ним:

— Кру-гом! Шагом-арш!

Девушки из педучилища, сгрудившиеся у дверей вместе с другими провожающими, расступились, чтобы дать пройти вслед за лейтенантом первому, еще нескладному

строю будущих солдат, и с любопытством вглядывались в их лица.

Сережи не было, он попал в следующую группу. А они все ждали.

— Где же он? Где? — Геля нетерпеливо теребила за рукав Риту и, так как ростом была маленькая, приподнималась на носках и через головы стоявших впереди незнакомых женщин тянула шею вперед. Подарок для Сережи был у нее в руках: ведь Геля — комсорг на курсе.

— Идет наш Сережа... Вон он, видишь? — шепнула ей Рита.

И тотчас девушки с разных сторон замахали ему руками, подавая знаки, что они видят его:

— Фомин! Сергей!

— Сережа! Мы здесь...

Он, конечно, догадывался, что они придут его провожать, вернее — знал это. Еще вчера Геля со всеми подробностями расспросила, где они соберутся, в какое время. Но сейчас, увидев их, он все-таки удивился: «Сколько их, батюшки ты мои, кажется, весь курс...» Он радостно помахал им рукой и, не выбиваясь из строя, прошел мимо них в боковую комнату.

Призывникам выдавали по списку дорожные деньги. После этого они опять выходили в фойе, растекались по коридору, где их ждали родственники, друзья. Отовсюду слышался разноголосый говор, напутствия сменялись просьбами, кое-где смех обрывался слезами... А на улице шла пляска, и в раскрытую дверь наплывали звуки гармошки.

Вот и Сергей... Девушки плотно придвинулись к нему. Молчали, пока он разговаривал с сестрой. Она просила его, младшего и единственного брата, чтобы берег себя и, как устроится, чтобы письмо ей написал. Потом Катя отошла в сторонку и притихла, удивленная тем, что Сережу обступило так много девчат. Каждая хочет что-то сказать ему, и столько вопросов:

— Когда едешь?

— Сегодня ночью.

— В котором часу?

— Не знаю.

— А куда?

— Тоже не говорят. В вагоне скажут. — Сережа отвечал им односложно, то, что знал, а серые глаза его блу-

ждали рассеянно: — Лида здесь? — спросил он и тут же увидел, как она из толпы пробирается к нему.

— Конечно. Где же ей быть... — сказала Рита. — Разве ты не слышал, как она тебе кричала? Нет?

— Лидка, ну, иди скорее! — звала Геля уже сердитым голосом.

Наконец Лида протиснулась к ним, встала рядом, и Сережа заметил, как дрогнули ее губы.

— Я же здесь... — сказала она, еще не сознавая, что этот вечер будет долго потом вспоминать.

— Ты, наверное, кричала мне шепотом? — спросил у нее Сергей, вроде бы шутя спросил, но она поняла смысл этой шутки и улыбнулась.

Надо было спешить, времени оставалось уже не так много, и Геля, чуть выдвинувшись вперед, но еще держа сверточек с подарком в руках, заговорила с чувством:

— Вот что, Сережа... Ты едешь. Так вот... От наших комсомольцев, от всего курса, я хочу пожелать тебе доброго пути, — это первое. Дальше... Служить в рядах Советской Армии не просто долг каждого парня, но и высокая честь. Это второе. Ты был у нас на курсе отличником в учебе и всегда помогал нам, девочкам, — за это мы тебя благодарим и уверены, что в армии ты так же вот эти свои качества проявишь и в общем... ну, в смысле помощи своим товарищам, будешь... как это сказать... — Всю дорогу Геля в автобусе готовила эту речь и вдруг запнулась, какие-то важные мысли вылетели у нее из головы, она умолкла на минуту.

— Да все правильно, Геля, — поддержали ее подруги.

— Давай главное...

Сергей слушал ее внимательно, ему было и радостно, и неловко, и хотелось выручить Гелю.

— Да я все понимаю, честное слово... — заговорил он. — Буду стараться и обещаю вам, девочки...

— Нет, это еще не все, — продолжала Геля. — Мы хотим, чтобы ты о нас вспоминал... — И с этими словами она протянула ему красную коробочку: — Вот, Сережа, это тебе от нас...

Он, не ожидавший этого, даже отпрянул слегка, подумав, что вот уж это они напрасно сделали, но по глазам девушек, по их возгласам понял, что отказываться он не должен, иначе они обидятся, и взял из Гелиных рук коро-

бочку. Когда открыл ее, взглянул изумленно. На маленьком круглом циферблате меж двух медлительных стрелок тревожно билась красная секундная стрелка. . . Склонив стриженую голову, Сережа разглядывал первые в его жизни часы, потом поднял глаза на своих однокурсниц:

— Спасибо, девчата. . . Большое спасибо вам за все. . .

Они заговорили опять все сразу:

— Да ты надень их!

— И ремешок есть.

— У кого ремешок, девочки?

— Он же у тебя, Геля.

— Ничего подобного. . .

— Вот он, — сказала Лида, вынув из своей сумочки широкий кожаный ремешок, и подала его Сереже.

Потом она помогала ему надевать часы. Он держал перед ней свою крупную в кисти руку, пока она застегивала ремешок. Ощувив у запястья холодные кончики Лидиных пальцев, Сережа на мгновение зажмурил глаза и снова открыл их.

— Ну что вам сказать, девчата? . . Я рад, что был с вами. Думаю, что мне повезло. . . А теперь давайте прощаться. Иначе завтра на лекцию опоздаете. Геля! Рита. . . Слава! — всем по очереди он пожимал руки. — Светочка, Рая, Валя, спасибо вам всем. . . Тося. . . Маринка. . . Желаю вам успешно закончить училище.

Сережа говорил, и слова его вплетались в ответные реплики девушек, в их добрые напутствия, шутки. . . Последней была Лида Ермолова. Он положил ей на плечо руку и легонько повернул к себе, сделав знак девочкам, что сейчас он будет говорить то, что предназначено ей одной:

— Итак, Лида, моя просьба, вернее, совет, остается в силе. Насчет Золушки. . . Поняла? Ну вот. . . — И, видя, что она согласно кивает ему, сказал, что будет ждать от нее письма, но прежде сам напишет, и крепко сжал ее маленькие руки. — До свиданья!

— Счастливо тебе служить!

Катя выждала свое время, и, когда Сережа простился с девушками, она кинулась к нему. Он поцеловал сестру, подбадривал, он даже сердился на нее немного за то, что она опять всплакнула, но Катя говорила, что это она не от плохого плачет, а просто так. . .

— Девчонки-то какие хорошие...

Их уже не было, и Сережа остановился перед раскрытой дверью, вглядываясь в освещенную огнями улицу. А гармошка играла...

Назавтра в классе то и дело девушки посматривали на парту справа, у окна, где пустовало никем не занятое место. Говорили о том, что Сережа теперь в вагоне, едет и, может быть, вспоминает о них... А Лида думала: «Интересно, что он напишет мне? И какие это будут слова?..»

После занятий она догнала девчат у входа в столовую и попросила Гелю задержаться на минутку:

— Знаешь что... помоги мне, Гелька. Я еще позавчера получила разрешение и хочу перебраться в общежитие.

Они остановились на крыльце.

— Давно бы так! — Геля одобрительно кивнула ей. — Ну и что? В чем должна заключаться моя помощь? Идем... — Она первая вошла в столовую. Пришлось занимать очередь, как обычно.

За обедом Лида сказала, что ей одной не хочется идти в поселок, к тетке.

— Сходим вместе, а? Вещичек там ерунда, чемодан небольшой и книги. Я бы одна унесла, но, понимаешь, Геля, не хочется идти одной из-за тетки... Начнет уговаривать, плакать... Упреки там всякие пойдут, и вообще не могу я одна идти туда...

Геля, давно уже предвидевшая этот исход, улыбнулась.

— Понятно, — сказала она весело. — Не волнуйся, птенчик, я возьму тебя под крыло...

Через несколько минут они вдвоем вышли из столовой и зашагали в сторону поселка.

НОВЫЙ СЕКРЕТАРИ

Ноябрьской поземкой курились улица и большой открытый двор совхозных мастерских. Во дворе в длинном ряду стояло с десяток тракторов старых марок, давно отживших свой век. На помятых гусеницах, на побитых колесах налипла густыми, смерзшимися комьями грязь. Видно было — они честно отслужили свое.

А там, в цехах, полным ходом шла напряженная работа. В ярком солнечном свете, льющемся в широкие окна новых, недавно отстроенных ремонтных мастерских стояли разобранные тракторы, и возле них возились люди — старые и молодые, высокие и низкорослые и вместе с тем друг с другом очень схожие сильными, узловатыми руками и обветренными, бронзово загорелыми лицами, причудливо разрисованными жирными полосами машинного масла.

Мастерские из года в год справлялись со своими заданиями, а в этом году отстали. Не хватало запасных частей, и это сдерживало работу. Люди в цехах старались наверстать упущенное.

С особой силой закипел труд во второй половине ноября: не только коммунистам, всем хотелось прийти с лучшими показателями к уже объявленному дню открытия районной партийной конференции.

Секретарем партийного бюро совхоза был новый человек, недавно избранный, Степан Игнатьевич Егоров, — квадратного сложения крепыш, со смешливой искоркой в глубине карих, с лукавым выражением глаз. Сам в прошлом механик, он во многом отличался от бывшего секретаря, пожилого, долговязого, болезненного на вид чело-

века без производственной профессии, — Ивана Андреевича Трофимова. Тот много лет проработал в разных организациях, на нескольких предприятиях, но так и не научился разбираться в сложных механизмах. Да он это и не считал своим долгом.

— Зато уж насчет того, чтобы закатить речугу, — говорили о нем, — мастак! Час отрезвонит — и хоть бы раз запнулся! А чтоб с человеком отдельно поговорить, этого не было. Некогда! То митинг, то совещание, то слет... И все готовить надо. Где уж там...

Новый секретарь — и это сразу все с одобрением отметили — больше с людьми был. И поговорит не торопясь, и в машину, если надо, полезет, и дело подскажет.

— А вот войдет на трибуну, — говорили о нем, — не то. Больше чем на десять минут ни одной речи не вытянет... Да и говорит — как по мерзлым комьям бредет...

— Зато дело говорит, — замечали при этом. — Без пустозвонства.

Слово нового секретаря Степана Игнатьевича Егорова было как твердый грецкий орех: с трудом расколешь, ладонь обобьешь, но расколол — вынимай ядро, крупное, упругое. А речи прежнего секретаря — сухие, мелкие орешки. Внутри одна пустота...

Люди на каждом шагу невольно сравнивали старого и нового секретарей, и сравнение это явно было в пользу Степана Игнатьевича. Но знали его все же мало, да и он людей еще мало знал.

Когда Степан Игнатьевич через несколько дней после Октябрьских праздников вывесил в цехе большой, с непросохшей краской призыв, это никого не удивило. Часто, бывало, вывешивал в цехах призывы и Трофимов: «Товарищи ремонтники! Шире размах социалистического соревнования!» — или что-нибудь в этом роде. Люди равнодушным взглядом скользили по привычным словам и сразу же забывали. А когда Трофимов, бывало, от имени их вывешивал обязательства, это часто и злило людей.

— Хоть бы потолковал с нами, как эти обязательства выполнить.

Люди работали кто лучше, кто хуже, кто раньше, кто позже выполнял задания, — и часто выполняли их досрочно, — но все это шло как-то безотносительно к Трофимову и к тому, что он делал.

Может быть, поэтому ремонтники и сейчас сразу не

обратили внимания на вывешенный Степаном Игнатьевичем призыв. Но вот один глянул вверх, другой. На широкое кумачовое полотнище, ярко выделявшемся на пролете цеха, было написано:

«ТОВАРИЩИ МЕХАНИЗАТОРЫ! КО ДНЮ ОТКРЫТИЯ РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОТРЕМОНТИРУЕМ ТРАКТОРЫ...»

Дальше — и это было ново! — яркой белой краской крупно были выписаны марки и номера десяти тракторов. Каждый, кто ремонтировал один из этих тракторов, тут же вспомнил: вчера, позавчера, третьего дня секретарь партбюро не в кабинете у себя, а здесь, в цехе, обстоятельно говорил с ним об этом самом тракторе, номер и марка которого красуются теперь на кумачовом полотнище...

Подошел он — было это позавчера — и к Анатолию Гребневу, молодому белесому парню, третий год работающему в мастерских, комсомольцу. Коротко рассказал о предстоящей конференции и под конец спросил:

— Ну как, подготовишь свой трактор? Семь дней осталось. Вытянешь? Запишем в обязательство...

— Пиши валий! — беспечно ответил Анатолий с широкой, белозубой улыбкой, открыто сверкнувшей на его обветренном лице.

Степан Игнатьевич нахмурился, прямые темные брови сошлись над переносицей.

— Не нравится мне это...

— Что не нравится?

— Беспечность твоя не нравится. Я серьезно спрашиваю.

— Я серьезно отвечаю.

— Что ты отвечаешь?

— Вытяну.

— Вытянешь? — Степан Игнатьевич недоверчиво глянул на тракториста, но брови над переносицей разошлись. Он осмотрел трактор и одновременно как-то и дружелюбно и по-деловому сказал: — Работы у тебя тут дней на десять, а надо — в семь. Сможешь?

— Смогу, Степан Игнатьевич.

— Значит, запишем?

— Записывайте, — без бахвальства ответил Анатолий и долгим взглядом проводил секретаря, направлявшегося к другой машине.

Так Степан Игнатьевич за несколько дней переговорил со всеми работавшими в цехах. Двум трактористам, которые ремонтировали трактор «ДТ-54» и которые вызвались ко дню конференции закончить ремонт, Степан Игнатьевич отсоветовал брать такое обязательство.

— Почему же? — изумились оба.

— А потому, что объем работы у вас очень большой. И трактор ваш больше других изношен. Не успеете.

— А чем же мы хуже других? — обиделся один из трактористов. — Там видно будет. . . А раз все берут обязательства. . .

— Обязательства ради обязательств нам не нужны. Сделаете — хорошо. Позориться не советую.

И отошел. Трактористы переглянулись, пожали плечами. Не слыхали они подобных речей от Трофимова.

Много кропотливой работы еще предстояло двум трактористам, ремонтировавшим большую машину «С-80». Степан Игнатьевич и не думал к ним подходить: знал — вряд ли им в короткий срок справиться. Но знал он их меньше, чем других, и решил поговорить.

Напарники ничем не были похожи друг на друга и, может быть, поэтому состояли в долгой, неразлучной дружбе. Тот, который постарше, Василий Рябов, высок, широкоплеч, светловолос. Крупное лицо его с мясистым носом портили несколько глубоких, запекшихся шрамов. Медлительный в мыслях и движениях, он был из тех, о ком говорят: «Слова не вытянешь». Другой, Гриша Беляев, — маленький, верткий, лет на десяток моложе, черноглазый, черноволосый, — из тех как раз, о ком обычно говорят: «За словом в карман не полезет».

Когда речь зашла о возможности закончить ремонт машины ко дню открытия конференции, Василий с трудом выдавил из себя одно слово:

— Пустое!

И, помолчав, глухо добавил:

— Не будет.

Гришка скороговоркой зачастил:

— Ни боже мой! Никоим образом! Что вы, шутите! Да вы только посмотрите — дел тут еще чертова уйма. . .

Рябов, вопреки своему обыкновению не возвращаться к раз уже сказанному, вдруг с плохо скрытой и какой-то непонятной злостью отрубил:

— В общем — надоело.

— Что надоело? — не понял Степан Игнатьевич.

— Да обязательства все эти к праздникам, к слетам...

— Непонятно, — протянул Степан Игнатьевич и с любопытством уставился в запекшиеся шрамы на лице тракториста. А Гришка Беляев только рот разинул от удивления и даже не нашелся, что сказать.

Недовольный, что его втянули в разговор, что одним словом свою мысль не пояснишь, Рябов глуховатым, простуженным голосом заговорил:

— Вот слушаешь другой раз агитатора или газету читаешь — что ж получается? Получается — только как бы ради праздников, ради слетов и работаем. Обязательства... Это ежели каждую неделю обязательства брать, одно дерганье получается...

Глаза его потемнели, он повысил голос:

— Одно у нас обязательство на всю жизнь. Война — воюй! — Он поднял руку, как и лицо его, всю в запекшихся шрамах. — Мир — трудись! Вот... — И он опустил руку.

Степан Игнатьевич с уважением глянул на тракториста.

— Это ты правильно сказал, хорошо сказал: война — воюй, мир — трудись! Ну ладно, товарищи, работайте. Никто вам никаких сроков не навязывает.

Когда назавтра после этого разговора Степан Игнатьевич, прикрепив над цехом кумачовое полотнище, ловко соскочил на пол, глянули на вывешенный лозунг и Василий с Гришей. Не успел еще Гриша и слова вымолвить, как Василий с необычайной для него ловкостью сорвался с места, и вот уже он, высокий, плечистый, кряжистый, навис над Степаном Игнатьевичем.

— Ты что же это, секретарь? Почему нас обидел?

— Чем?

— А вот чем. — Руку в запекшихся шрамах Василий выбросил к полотнищу на стене. — Десять тракторов вписал, а наш где?

— А ты мне что говорил вчера?

— Мало что говорил. А ты вот возьми и впиши. Понял? Не отстанем, сделаем.

— Сделаете, говоришь?

— Сделаем!

— Да, — поскреб в затылке секретарь, — задал ты мне задачу, придется теперь за краской и кисточкой снова сходить...

Идя по заснеженному двору мастерских, Степан Игнатьевич тихо напевал про себя «Трех танкистов» (в войну он тоже водил танк). Было радостно за людей, за одиннадцать тракторов, которые будут отремонтированы к открытию партийной конференции, а больше всего его радовал этот, одиннадцатый трактор, не попавший было в список.

Кружила поземка. Мороз вышибал слезу. Но на Степана Игнатьевича вдруг пахнуло свежим ветром. Люди-то готовились к весне...



ПЭРЛ И НОЙ

1

Осень. В запоздалом цветении золотится подсолнух на тонком стебле. Высохший стручок роняет на землю блестящие фасолины. Полувысушенные солнцем, крепкие, гладкие початки кукурузы, словно завернутые заботливой рукой в желтоватую папиросную бумагу, поблескивают плотно — одно к одному — прижатыми зернами меж свисающих вниз рыжеватых, с подпалиной усов. Продолговатые дыни, впитавшие в себя солнечный свет и соки земные, издают сквозь грубую кожу сладковатый аромат.

Старая женщина подняла над головой вязку фасолевых плетей, едва обхватив ее руками. А на соседнем огороде, над леском только что обезглавленных стеблей, выпрямилась русоволосая девушка. Одной рукой она придерживает мешок, доверху наполненный срезанными, черными, в светло-зеленой оправе кругами подсолнуха.

«Что ни день, то становится краше», — думает о девушке старая соседка и окликает ее:

— Бейлкэле! Подойди-ка на минуту...

— Что такое, бабушка Песя?

С мешком на плече девушка подошла к краю своего огорода, отбросила падающую на глаза прядь волос.

Старуха вовсе не приходилась Бейлкэле бабушкой, они вообще ни в каком родстве не состояли. Но полдеревни внуками этой сухонькой, подвижной и необычайно любопытной старушки, потому и вторая половина жителей деревни другого имени, кроме «бабушка», для нее не имела.

— Бейлкэле, ты уже, — тьфу-тьфу, не сглазить, — невеста... Да, ты становишься красавицей, право...

— Не надо, бабушка Песя, — застеснялась девушка.

— Вылитая мать. Когда она была в твоих летах, вот такую же помню. . . — Старуха почему-то тяжело вздохнула и спросила: — Скоро уже приедет она, мама твоя? Что-то задерживается. . .

Бейлкэле вдруг необычайно обрадовалась. Она думала, что всем в деревне это уже известно, но, оказывается, есть еще человек, который не знает.

— Сегодня, сегодня, бабушка Песя, приезжает она. — И девушка даже слегка подпрыгнула с тяжелым мешком на плече. — Сегодня ночью!

Она уже собралась уходить, но старуха ее остановила и заставила сложить ношу на землю.

— Подожди, подожди, не торопись. Это правда, Бейлкэле, что люди говорят?

— Что говорят, бабушка Песя? — переспросила девушка.

— Ай-ай-ай, у тебя уже секреты завелись от бабушки Песи! Думаешь, я не знаю?

— Что, что вы такое знаете? — В голосе девушки слышалось недоумение.

— Что значит что? А то, то мама твоя больше не вернется домой. . . Она в город переезжает, вот что. . . Тебя с братишкой она потом заберет к себе.

Глаза у Бейлкэле были такие же, как у матери, большие, синие. Сейчас они стали еще больше.

— Ну что вы такое, бабушка Песя, говорите? Кто вам все это наболтал? Мама сегодня приезжает. Письмо есть. Да, сегодня ночью.

Обиженная, расстроенная, не ожидая, что еще скажет старуха, девушка вскинула мешок на плечо, слегка подпрыгнула, чтобы ноша лучше легла, и быстро скрылась среди обезглавленных стеблей, опутанных то тут, то там серебристой паутиной.

С легким шумом над огородом пролетел голубь.

А бабушка Песя уже была у другого края огорода. Возле заросшей травой и пасленом межи она отводила душу в разговоре с Фейгой Азриэлевой. «Азриэлевой» — женой Азриэла. Так уж было заведено в деревне — звать жену по мужу: Азриэлева Фейга, Ноева Пэрл.

Бабушка Песя опустила на землю огромную вязку, покряхтывая, присела на нее и показала в сторону скрывшейся Бейлкэле:

— Не правда ли, Фейга, жалко их — и Пэрл, и детей ее?

— Ничего с ними не случится, — грубовато ответила спокойная, рассудительная Фейга.

— Не говори! Вот пусть она только сегодня приедет, Пэрл, — если только правда, что она приезжает, — так ведь он, Ной, на порог ее не пустит. Ни за что! Это же чудовище, разбойник, какого свет не видел.

— Неужто? Так вот и не пустит?

— Ты не знаешь Ноя? Он же поклялся, что если только она уедет, пусть потом куда хочет идет. Дверь дома перед ней будет закрыта. И он, этот сумасшедший, так и сделает, вот увидишь!

Бабушка Песя придвинулась ближе к своей несловохотливой собеседнице и тихо, как бы доверяя большую тайну, продолжала:

— А Пэрл, думаешь, не знает, с кем имеет дело? Говорят, она остается в городе. Да-да. И детей потом к себе заберет. ...

— И правильно. Так и надо, очень умно бы сделала, — разошлась и Фейга. — Мыслимое ли дело — изо дня в день надрываться, не зная покоя! А ради чего? Чтобы нациркать от коровы еще стакан молока. ... А если не циркается, так что? Руки на себя наложить?

— Все-таки, Фейга, подумай. Как так можно? Люди немолодые, двое взрослых детей. Как же так — взять и разойтись? Это же и смех и грех!

— Любви и лада между ними, насколько я помню, никогда не водилось, — ответила Фейга.

Горбясь под своей вязкой, бабушка Песя, побряхтывая, поплелась обратно к себе на огород.

2

Низкорослый, борода колючая, рыжая, кое-где прошитая седыми прядями, стоял Ной на колхозном дворе, переминываясь с ноги на ногу, перед председателем. Видно было, долго уже стоят они так друг против друга, приземистый Ной и долговязый председатель колхоза Букин, и никак о чем-то договориться не могут.

Ной упрямо глядел вниз, на потертые голенища своих юфтовых сапог, то и дело сбивая с них кнутовищем при-

сохшую грязь. И вместе с ошметками грязи падали его отрывистые слова:

— Сказал уже... не поеду.

— Почему?

Ной поднял на председателя тяжелый взгляд:

— Пусть кто-нибудь другой...

— Что другой?

— Кто-нибудь другой пусть едет сегодня к вокзалу...

В старых кожаных сандалиях на босу ногу, в темных плюшевых, изрядно потертых брюках галифе, в выцветшей гимнастерке, председатель колхоза Самуил Букин стоял, опершись о поломанную телегу, — высокий, узкоплечий, с красноватыми глазами хронически недосыпающего человека. Под обветренной кожей лица ходуном ходили желваки. Ох, уж этот Ной! Уперся, как бык: не поеду — и все! И так и этак ему доказывал: керосин нужен до зарезу, кого-нибудь другого послать нельзя — все заняты. Так разве же его уговоришь! В печенках сидит у него этот Ной!

Вдруг председателя словно осенило, он даже по лбу себя стукнул: дескать, ну, и остолоп же ты, братец! О главном-то забыл!.. Быстро подойдя к Ною, он лихо толкнул его в плечо:

— Слушай, Ной, Пэрл твоя сегодня ведь приезжает. Надо же, совсем из головы выскочило... Вот заодно и ее встретишь, домой привезешь.

И, считая вопрос решенным, не дав Ною что-либо возразить, Букин быстро зашагал к коровнику. Уже с порога обернулся и крикнул Ною, все еще остававшемуся в той же позе:

— Слышишь, Ной, соломы прихвати побольше! Чтоб не растрясло в дороге. Нам твоя Пэрл нужна невредимая...

И Букин шагнул в коровник. В сырой, остро пахнувшей на него полутьме донеслись тяжкие вздохи нескольких коров, которых он еще не успел разглядеть. Заблудившиеся воробьи суматошливо летали и чирикали вдоль узких, продолговатых окон, сквозь которые в помещение проникал скудный свет. Приглядевшись, Букин увидел в темном углу, на мокрой подстилке, корову черной масти с грязно-белыми пятнами на впалых боках. Мучительно выпученные глаза коровы были затянуты влажной пленкой. Изредка она судорожно открывала пасть, с кото-

рой свисала пена. В противоположном углу председатель увидел другую, совсем черную корову. У той горой вздувался живот, и дыхание было прерывистым, тяжким со свистом.

Вид этих двух больных коров резанул председателя по сердцу, заставив его вспомнить вчерашний разговор в райкоме партии с секретарем Березиной. Направляясь туда, он знал, что по головке не погладят, но и на такой оборот, какой принял разговор, тоже не рассчитывал.

«Ничего не скажешь, бой-баба эта Березина, новый секретарь, бой-баба», — думал он, чуть ли не с восхищением вспоминая, как здорово ему вчера там всыпали.

«Пэрл, Пэрл... Нет Пэрл, умерла!.. И что же?» — так она ему выговаривала, когда, пытаясь объяснить создавшееся на ферме тяжелое положение, он сослался между прочим и на то, что лучшая доярка почти месяца отсутствует.

Букин не привык, чтобы с ним так разговаривали, он пробовал возражать, но в душе понимал, что ерепениться нечего. Березина, хотя она и новый секретарь и еще не успела до тонкостей узнать все, что делается в районе, безусловно, права. Впрочем, и насчет тонкостей — это еще как сказать...

Во время вчерашнего разговора она внезапно спросила:

— Скажите, Букин, это правда, что у вашей лучшей доярки, у Пэрл, дома не все ладно? Будто мужу ее не по душе, что жена его знатный человек в колхозе, познатнее его? Так говорят?

— Говорят, — уклонился от прямого ответа Букин.

— Нет, вы мне скажите: правда это или нет?

— Правда.

— То-то. — И она пристально посмотрела на Букина. — Вопрос щепетильный, сложный. А вы не пытайтесь уйти от него. Тут не семейные дразги, нет. Характерами не сошлись, мол, то да се. Тут дело посерьезнее. Тут, если хотите, тоже решается вопрос: «Кто кого?» И мы с вами об этом не должны забывать...

Больше Березина этого вопроса не касалась. Прощаясь, сказала:

— Запомните, Букин, — в другой раз так легко не отделаетесь.

На этом закончился разговор.

Глянув по сторонам и нигде не обнаружив скотника, Букин крикнул:

— Доди!

Никто не отозвался. Тогда он крикнул так, что воробьиная стая у дверей мигом прыснула во все стороны:

— Доди!

Прихрамывая, появился в дверях невзрачного вида человек со включенной седой бородкой. Некоторое время председатель молча смотрел на торчавшие из бородки соломинны, на примятую кепку, припухшие глаза и красную, в белых полосках правую щеку...

Почесав за ухом, человек спросил:

— Чего? Звал меня кто? — И помигал седоватыми веками. — Нужен кому я?

Он все мигал и мигал — то глядя на собственные ноги, то искося на Букина. А председателя душила злость. Он слова не мог вымолвить, только ткнул пальцем в сторону коровы с грязно-белыми пятнами на боках.

— Вот эта? — покосился скотник. — Нажралась гусяком и со вчерашнего дня в рот ничего не берет...

Затем о второй, распухшей корове:

— Дохлятина! Молока от нее — смех один, с наперсток, а жрет — дай боже! Вчера ночью в пшеницу забралась.

— А ты? Ты где был? — не выдержав, сорвался на крик Букин.

— Я? — хладнокровно переспросил скотник и снова мигнул.

Букин выбежал из коровника. Чувствовал: еще миг — и он поколотит этого человека...

Весь двор был усеян соломой и кучками сена. Перепрыгивая с места на место, оглушительно галдели воробьи. Их здесь было видимо-невидимо. Остро пахло конским по́том; дегтем.

Шаркнув крылом по земле, у самых ног Букина поднялась ворона и тяжело, боком полетела в сторону. Букин проводил ее все еще гневным взглядом. И тут ему на глаза снова попался Ной. С трудом отрывая сапоги от земли, тот не спеша запрягал в телегу буланых, злобно награждая их тычками то по бокам, то по морде.

— Быстрее собирайся! — крикнул ему Букин. — И не возвращайся без Пэрл, понятно?

Букин, оказывается, раньше только делал вид, что забыл о приезде Пэрл. На самом деле он об этом только и думал, когда завел разговор с Ноем. Раздоры между Пэрл и ее мужем еще до разговора с Березиной немало беспокоили Букина. Лучше всего, думал он, чтобы Ной сам встретил ее на вокзале. Дорога до дому неблизкая, успеют поговорить и, может, до чего-нибудь договорятся. А керосин — ну что ж, керосин тоже нужен.

Ной даже не посмотрел в сторону председателя. А ни в чем не повинную пристяжную хлестнул так, что та даже подпрыгнула.

— Холера тебе в бок! — зло выругался он.

3

Целый месяц Пэрл лечилась от мучившего ее в последние годы ревматизма. А Ной не верил: притворяется... Если кто болен, думал, так это он. И если колхоз посылает на курорт, то почему ее, а не его? И вообще — что за порядки пошли на белом свете? Испокон веку велось: жена — дома, ее дело — хозяйство, дети. И больше носа никуда не суй! А с тех пор, как стали эти колхозы, все перевернулось вниз головой... Пэрл, его Пэрл, стала работать в колхозе, на ферме, и он ее не узнает, как будто ее подменили... Бывало, раньше, если дома по хозяйству что-то не так, он только взглянет на нее исподлобья — и, смотришь, ее в жар бросает. А теперь, теперь попробуй крикни на нее или, не дай бог, замахнись рукой! Тут такое поднимется...

Вот и сейчас — Пэрл прохлаждалась на курорте, а он здесь ночи напролет глаз не смыкает. Лежит, слушает, как по степи ветер гуляет, бьет наотмашь по окнам, — как только стекла не выпадают. И кажется ему, Ною, что кто-то к нему стучится, кто-то с насмешкой, с издевкой сейчас ему крикнет: «Один остался, старый дурень? Так тебе и надо». И в самом деле, где это слыхано: она, Ноева Пэрл, — всё, а он, сам Ной, ничего не значит. Этак можно и до такого срама дойти, что его, чего доброго, станут звать по ее имени. «Ной? Какой Ной? А, это тот самый, муж Пэрл...»

Эти тягостные мысли занимали его и сейчас, в пути на станцию. Навстречу подводе с тарахтящей пустой боч-

кой набегали, все увеличиваясь в размерах, телеграфные столбы, а потом, оставаясь позади, становились все меньше и меньше. Тонкие, прозрачные нити паутины липли к бороде. Клубками висела паутина на сухих сорняках, лениво качавшихся по всей, насколько хватало глаз, пожелтевшей степи. Каждый раз в другом месте с шумом опускались целые стаи ворон, в одиночку и парами рыскали они по стерне, затем с громким карканьем всей стаей взмывали вверх, оставаясь висеть в воздухе черной разорванной тучей...

Ной часто и зло стегал кнутом лошадей. Позади него подпрыгивала и тоже зло позванивала пустая железная бочка. Он спешил, хотел скорее получить на нефтебазе керосин, чтоб отправиться в обратный путь еще до прихода вечернего поезда, которым должна была приехать Пэрл. Букин-то... чего захотел! Чтобы он, Ной, сам отвез Пэрл домой? И это после того, как все в деревне знают, что перед ее отъездом он заявил: «Домой можешь не возвращаться!» А она... Много думала она о нем там, на курорте? Целый месяц прохлаждалась у моря, черт знает с кем лясы точила, бездельничала, а он здесь все хозяйство тащил, ночи не спал. Не нужна ему, Ною, такая жена. Колхозу она нужна — так пусть колхоз за ней и посылает.

«Ну, так вот, Букин тебя же и послал, — кольнуло в мозгу, — все дырки тобой затыкают». И он вспомнил, как Букин крикнул ему, чтобы побольше соломы захватил, чтобы не растряс в дороге драгоценное сокровище — Пэрл. Да он просто решил поиздеваться над ним, Букин.

— Пошел! — Ной изо всей силы стеганул кнутом по лошадям. — Хвороба вам в кости!

4

Пока он получал на нефтебазе керосин, над степью в зареве заката угас осенний день. Над землей распростерлось темное, словно обгоревшее, небо с редкими блестками звезд.

Ной уже довольно далеко отъехал от нефтебазы. Подвывая подвешенным ведром, подвода уходила в темень, а он, словно убегая от опасности, все гнал и гнал

лошадей, поворачивая их к переезду через железнодорожную линию, чтобы оттуда прямым ходом домой.

«Будут болтать. Ну и пусть, — преодолевал он в себе какой-то проблеск сомнения в том, правильно ли сейчас поступает. Пусть знают, что и он, Ной, чего-нибудь стоит, что шутить он с собой не позволит. — Как сказал, так и сделаю. А кататься на мне, — все более распалял он себя, — я никому не позволю — ни Букину, ни Пэрл... Хвороба им всем!»

Букина он все-таки побаивался и старался себя подбодрить: «Ну и что? Керосин я привезу? Привезу. И хватит. А за мою жену пусть у него голова не болит...»

И вдруг, разом откинувшись назад, к бочке, Ной рванул вожжи, с трудом остановив лошадей у самого железнодорожного полотна. Резкий гудок разорвал ночную тьму. Рассыпая по сторонам огонь и искры, мимо промчался паровоз.

Мгновение — и не было бы ни Ноя, ни лошадей. Поминай как звали! Только сейчас он понял, какой страшной опасности избежал в последнюю минуту, и задним числом до смерти испугался... Задрав в разные стороны оскаленные морды, пятились назад испуганные лошади. Всеми силами сдерживая их, Ной дрожал на передке телеги, а мимо него с подпрыгивающим лязгом проносились один за другим ярко освещенные вагоны. Позади них, в обратном направлении, шел товарный состав, и огонь паровозной топки словно заглядывал поочередно в окна пассажирского поезда. В этом причудливом двойном свете Ной вдруг заметил прижавшееся к оконному стеклу улыбающееся лицо женщины в белом платке. Он готов был поклясться, что это его Пэрл. Но что-то не помнится ему, чтобы она когда-нибудь улыбалась...

Где-то там, у вокзала, поезд остановился и весь как бы собрался в плотное, большое световое пятно. Низко над землей расплзались клубы пара и дыма, и стоял острый запах перегоревшего каменного угля.

Тому, что случилось затем, Ною трудно было найти объяснение. Может, сами лошади, помимо его воли, развернулись. Но хватился он тогда, когда уже проехал изрядное расстояние обратно к вокзалу, где — ему это представлялось очень ясно — стоит в ожидании Пэрл со своими вещами. Уже отчетливо видны были контуры станционных зданий,

Пальцы Ноя больно обжег огонек докуренной махорочной самокрутки, и это вывело его из оцепенения. Он в сердцах швырнул окурок наземь и, резко натянув вожжи, развернул подводу. Скользя по поддрагивавшим рельсам вниз, на едва заметную в темноте проселочную дорогу, телега ходко покатила в обратную сторону.

Издалека донесся еле слышный гудок отходившего поезда. Яркой зеленой звездочкой светил на той стороне семафор. Ночная дорога прохладно и тускло ложилась под поскрипывающие колеса. Живое скопище звезд мигало и мерцало над головой.

Позади согнутой спины Ноя в железной бочке перекатывался и глухо хлюпал керосин.

5

Пэрл еще ребенком осталась сиротой. К десяти годам пошла в прислуги, правда, не к чужим, а к дальнему родственнику. Тот жил в деревне, имел ветряную мельницу и слыл богачом. Звали его Зхарья.

Прибеднялся: «Тоже мне жизнь — от ветра живу». Но люди знали: процентщик он, деньги в рост дает.

Основу своему богатству Зхарья заложил сам. Отец его, из бедняков бедняк, умер, по слухам, с голоду. Мальчик на посылках, затем рабочий на мельнице — с этого Зхарья начинал. Детей не было. Жена, дочь хозяина, — через нее он и мельницу унаследовал, — вскоре умерла. Второй раз не женился. Поговаривали — из-за скупости, чтобы никакой другой человек возле него не кормился. И еще говорили: этот Зхарья самому себе хлеба кусок жалеет.

Ной в то время был еще мальчиком, прислуживал в лавке. Однажды хозяин поймал его на воровстве и прогнал. Тогда Зхарья взял мальчонку к себе на мельницу. Ной, уже подумывая о том, как бы выйти в люди, старался задобрить хозяина, работал, как лошадь, днем и ночью. Зхарье это нравилось и, когда Ной у него вот так отбатрачил за скудные харчи несколько лет, как-то позвал его к себе домой и сразу огорошил вопросом:

— Нойехце (так обычно он его звал), жениться хочешь небось? А?

Спросил словно бы так себе, невзначай, но при этом так посмотрел пронизывающим взглядом своих маленьких черных глаз из-под мучнисто-белых бровей, что Ной сразу понял: неспроста Зхарья задал этот вопрос. Неужели он что-либо проведаль насчет Миндл?

Ною тогда нравилась эта девушка. До сих пор, уже столько лет спустя, припоминаются ему, словно в тумане, две косички льняного цвета, глаза какого-то странного зеленоватого оттенка и розовые, будто клубничные, щеки.

Зхарья — к тому времени он уже успел разменять седьмой десяток — сморщил свое плоское лицо, затряс широко разросшейся мучнисто-белой, как и брови, бородой. Ной еще не успел ответить, как старик, тыча в него кривым пальцем, зашелся визгливым смехом:

— Ай, хочешь, Нойехце, ай, хочешь!.. Я-то вижу, вижу...

Затем Зхарья перестал смеяться. Тем же кривым пальцем поманил Ноя к себе. И Ной никогда не забудет того, что тот ему тогда сказал: он, Зхарья, уже не молод, на все божья воля, вечно никто не живет... В случае чего он хочет, чтобы мельница попала в хорошие руки. За знатностью он не гонится, сам с приказчика начинал...

Сидя на краешке стула, Ной смотрел хозяину прямо в рот и не мог взять в толк, к чему старый Зхарья клонит. Одно ему с каждой минутой становилось все яснее: то, что Зхарья позвал его к себе, усадил на стул, а не оставил стоять, как всегда, у притолоки, то, что хозяин как никогда разговаривает с ним, будто с равным, — все это неспроста, что-то такое он задумал. Но что?

Как бы подразнивая парня, старик спросил:

— Ну, понял, о чем я говорю? Ты же, Нойехце, не глуп, клепка в голове есть...

И опять, давась смехом, затряс мучнисто-белой бородой.

Выпученными глазами Ной смотрел на хозяина и все еще ничего не понимал. Потом, когда Зхарья снова заговорил, у Ноя появилась какая-то догадка, но он ее отогнал прочь. Нет, не может этого быть!

Пока наконец старик не дошел до корня — он хочет, чтобы Ной женился на Пэрл. Да, именно так, Нойехце не ослышался — на Пэрл... А он, Зхарья, ее удочерит.

Мельница! Вот что в это мгновение прежде всего встало перед глазами Ноя. Она росла, росла до самых облаков... И с чудовищной скоростью вращала крыльями, затмевая все, даже солнце. В этом головокружительном вращении все исчезло, в том числе и Миндл.

У него перехватило дыхание. Он еле промямлил:

— А она, Пэрл... захочет?

Зхарья снова зашелся визгливым смехом. Поблескивая черными влажными щелочками глаз, он только рукой махнул:

— Ну и скажешь, Нойехце... Хочет ли она? А кто ее спросит?

И оборвал смех:

— Хозяин здесь кто?

Вскоре справили свадьбу.

А после свадьбы оказалось, что незадолго до этого Зхарья втихомолку мельницу продал. В тягость стала она ему на старости лет. Хватит с него и того, что приносят проценты. А от прислуги — зачем ему взрослая прислуга? — надо было как-то отделаться. Тем более не просто прислуга, а родственница, бедная родственница... Так надо ей подыскать жениха, сделать доброе дело заодно, чтобы, как говорится, и перед богом и перед людьми. Жених, правда, неважный, но ничего, сойдет. Ну, а Нойехце? Хе-хе, пусть не будет ослом и не развешивает уши, принимая на веру все, что ему говорят...

Так началась семейная жизнь Пэрл. Обманутый Ной считал ее главной виновницей своих бед. Полгода не прошло, как она от его брани и побоев убежала куда глаза глядят. Даже не посчиталась с тем, что ребенок под сердцем стучится. Одни говорили, что она живет где-то в дальней деревне, другие — что в городе устроилась прислугой.

Ной ее разыскивать не стал.

Неожиданно среди зимы Пэрл появилась с посившим, почти замерзшим младенцем — девочкой — на руках и, сама еле живая, так и свалилась у Ноева порога...

6

Ной приподнял отяжелевшие веки, прислушался. В непроглядной тьме за подводой словно катилось слабое эхо. Вскоре с ней поравнялась и легко обогнала повозка, за-

пряженная парой рослых лошадей. Седоков он разглядеть не успел. Кучера в темноте вовсе было не различить, а сзади виднелась какая-то закутанная фигура — не то ребенка, не то женщины. Должно быть, подумал в полудреме Ной, кого-то везут с вокзала в соседний колхоз.

Он громко чмокнул губами, подбадривая своих буланых. Одна из лошадей вдруг споткнулась. Керосин в бочке хлопнул сильнее.

А Ноя между тем снова одолел сон. Расслабленные пальцы выпустили вожжи, уронили добрый кнут, подарив его степи. Обрадовавшись тому, что их оставили в покое, лошади, пофыркивая, все замедляли и замедляли шаг. Казалось, их тоже баюкала и вместе с тем пугала прохладная, неуютная ночная тьма с очень слабыми просветами где-то там, на краю неба...

Вдруг раздался сильный треск. Спросонья он показался Ноем оглушительным. Спрыгнув с телеги, он еще больше испугался. Лошадь, шедшая в упряжке слева, скалила крупные зубы, била копытами по воздуху, хрипела. Одним концом у нее на шее, другим за колесо зацепилась выпавшая из рук сонного Ноя вожжа.

Голосом невиданной ночной птицы прокричала где-то поблизости автомашина. Вот она уже рядом, и не успел Ной разобраться, что за беда приключилась, как из остановившейся машины выскочил водитель — ловкий молодой парень, бросился к лошади и сильным ударом ножа разрубил душившую ее, туго натянутую вожжу. Буланый тяжело рухнул на колени, затем медленно, все еще продолжая хрипеть, поднялся.

— Откуда? — спросил шофер Ноя, смерив его презрительным взглядом.

— Из колхоза я, — растерянный, напуганный случившимся, тихо ответил Ной, — из «Октября».

— Много там таких соней, как ты? — съязвил шофер и обратился к кому-то сидевшему в машине: — Вот, поработай с такими...

— Да что ты, да я и не спал, — пытался оправдаться Ной, — что ты... И как только все это произошло...

Постепенно приходя в себя, он, что-то бормоча, стал приводить в порядок упряжь, поглядывая в сторону автомашины: кто это там едет, кого нелегкая несет?

Из кабины выглянула женщина. «Неужто Пэрл? — оторопело подумал Ной. — Только этого не доставало! Машину за нею снарядили, как же!»

Но это ему только померещилось, стояла возле него, выйдя из машины, Березина — новый секретарь райкома партии.

— Так, говорите, из «Октября»?

— Оттуда...

— Как звать-величать?

— Бердник, Ной Бердник.

Быстрым взглядом Березина смирila его с ног до головы.

— Знатная доярка Пэрл — ваша жена?

Он посмотрел на нее снизу вверх:

— Ну, так что?

— Что значит «ну, так что?»?

— Ну, моя.

Некоторое время Березина молча смотрела на этого странного, ершистого человека, словно изучая его.

— Что вы меня так разглядываете? — не выдержал Ной. — Не такой человек, как все?

— Наслышана о вас, — ответила Березина, — вот и хочется посмотреть.

— Что такое вы слышали? Можно подумать...

— Была бы рада услышать другое.

— Моя это забота, ничья больше, — пробормотал Ной.

— Что именно?

— А вот то, как я с женой живу.

Он замолчал. Затем, как бы на что-то решившись, шагнул в сторону Березиной:

— Спросить можно?

— Спрашивайте.

— Вот вы тут секретарь райкома, командуете... Так вот ответьте мне...

Ной перевел дыхание. Еще шагнул вперед.

— Вы мне приказали отвести на колхозный двор моих лошадей — я отвел.

— Я не приказывала, — перебила его Березина.

— Не вы, так другой, какая разница? Но я отвел. Два коня у меня было — обоих отвел. И корову отвел. Сейчас скажите мне, — он прищурил глаза, — жену я тоже дол-

жен колхозу отдать? Или, может, такого закона пока еще нет?

«Не так уж он прост», — подумала Березина. Подождав, может, он еще что-то спросит, но не дождавшись, она тихо, даже как-то растягивая слова, сказала:

— Вот для вас, Бердник, действительно все равно, что колхозная лошадь, что ваша жена. Обеим, вижу я, от вас достается...

Она подошла к буланому, который все еще тяжело мотал своей большой головой, ласково, успокаивающе провела рукой по длинной морде, а Ною сказала:

— Запомните, Бердник: с прежним — «моя жена, моя лошадь, что хочу, то творю» — покончено. Сейчас это не только ваша, но и наша общая забота.

Ной молчал.

Березина что-то еще хотела сказать, но потом подумала, что обстановка для этого малоподходящая, и только спросила:

— Когда жена приезжает?

Он снова снизу вверх бросил на Березину подозрительный взгляд.

— Не знаю.

— Мы с вами еще поговорим, Бердник. Я как раз собираюсь к вам в «Октябрь» приехать, там и поговорим.

Она заторопилась к машине и, уже сидя в кабине, крикнула Ною:

— Подождите, дайте лошадям прийти в себя...

Машина блеснула фарами и скрылась в ночной степи.

Ной еще долго стоял возле телеги, смотрел туда, где скрылась машина, и бормотал: «Хозяева! До всего им дело!» Лошадь все еще ворочала головой из стороны в сторону. Со сжатым кулаком Ной подошел к ней с намерением отвести душу, но занесенная рука почему-то повисла в воздухе. Он опустил ее и с воплем: «Хвороба всем вам в кости!» — принялся связывать разрезанную вожжу.

7

Подрагивая, маленькая звездочка все пыталась, но никак не могла вырваться из плена, в котором держала ее лужа у колодца.

Ной завернул повозку, чтобы напоить лошадей. Отъезжая, колесами взболтал лужу, погасил звездочку.

Дальше дорога шла на подъем, и как ни подбадривал он буланых и губами чмокал, и вожжами шевелил — кнута-то не было, — двигалась телега медленно.

Тьма над степью меж тем начала редеть.

Отъехав несколько километров, Ной услышал — или ему это показалось? — чей-то далекий крик. Потом до него уже более явственно донеслось:

— Э-ге-гей!

Остановился, прислушался — ничего. Тронул с места лошадей, и снова:

— Э-ге-гей!

«Кто-то хочет, чтобы его подвезли, — подумал Ной. — Если по пути — почему бы нет? Конечно, не за спасибо. Такса известная: легкий пассажир — тройка, с поклажей — два тройка».

В первых проблесках рассвета Ной вскоре разглядел вдали расплывчатое пятно: кто-то с двумя узлами у ног стоял у дороги.

«С поклажей! — обрадовался он. — Два тройка, не меньше. А если нет, пусть топают пешком».

Впервые за эту трудную ночь Ной немного повеселел. Вынул из кармана сложенную газету, аккуратно оторвал кусок, сделал самокрутку, осторожно насыпал махорки.

Человек там, впереди, ждал. Вот Ной уже разглядел поклажу. В глаза бросилась белая плетеная корзинка... И сразу до удушья перехватил дым от папиросы. Первая мысль — развернуть лошадей... Но было уже поздно. Застигнутый врасплох, он не знал, что делать, как держать себя, и пробормотал первое подвернувшееся на язык:

— Откуда? Ночью, одна...

Будь он не так растерян от неожиданности этой встречи с глазу на глаз в ночной степи, может, и услышал бы в ответе и удивление, и нечто похожее на радость, на готовность что-то простить.

Но он ничего не услышал. Может, вдруг подумалось ему: он таки заснул и все это ему снится? То, что потерял кнут, что коня чуть не задавил... Машина, Березина... А сейчас она, Пэрл...

Но нет — вот она стоит перед ним — в новой шали, в городского покроя платье и жакете. Она — он еле уз-

нал ее: будто Пэрл и не Пэрл... Что она там говорит? Ага, объясняет, что никого из их колхоза на вокзале не нашла, попутной подводой, видно, той, что меня обогнала, — подумал Ной, — добралась сюда, до поворота на Каличино, а отсюда надо как-то добираться домой. Она уже давненько стоит с вещами. И вот услышала — кто-то едет...

— Откуда же ты сейчас, Ной?

Поди Расскажи ей...

Его постоянное недовольство женой, недовольство ее отъездом, приездом, тем, что, несмотря на все уловки, все же ему придется доставить ее домой, — все это накопилось, комом встало в горле, не передохнуть.

— Тут вот, — еле выдавил он из себя, — Березина на машине проезжала... Пусть бы... Ты же из них, этих самых... Пусть бы она тебя и подвезла.

— Березина? — переспросила Пэрл. — Верно, со станции ехала. Если бы она меня увидела, конечно, подвезла бы.

Сказала она это просто, как что-то само собой разумеющееся. Именно эта простота и уверенность окончательно вывели Ноя из себя. Березина... Его она готова была растерзать... И за что? За то, что чуть не удушил колхозную дохлятину. Эта дохлятина для нее важнее, чем он, Ной. А Пэрл... о, ее бы она усадила в машину рядом с собой! Так пусть же она, Березина, ее и отвозит. Она, а не он, Ной. Он здесь ни при чем. Хватит! Не нужна ему жена, которая — всё, в то время как он — ничего. Если ничего, так вот...

На передке телеги, там, где он уже освободил было местечко для Пэрл, Ной опять широко расселся и сильно хлестнул лошадей вожжами:

— Но-о!

— Стой!

Ной не успел глазом моргнуть, как эта сумасшедшая Пэрл оказалась впереди лошадей — они же могли ее растоптать — и бесстрашно схватила их под уздцы.

— Стой, говорю тебе!

Такой он ее еще не видел. Шаль сползла с головы на плечи, темные волосы рассыпались вокруг побледневшего лица. Казалось, на этом лице остались одни глаза и в них синеватое, как горящий спирт, пламя. Она стояла перед

ним совершенно иная, незнакомая, высокая — намного выше его... Он ее сейчас видел как будто впервые.

— Не убежишь, — говорила она, с трудом переводя дыхание. — Вот тут, сейчас, все между нами решится. Раз, и навсегда. Или — или...

Не он, а она держала лошадей под уздцы, и Ной понял: здесь, в этой предрассветной степи, жизнь обоих — его и ее — легла на чаши весов, и какая чаша перевесит, так оно и останется.

Он попытался перевесить в свою сторону.

— Мне жена нужна в доме, а не в колхозе. Хватит... Отдал лошадей, корову... С меня хватит!

— Ной! Ной! — чуть ли не простонала Пэрл, и столько было в этом зове и боли и упрека, что он замолчал.

Перед глазами Пэрл в это мгновение пронеслась вся ее жизнь — с тех пор, как она, еще ребенком, маялась в прислугах у Зхарьи... Замужество... Уход из дома и потом возвращение с полузамерзшим младенцем на руках. Годы безрадостного труда, издевательства и горя. Сколько горя! Затем — колхоз. Она вступила в колхоз, стала там работать, и началась совсем другая жизнь. Нелегкая жизнь — в колхозе свои трудности. И дома работы хватало. Но только теперь она себя впервые почувствовала человеком. Так неужели она от этого откажется, вернется к старому? Она знает — ему, Ною, обидно. Что обидно? Что она не такая, как он? Но разве ему кто-либо мешает тоже стать человеком? Его злит, почему люди ее уважают. Ну так что же? Почет ей дался не даром, она его заслужила трудом. А ведь Пэрл знает, что его жжет, отчего он покоя не находит. Не удалось ему тогда стать вторым Зхарьей, вот он до сих пор и бесится. Он бы и сейчас не прочь стать Зхарьей, хотя времена таких зхарьев давно прошли. Все это она понимает, а он нет. Как же ему втолковать?

Там, у моря, Пэрл впервые за многие годы имела достаточно свободного времени, чтобы подумать, поговорить с людьми. Многое в собственной жизни, в жизни других ей стало яснее. «Приеду домой, — решила она, — и попытаюсь дать понять Ною то, что самой понятнее стало». Потому-то она сейчас схватила и так крепко держала лошадей под уздцы.

— Для тебя, — говорила она, — работа в колхозе — повинность, для меня — радость. В этом главная между

нами разница. И эту радость ты у меня не отнимешь, слышишь? Не отдам я ее!

Она попыталась взглянуть ему в глаза. Он их еще ниже опустил. Нет, не в его сторону перевешивает чаша весов. Ну и не надо! Хвороба им всем!

— Пошел! — Ной бешено рванул вожжи на себя, поднимая буланых на дыбы.

Пэрл упала. С минуту, оглушенная, лежала на земле. Медленно поднялась, отряхнула платье, осмотрелась. На востоке край неба украсила узкая алая полоса, и оттуда, от этой полосы, резко потянуло холодом.

Посмотрев вперед, вдоль дороги, Пэрл успела заметить, как на удаляющейся телеге трясется голова Ноя. Телега все уменьшалась и уменьшалась, тарахтела все слабее, слабее. Вот ее уже и совсем не слышно.

И вдруг Пэрл почувствовала, что всю ее, с ног до головы, охватило ощущение какой-то небывалой легкости. Словно громадная тяжесть, которая годами давила ее, постепенно сползла и вот наконец окончательно исчезла... Была — и нет ее! И стало легко, легко...

— Ноиха... Ноева Пэрл... — прошептала она и светло, радостно улыбнулась бескрайней просыпающейся степи. Неужели так ее звали? Ноева... Она еще сама себе не верит, но, кажется, с этим уже покончено. Сейчас она просто — Пэрл.

С белой плетеной корзинкой в одной руке, с узелком потяжелее в другой, Пэрл шагала туда, где в серой пелене тумана, уже еле заметная, опускалась в глубокий овраг Ноева телега.

ДВА РАССКАЗА,

*в которых действие
происходит на земле
и в воздухе*

І. ИДОЛ

О человеке маленького роста в шутку говорят: «Собака сидя выше его». О крупной собаке приходилось слышать: «Ростом с телка». В каждой шутке есть преувеличение. Мне до этого дня не приходилось видеть ни такого маленького человека, ни такой большой собаки, а тут пришлось.

Об этом стоит, пожалуй, рассказать.

Воздушный лайнер «ТУ-114» на высоте в девять тысяч метров со скоростью семьсот шестьдесят километров в час заглатывал небесную даль. Удобно расположившись в мягких креслах, пассажиры или заглядывали кто в газету, кто в журнал, или дремали. Некоторые из них помнили еще те времена, когда подобные лайнеры никому даже и не снились. Другие же, помоложе, те, наоборот, уже и не представляли себе иных, более медлительных видов транспорта.

По обе стороны от меня сидели представители двух этих категорий пассажиров. Вячеслав Георгиевич — директор школы из далекой приамурской деревни, высокий, плотный, с большой лысиной и густыми седоватыми усами, — летал впервые. Второй же сосед — Эдуард Михайлович, инженер Хабаровского краевого управления легкой промышленности, невысокий, смуглолицый, по-спортивному подтянутый, — наверное, сбился бы со счета, придись ему подсчитать, сколько раз он летал в командировки в разные города, в том числе и в Москву.

Вячеслав Георгиевич направлялся сейчас на Всероссийское совещание общества «Знание». Он про себя, видно, был горд выпавшей ему честью и заметно волновался, думая о том, что ему, возможно, придется выступить на высоком совещании, не ударить бы лицом в грязь.

— Подумайте только, — говорил он, — сколько времени отняла и каких трудностей стоила, скажем, Чехову поездка на Сахалин... Нет, как хотите, мы летим на волшебном ковре из детской сказки...

— Ну, вот вам и скатерть-самобранка, — с улыбкой заметил Эдуард Михайлович, когда стюардесса принесла поднос с обедом, и помог соседу прикрепить к креслу подставку.

Пообедав, Вячеслав Георгиевич восхищенно повторил:

— Нет, как хотите, я чувствую себя, как в сказке...

Эдуард Михайлович — его место было у иллюминатора — смотрел вниз, на густые скопления облаков под лайнером, и, ничуть не разделяя восторгов соседа — он их давно пережил, — думал о том, что восемь часов полета из Хабаровска в Москву — это все же многовато.

По узкому проходу меж кресел беззаботно бегала девочка с тонкими светлыми косичками. Вячеслав Георгиевич, протянув руку, задержал ее:

— Куда бежишь, баловница?

Девочка подняла на него большие карие глаза, хотела было тут же бежать дальше, но что-то ее остановило.

— Гляди-ка, — сказала она, — ты точно как мой дедушка Евсей, но у него усы еще побольше...

— А кто он, твой дедушка?

— Он живет в Москве.

— И к нему ты летишь?

— Да, мы летим к нему.

— Кто — мы?

— Я и мама. Вон она сидит...

— Ты летишь впервые?

— Что ты, уже третий раз. Мы каждый год летим...

Девочка высвободила ручонку и помчалась дальше по проходу, не подозревая о том, какая глубокая бездна отделяет ее от земли.

— Я лечу впервые, а она уже в третий раз, видали? — усмехнулся Вячеслав Георгиевич и отпил несколько

ко глотков прохладной золотистой влаги, поданной стюардессой.

— Товарищи пассажиры! — раздался в микрофоне приятный женский голос. — Выслушайте сведения о нашем полете. Мы летим сейчас над городом Свердловском. Высота — девять тысяч метров, скорость — семьсот шестьдесят километров в час. Температура воздуха за бортом самолета — пятьдесят пять градусов ниже нуля.

Вячеслав Георгиевич поежился:

— Бр-р... А мы сидим здесь, словно в Сочи...

Через несколько минут в микрофон заговорили опять:

— Товарищи пассажиры! Предлагаем вам послушать несколько песен в исполнении нашей стюардессы Надежды Васильевой.

Стюардесса пела знакомые всем эстрадные песни, которые часто можно слышать по радио, а в заключение спела песенку о черном коте, которого обычно обвиняют во всех людских несчастьях, хотя сам он несчастнее всех.

— А как вы думаете, черный кот этот не перебежит нам дорогу? — спросил с улыбкой Вячеслав Георгиевич.

— На такой высоте? — улыбаясь, ответил Эдуард Михайлович.

Закончив пение, Надя Васильева появилась в салоне, высокая, стройная, с осиной талией, с копной густых рыжих волос. Ее большие, зеленоватые, искусно подведенные глаза придавали ее лицу своеобразное обаяние.

Вячеслав Георгиевич, дотронувшись до ее руки, сказал:

— Вы превосходно пели. Браво!

Стюардесса ответила ему ослепительной улыбкой.

— Но надо ли было вам петь про черного кота? — спросил он.

— Неужели он вас напугал? — рассмеялась стюардесса и направилась дальше.

Лайнер уже приближался к Москве, когда стало известно, что московский аэропорт не принимает из-за густого тумана и дождя.

— Дождь? — удивились пассажиры. Из Хабаровска они вылетели при двадцатипятиградусном морозе.

— Вот вам и черный кот, — покачивая головой, сказал Вячеслав Георгиевич.

Лайнер изменил курс и через два часа приземлился в Новосибирске. Тут сразу все устремились к справочному бюро узнать, сколько придется ждать.

Молодая, красивая, но, видимо, очень уставшая женщина — время ее дежурства подходило к концу — вежливо всем отвечала:

— Пока ничего не известно. Как только выяснится, тут же объявим.

Пассажиры дремали на скамейках, а те, кому не хватило места, медленно шагали из конца в конец просторного зала, останавливаясь от скуки у красочных объявлений и плакатов. В конце зала сгрудилось много людей. Я тоже подошел туда.

На длинных мускулистых лапах, выпятив мощную грудь и задрав морду, возвышался огромный пес. Едва заметная дрожь то и дело пробегала по его гладкой, в светлых крапинках шерсти дымчатого цвета. Весь вид его выражал горделивое презрение.

Хозяин пса, старый профессор, уходя за билетами, оставил его на попечении маленькой женщины, которой наказал:

— Смотри, чтоб никто не тронул Джека.

Молодая женщина в толпе громко сказала:

— Как бы его кто-нибудь не укусил...

Засмеялись. Пытались угадать, кем приходится профессору маленькая женщина.

— Для дочери, — говорили, — старовата, для жены — молода.

Маленькая светловолосая женщина выглядела еще меньше рядом с огромным псом, которого держала на ремешке.

В толпе были и мои соседи по лайнеру. Они стояли близко от меня, и я слышал, как они переговаривались.

— Не женщина, а придаток к собаке, — заметил инженер.

— Жаль ее, — сказал Вячеслав Георгиевич.

— Почему же?

— Мне всегда претила роль слуги, а быть на услужении у собаки...

Джек, все время стоявший как изваяние, слегка повернул голову к женщине и коротко басовито пролаял. Женщина вскочила, вытащила из узелка коврик и споровисто расстелила его на полу.

Пес спокойно улегся, подобрав задние лапы под себя.

— Я где-то читал, — заметил Вячеслав Георгиевич, — что в Англии есть специальные магазины для собак.

— И даже кладбища, — добавил Эдуард Михайлович.

— И вы полагаете, — спросил Вячеслав Георгиевич, — что все это так уже необходимо?

— Почему же нет? — ответил Эдуард Михайлович. — Человеческое отношение к собакам — это хорошо. Но прежде всего, мне кажется, надо бы, однако, добиться, чтоб нигде на свете не относились по-собачьи к людям.

По радио объявили, что пассажиры, прервавшие полет в Москву, могут занять свои места в самолете.

Мы снова сидели на своих местах. Стюардесса разносила мятные конфеты. Вячеслав Георгиевич, взяв с подноса конфету, сказал:

— Во всем виноват ваш черный кот...

Стюардесса улыбнулась и прошла вперед.

— Кот котом, — заметил Вячеслав Георгиевич, — но что вы скажете о собаке? Она не выходит у меня из головы. Не пес, а идол какой-то. — И добавил: — Беда не столько в самих идолах, сколько в тех, кто им служит. Эта собака напомнила мне другие времена. В немецком лагере, где мне пришлось побывать, такие вот собаки рвали на части людей...

— О, — сказал Эдуард Михайлович, — маленькая хозяйка большого пса вряд ли подозревает, какие ассоциации она вызвала у вас.

— Боже упаси, — сказал Вячеслав Георгиевич. — Весьма возможно, что она очень достойная женщина.

Лайнер забрался так высоко, что уже трудно было различить, где облака, а где земля...

II. ВО ВТОРОМ САЛОНЕ

Из Москвы вылетели вечером. Нам предстояло «пропустить» ночь — самолет шел на восток, навстречу солнцу.

Места попались нам не слишком удобные — во втором салоне, рядом с натужно режевшими моторами, со

столом посредине. Стол этот был бы весьма удобен для игры в домино или в карты, но охотников играть среди нас не нашлось.

Единственный, кого не трогали эти неудобства, был пятилетний мальчуган, примостившийся у иллюминатора. Он прямо-таки вплющился в него своим маленьким, худеньким личиком и не спускал глаз с крыла самолета, слабо мерцавшего в заоблачной тьме.

Женщина, с которой ехал мальчик, молодая, мило-видная, обращаясь к подполковнику, сидевшему рядом с нею, сказала:

— Не повезло нам с местами.

— Вы так думаете? — улыбнулся тот.

— А вы — нет?

— А я думаю, что мне-то как раз повезло, — ответил подполковник.

Женщина удивленно взглянула на него и ничего не ответила, прислонилась к спинке кресла, желая, видимо, хоть немного вздремнуть. Корпус лайнера слегка вздрагивал от быстрого движения.

Я сидел напротив подполковника с другой стороны стола.

— Высидеть восемь часов — нелегкое дело, — заметил он, обращаясь ко мне. Густые, вьющиеся волосы его прихватило сединой. Светло-голубые глаза на темном, загорелом лице смотрели с веселой лукавинкой. Он все время пытался как-то поудобнее устроиться в своем кресле, но это ему не удавалось.

— Ну ладно, посидим сегодня так, не облакачиваясь.

Неожиданно для меня подполковник произнес эту фразу по-еврейски. И, как бы желая еще больше меня ошеломить, спросил:

— Вы помните четыре вопроса — те самые, что задают за пасхальной трапезой?

Он перегнулся ко мне через стол и напевно произнес:

— «Почему, отец, в течение всего года сидим мы как хотим, — прямо или облокотившись, а в эту ночь — только облокотившись?»

Он посмотрел мне прямо в глаза, как бы говоря: «Ну что, ошеломил?»

Я и впрямь был удивлен.

— Откуда эти премудрости? — спросил я. — Ведь родились вы уже после революции?

— После.

— И в хедер, разумеется, не ходили?

— Конечно нет.

— Тогда действительно возникает вопрос...

— Пятый? — добродушно рассмеялся он и снова протянулся ко мне через стол. — Не удивляйтесь, милый человек. В хедер я действительно не ходил, а пасхальную трапезу уже не справлял и отец мой. Но есть дедушка у меня, да продлятся его годы. У него вот я ребенком еще сиживал, бывало, за такими трапезами, задавал вопросы, а детские впечатления, как вы знаете, живучи. Теперь вот я как раз и возвращаюсь из Витебска, где навестил деда.

— Он, поди, уже стар?

— Исполнилось девяносто. Но он в полном рассудке. Мудрец. Старик был часовщиком каких поискать. Сейчас, конечно, уже не работает. Патриарх большой семьи...

Подполковник прикрыл глаза и печально покачал головой.

— Теперь, собственно, патриарх без семьи. Кто погиб на фронте, кого уничтожили немцы в гетто. Из всей семьи осталось нас двое: в Хабаровске — я, в Витебске — дед...

— Он живет там один?

— Да. За ним присматривает пожилая женщина. Просил его переехать ко мне — не согласился. «Пока мои старые кости на месте, говорит, они держатся, тронь их — рассыплются...» Я был в командировке, — пояснил подполковник, — вот и заехал на два дня в Витебск. Потом немного времени провел с сыном, он учится в Московском университете.

— А дедушку давно перед этим не видели?

— Лет десять. Все не доводилось как-то. С Дальнего Востока, знаете, не так легко выбраться на запад. А сильно уж хотелось увидеть город, в котором родился, деда.

— И что же, рад был он вашему приезду?

— Еще бы! Увидав мои погоны, сказал: «Шименке, что ты сделал с нашей Агадой¹?» — «А что?» — не понял я. «Ты ведь всю перевернул ее вниз головой»... — «Как так?» — «Четыре вопроса помнишь?» Я их тут же ему

¹ Пасхальная молитва.

отбарабанил по памяти без запинки. «Ну, а что я тебе отвечал на них, бывало, ты тоже помнишь?» — «Конечно, — ответил я. — «Рабами мы были...» А дальше — забыл». — «Это ничего, — сказал дед, — лишь бы ты помнил главное. А главное именно в том и состоит, что мы были рабами...» Фразу эту он произнес с ударением на слове «были». «А теперь, думаешь, я уже больше не справляю пасху? Правда, нет никого, кто задавал бы мне положенные четыре вопроса, — что ж, я сам задаю их себе и сам отвечаю... И главное — я теперь не раб. Мой внук — подполковник, а правнук учится в Московском университете! Вот потому-то я и говорю, Шименке, что ты перевернул всю Агаду вниз головой...»

— Занятный дед у вас.

— О, не говорите!

Подполковник вовсе не собирался мне одному уделить все свое внимание. Энергичный, общительный, полный живого интереса ко всему, что его окружает, он тут же обратился к мальчику у иллюминатора:

— Мы с тобою соседи, давай знакомиться. Как тебя зовут?

Мальчик неохотно повернул свое бледное личико к незнакомому военному. Но, встретившись с его дружелюбным взглядом, слабо улыбнулся и назвал себя. Подполковник не расслышал и переспросил. Женщина, дремавшая рядом, открыла глаза:

— Джалиль его зовут, Джалиль, — сказала она.

— Красивое имя, — заметил подполковник.

Но женщина, уловив в его тоне удивление, добавила:

— Отец его, Хаджи Сейфутдинов, хотел, чтобы мальчика называли так в честь известного поэта и героя Мусы Джалиля.

— Хаджи Сейфутдинов татарин?

— Да.

— А мать?

— Украинка.

— Это вы?

— Нет. Я тетя.

Она чуть подалась вперед из своего затененного угла. Выглядела она совсем молоденькой, хотя лицо ее выражало усталость.

— Если так, давай познакомимся, Джалиль Хаджиевич, — подполковник протянул мальчику руку. — А меня

зовут Семен Григорьевич Гинзбург. Куда же ты едешь со своей тетей?

Мальчик не ответил и отвернулся к иллюминатору.

— Неразговорчивый он у вас, — сказал подполковник.

— Он просто устал, и нам обоим тяжело на душе, — ответила женщина. — Мы летим с ним в Хабаровск.

— В гости?

— Нет, я живу там.

— Давно?

— Да.

— Где же?

— На Волочаевской. Вы тоже из Хабаровска?

— Почти. Живу на Красной речке.

— Так это же рукой подать!

— Конечно!

Немного помолчали.

— Видите, — нарушил молчание подполковник, — мы живем с вами много лет в одном городе, но если бы не это путешествие, мы бы с вами, возможно, никогда и не встретились.

— Это не удивительно, — сказала женщина, — Хабаровск большой город.

Принесли ужин. Поев, пассажиры принялись за черный кофе, мелко дрожавший в голубых пластмассовых чашечках. Женщина за ужином называла подполковника по имени-отчеству и делала это так просто, будто знала его давно. Ее, сказала она, зовут Оксаной Сергеевной, а можно просто Ксюшей. Она рассказала подполковнику свою невеселую историю.

Едет она из Казани. Там жили ее родные — мать и сестра с мужем. Сестра — врач, муж ее — инженер. Несколько лет назад мужа сестры направили на работу в Магадан. Поехала с ним жена, а ребенка — ему тогда не было и трех лет, к тому же он был еще и слаб здоровьем, — они побоялись взять с собой на Крайний Север и оставили на попечение бабушки. Ксюша и несколько ее подруг получили у себя на заводе туристические путевки на Кавказ. На обратном пути она заехала к матери. Та была больна. Ксюша немедленно послала телеграмму на завод с просьбой о продлении отпуска и осталась с матерью и Джалилем. Мать скончалась у нее

на руках. Она похоронила ее в Казани и вот теперь летит с племянником в Хабаровск.

— У меня дочка такого же возраста, как он, — пояснила Ксюша, — пока что они будут вместе. Через год родители Джалиля вернутся из Магадана и тогда заберут его с собой.

— А ваш муж не будет возражать? — спросил подполковник.

— Почему же он должен возражать? Он добрый.

— Где работает?

— На заводе «Энергомаш», электросварщиком.

Я понял теперь, почему эта женщина так печальна, а племянник так неподвижен и тих.

— Далеко еще, тетя Ксюша? — спросил Джалиль, с унылым взглядом отворачиваясь от иллюминатора.

— Не очень, но ты еще успеешь выспаться.

— Спать, спать! — скомандовал подполковник. — Не успеем оглянуться — взойдет солнце. Надо хоть немного вздремнуть.

Большинство пассажиров уже спало. В полумраке видны были их застывшие в неудобных позах фигуры.

Джалиль положил головку Ксюше на колени. Ноги его она прикрыла шалью.

— Я почти двое суток не спал, — сказал подполковник.

— И я, — отозвалась Ксюша.

Чуть отодвинувшись друг от друга, подполковник и женщина прислонились к спинкам кресел и закрыли глаза.

Задремал и я. Когда проснулся, заметил: голова женщины со слегка растрепанными во сне волосами лежала на плече спящего подполковника, а он склонил свою седую голову к ней. Одной рукой женщина поддерживала во сне головку ребенка.

Корпус самолета сильно задрожал. Оба, подполковник и женщина, разом проснулись, оглянулись сонными, ничего не понимающими глазами и смущенно отодвинулись друг от друга.

— Ужасно неудобно, — произнесла Ксюша. Семен Григорьевич, еще не успевший сбросить с себя оцепенение, что-то невнятно пробормотал в ответ. Потом, по-немногу приходя в себя, сказал, указывая на Джалиля:

— Да ему ведь неудобно, помогите мне, ну-ка...

— Что вы, не надо, — запротестовала женщина, но он взял спящего мальчика на руки и положил так, что головка ребенка лежала у него на коленях, а ноги — на коленях у Ксюши.

— Так будет лучше, — сказал он, улыбнувшись. — А сейчас еще вздремнем.

От меня сон бежал. Я глядел на своих дремлющих спутников и думал: не знай я, что подполковник едет из Витебска, от деда, который справляет еще пасхальную трапезу, что молодая женщина едет из Казани, где похоронила свою мать, что родители мальчика живут на Крайнем Севере, в Магадане, я, глядя на них, наверняка подумал бы, что передо мною маленькая счастливая семья...

Часы показывали московское время. Там была еще глубокая ночь, но здесь, где мы теперь летели, поднималось солнце, и первые его лучи сверкали на широком крыле, видневшемся сквозь затуманенный иллюминатор.

ЛЮДИ ИДУТ ПО УТРАМ НА РАБОТУ

Эти люди вам не знакомы, но вы их знаете, потому что каждое утро, когда вы идете на работу, они попадают на вашем пути. И, не зная ни имени, ни места их работы, вы в результате многих и многих встреч успели составить себе мнение о каждом, выработать свое отношение к ним — доброжелательное или неприязненное, а иногда и более сложное.

Итак, вы знаете и не знаете этих людей, и в этом есть что-то интригующее. Интересно представить себе, угадать, кто они, кем работают, как живут. Скажем, вот эта уже немолодая, но еще пригожая, стройная женщина с модной рыжеватой прической и в туфлях на высоком каблуке. Вот она проходит мимо, прямая, строгая, никого не замечая. Неудобно заглядывать в глаза незнакомым людям, тем более женщине. Но ей вы можете заглянуть хоть в самые зрачки — она этого все равно не заметит. Ее продолговатые, бутылочного цвета глаза смотрят прямо перед собой, выражая безразличие и недоступность. Кто эта женщина? В той стороне, куда она спешит каждое утро, расположена школа. Учительница? Тогда, пожалуй, математичка. Но есть там и учреждения, конторы. Возможно, служащая. Если так, то, наверное, бухгалтер. Есть в ее облике нечто рационально-прямолинейное. Она, думается мне, одинока. Муж если и был, то оставил ее, с тех пор она и усвоила эту позу холодной неприступности.

Меня давно уже тянет рассказать о ком-либо из этих моих знакомых незнакомцев, но каждый раз останавливает мысль: а что, собственно, можно сказать о человеке, которого мало знаешь? Но сейчас я решился. Не беда,

если в моем распоряжении только догадки. Отсутствие фактов нетрудно восполнить воображением.

Вот хотя бы эта молодая особа, которую я каждое утро встречал... Но нет, о ней потом. Может, рассказать о молодых супругах? Или о солидном мужчине с сердитым выражением лица, который каждодневно пронесит мимо меня свой туго набитый портфель?

Сперва, пожалуй, следует коротко описать дорогу, на которой мы встречаемся, улицы, по которым мы каждое утро идем на работу. Ведь улицы, как и люди, могут многое о себе рассказать.

Моя дорога начинается с четырехэтажного каменного дома, где я живу. Дом смотрит окнами прямо в разросшийся городской парк, имеющий свою любопытную историю. Города тогда еще не было. По таежной целине новоселы прокладывали улицы, ставили первые дома. И тогда они решили оставить на память этот кусочек тайги возле стремительной горной реки. Так появился этот парк — зеленый остров, напротив которого выстроилась шеренга каменных зданий.

Поворачиваю на улицу Пушкина, прохожу мимо другого такого же четырехэтажного дома с хлебным магазином на первом этаже, мимо третьего дома. Со временем здесь, наверное, встанет четвертый дом, но пока за невзрачной оградой тут сутулятся два уже отслуживших свое низких, плохо побеленных зданища хозяйственного назначения. А напротив, через дорогу, высится многоэтажное здание школы. Строилось оно на тихом месте, а с течением времени оказалось на оживленном, бойком перекрестке, где деловито снуют автобусы, грузовые и легковые автомашины, мигают огни светофоров.

Дорогу я не перехожу, а поворачиваю по тротуару налево, в направлении рынка. Когда-то в дождливую погоду на этом месте было ни проехать ни пройти. Сейчас здесь прекрасная асфальтированная мостовая. Новая гостиница стоит на возвышенности и смотрит на всю округу сотней своих широких светлых окон.

Дальше мой путь лежит мимо обелиска в память о павших в боях за Родину. Рядом, разделенные улицей, два сквера: старый тенистый и молодой, недавно разбитый, с елочками по краям. С одной стороны старого сквера кинотеатр, с другой — городской Дворец культуры. Строился дворец долго, по устаревшему проекту — с ба-

шенками и колоннами, — но привычка берет свое, и уже кажется, что в этой старомодности есть нечто пусть смешное, но милое.

Возле Дворца культуры останавливаются автобусы, здесь выходят многие из тех, с кем я встречаюсь по утрам. Каждый раз в утренний час я вижу молодых матерей. Вот одна из них — невысокая, тонкая, с виду почти девочка. Она выходит из автобуса с ребенком на руке, а другого малыша, постарше, держит за руку. Оглянувшись по сторонам, она быстро пересекает улицу и идет к детскому комбинату. Здесь младшенького сдаст в детясли, старшего — в детский сад, а потом уж спешит на работу. По сумке, свисающей с руки, я догадываюсь, что ей еще предстоит забежать в магазин или на рынок. «Посидеть бы тебе, милая, — обращаюсь я мысленно к молодой матери, — годик-другой дома, пока дети подрастут». И тут же сам пытаюсь угадать, что бы ответила мне женщина, выскажи я эти свои мысли вслух.

Однако я уклонился в сторону. Я давно уже заметил, что тех людей, кого я встречаю, когда иду утром на работу, объединяет одна общая черта. Впрочем, она не всем бросается в глаза. Я сам долгое время не мог не то чтобы ее уловить — не мог подобрать для нее подходящего слова. Наконец оно нашлось: гордость. Да, гордость! Именно это чувство испытываем мы, жители молодого, еще небольшого города, взявшего для своего имени название двух дальневосточных рек. Никто из нас не приехал сюда на готовенькое. Каждый внес свою долю, свой труд во все, что тут есть, — дома, улицы, скверы, фабрики, стройки. Отсюда и особое, уважительное отношение горожан друг к другу, и чувство общности между незнакомыми, по сути дела, людьми. Разумеется, это не исключает и антипатии к тем, кто ее заслуживает.

Я уже упомянул здесь о солидном мужчине с сердитым лицом, который ежедневно проходит мимо меня с туго набитым портфелем. Не помню, чтобы этот человек хоть раз поднял на встречных глаза. Видны только его тяжелые, набрякшие веки и широкий, несколько приплюснутый нос. И еще гримаса, призванная засвидетельствовать, что далеко не все на свете делается так, как хотелось бы этому человеку.

О нем у меня совершенно случайно зашел разговор с моим хорошим знакомым, человеком нелегкой судьбы.

Несмотря на все то, что ему пришлось пережить, он несколько не растерял своего уважения к роду человеческого. И уж если ему кто-либо пришелся не по душе, то, значит, неспроста. Так вот — о личности с портфелем мой знакомый отозвался весьма нелестно.

— Погоди, — перебил я его. — Попытаюсь сам догадаться, кто он и что собой представляет. Заведующий отделом кадров?

— Ну нет! Попал пальцем в небо.

— Бухгалтер?

— Ничуть не бывало.

— Экономист?

— Нет...

Так и не угадав рода занятий, я попытался определить характер этого загадочного субъекта. Тут мне повезло больше.

— Бюрократ?

— Еще какой!

— Любит подолгу держать людей у дверей своего кабинета?

— Вот именно.

— Умеет выслуживаться?

— Умеет. Но то было раньше. Теперь для него настали трудные времена.

И знакомый рассказал мне историю человека, прежде занимавшего довольно высокие должности и постепенно спускавшегося все ниже и ниже. Фактически он, каким был, таким и остался, не изменился ни в лучшую, ни в худшую сторону. Но времена изменились. Когда-то он мог чем-то управлять, кем-то командовать. Нынче для этого необходимы такие качества, которыми он никогда не обладал.

«Так вот, — подумал я, — чем человек недоволен. Его не устраивает бурное течение жизни. Хотелось бы, чтобы все было раз и навсегда данным, застыло и закостено». Когда я это высказал вслух, мой знакомый махнул рукой:

— А ну его! Такие, как он, — сейчас уже пережиток! Поговорим о более веселом.

Действительно, поговорим хотя бы о молодой чете.

Впервые они встретились на моем пути там, где сейчас стоит гостиница. Тогда ее еще не было. Холодный, пронизывающий до костей ветер напоминал о том, что

уже поздняя осень. Вот-вот ударят морозы. Многие прохожие одеты уже по-зимнему. Но для этих двоих, кажется, улыбалась весна. Одеты они были не по сезону легко. На нем неопределенного цвета демисезонное пальто, из тех, о которых принято говорить, что они ветром подбиты. На ней — какого-то странного, неопределенного цвета короткая жакетка. На голове у нее тонкий вылинявший платок, у него на самой макушке кепка с маленьким козырьком. Но их радостно-приподнятое, беззаботно-веселое состояние ни с этим неброским одеянием, ни с промозглой, холодной погодой ничего общего не имело. Они настолько переполнены радостью, сами собой, что им совершенно безразлично было, смотрит ли кто-либо в их сторону и какое мнение он может составить о них. Оба в очках. У него очки в белой оправе и почти не заметны на лице. У нее над курносым носом торчат два черных колеса, сквозь которые смотрят небольшие черные глаза; взгляд их уверенный, словно хочет сказать: «Свое в жизни я возьму!» Она уже взяла этого длинного, тощего, но, по всему виду, сильного парня, крепко держит его под руку и уже не отпустит. Прижавшись друг к другу, они, возбужденно-торопливые, прошагали мимо меня.

Наверное, вчерашние студенты, расстались только что с институтом и направлены в этот город. Скорее всего снимают где-то угол. Ничего еще не нажили и уже имеют все!

Со временем я привык каждое утро встречать эту неунывающую молодую чету. И если несколько дней подряд они не попадались мне на глаза, я невольно начинал беспокоиться. Что случилось? Я обрадовался, заметив на следующее утро ее еще издали. Но почему они не вдвоем, почему она одна? Вид у молодой женщины, как обычно, задорный, походка торопливая, но когда мы поравнялись, я ее едва узнал. Темные роговые очки оттеняли необычайную бледность лица, а толстоватые губы (я только сейчас заметил, что они толстоватые и некрасивые) плотно сжаты, глаза зло прищурены. «Характер!» — подумал я.

А вот и он плетется — тоже неузнаваемый. Покорно шагает на солидном расстоянии от нее, с опущенной головой, хочет, но, видно, не смеет ее догнать.

Несколько дней они ходили на работу вот так, раздельно. Она, обиженно-сердитая, — впереди, он, с покорно-виноватым видом, — позади.

Меня огорчила эта ссора молодой четы. Хотелось вмешаться, помирить их. Но уже на следующий день — он выдался ясным, солнечным, морозным — оба они обменивались улыбками, словно ничего не случилось. Оба снова шагали рука об руку, тесно прижавшись друг к другу, и казалось, что это шагает один человек.

Потом много раз я видел их и порознь, когда он или она, надо полагать, выезжали в командировку, и вместе. Заметно было, что они обжились, кое-чем обзавелись. Весной на них уже красовались плащи-болонья, нарядными выглядели они и зимой: он — в коротком, по моде, пальто с меховым воротником, она — в серебристой куртке из искусственного каракуля. Затем, во время одной из встреч, я обратил внимание на ее уже заметно пополневшую фигуру, и надо было видеть, как медленно, осторожно, с довольным и озабоченным видом он вел ее под руку.

Как их зовут? Где они работают? Я и сейчас этого не знаю. Но все у них идет хорошо, в этом я уверен и радуюсь этому.

А сейчас о той женщине, о которой речь шла вначале. Но тут, признаюсь, я чувствую некоторое смущение. Рассказывать-то, собственно, не о чем...

Когда я, шагая на работу, впервые встретил ее, летнее утро было хмурым, неприветливым. Небо до виднеющихся на горизонте сопот было затянуто серой сетью облаков и лишь кое-где чуть голубело. Как обычно по утрам, битком набитые людьми автобусы прибывали один за другим. Почти каждый человек здесь давно мне знаком, мое внимание ни на ком особенно не задерживалось. Погруженный в свои мысли, я по своему обыкновению не спеша шел своей дорогой. Но вот во встречном людском потоке что-то неожиданно сверкнуло. Солнце выглянуло? Нет. Облака по-прежнему нависали над городом. И лишь минуту спустя меня осенило: глаза! Пара лучистых глаз, для которых нет ни преград, ни расстояний. Они настигают вас везде. В памяти у меня не осталось ни одной черты лица — только глаза. Они как бы сами по себе витали в воздухе...

Назавтра эти глаза встретились мне опять. На этот раз я заметил и благородный бледный лоб, и темные завитки волос, и нежный женский облик. И с того дня каждое утро в набегавшей людской волне встречались эти глаза, что с первого раза так меня поразили.

Женщина недавно, видно, откуда-то приехала. С родителями, с мужем или одна? Меня это не интересовало. Для меня важно было одно — видеть, встречать ее.

А она? Как и всякая красивая женщина, она привыкла к тому, что привлекает внимание людей, и не придавала этому значения: «Вам доставляет удовольствие на меня смотреть? Ну и смотрите». И уж наверняка она не выделяла никого из тех, кто на нее заглядывался.

А я между тем с каждым днем все дольше, все пристальнее (до назойливости, до неприличия) смотрел на нее и не мог глаз отвести. Пока однажды она не ответила на мой взгляд. Это длилось мгновение, даже меньше мгновения. Сразу же она опустила свои чудесные глаза и прошла мимо. Но все, что этот короткий взгляд содержал в себе, до меня успело дойти. Во-первых, она давно заметила, что я смотрю на нее. Во-вторых, ее удивляет моя наглость. В-третьих, она требует оставить ее в покое!

И все же мое сердце радостно забилося. Наконец-то она меня заметила, выделила! Я, кажется, даже удостоился ее любопытства. Пусть она недовольна, но — не смейтесь — и это недовольство меня радовало. Все-таки оно адресовано мне.

Теперь по утрам она проходила мимо меня с опущенными ресницами. Но эти опущенные ресницы говорили без слов: «Я знаю, ты все-таки не перестал на меня глазеть. Но мне это совершенно безразлично».

Некоторое время спустя мне стало казаться, что эти упрямо опущенные ресницы, возможно, желают сказать и нечто другое. Например: «Экий ты остопоп! Чем вот так глазеть да глазеть, нашел бы какой-либо повод заговорить, познакомиться».

Легко сказать — познакомиться! Один-единственный случайный взгляд ее надолго поверг меня в смятение.

Я решил, что пялить ежедневно глаза на незнакомую женщину глупо и неприлично. Она, наверное, обиделась на меня, и совершенно права.

Встречая ее по утрам, я стал отводить взгляд в сторону, будто заметил там что-то вызывающее особый интерес. Так все будто бы уладилось. Пока однажды краем глаза я не перехватил ее взгляд, явно обращенный ко мне. И в нем немой вопрос: «Что случилось?»

У меня сердце затрепетало. Значит, она заметила, что я не смотрю больше на нее. И, кажется, ей это досадно?

Я старался двигаться в людском потоке так, чтобы держаться от нее подальше, во всяком случае не очутиться рядом. Но вот что однажды случилось. Это было среди зимы. Всю ночь крутила метель, и к утру улицы были в снежных сугробах. Дворники едва успели прорыть вдоль тротуара узкую траншею. Два человека могли в ней разминуться, чуть ли не прильнув друг к другу. И вот, пробираясь по этой траншее, я столкнулся лицом к лицу с нею. Ее дыхание коснулось моих губ. Ее лучистые глаза близко от моих глаз улыбались и требовали чего-то. Такой неожиданный случай...

Но я растерялся и не мог выговорить ни слова. Все мысли куда-то исчезли. Я только чувствовал, как стучит сердце, и близко-близко видел ее улыбающиеся глаза. За ней уже стояли другие люди. Позади меня тоже — и все торопились. Молча я шагнул в сторону, в снег, чтобы дать ей пройти. Каким взглядом она меня смерила! И ушла.

В обе стороны торопились люди, которым мы мешали пройти. Я стоял по колено в снегу и не мог податься ни туда ни сюда. И мне казалось, что все знают, какую глупость я сотворил, и смеются надо мной.

«Зима продлится долго, — думал я, утешая себя, — выпадет такой же глубокий снег, и тогда я подобной глупости больше не совершу».

Но такого снегопада в ту зиму больше не было.

А вскоре эта женщина куда-то исчезла — так же неожиданно, как и появилась в нашем городе. Не заболела ли, а может, в командировке или в отпуске? Пройдет неделя, другая — и, лучистая, прекрасная, она снова выйдет мне навстречу.

Однако шли недели, месяцы, а она больше не появлялась.

Где-то в ином месте сияют ее глаза. Нашли ли они там еще такого же, подобного мне, сумасшедшего, или нет?

Вот и вся история.

— Выходит, этим все и закончилось? — скажете вы.
Об этом я и говорю.

— Что же все-таки было?

Если хотите — ничего. А если хотите — многое...

Люди идут по утрам на работу. Я не рассказал о том, где, кем и как они работают. Рассказ мой только о тех недолгих минутах, когда идут они к месту своего труда...



НОВЕЛЛЫ

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД

Трудно почему-то давалась ему, уже немолодому художнику, эта картина. Казалось бы, все ясно, все найдено, но чего-то не хватает. Именно того, что объединило бы все части картины, стало бы ее средоточием. Самоуверенностью он никогда не отличался. Приступая к новой вещи, всегда чувствовал себя начинающим. Но тут «сопротивление материала» особенно раздражало, потому что никак не удавалось уловить ту таинственную точку, без которой совсем уже готовая картина все же оставалась внутренне незавершенной.

В этот день, как и в предыдущие, он часами блуждал по городу, добрался до самых дальних окраин, с моста долго наблюдал завихрения только что освободившейся ото льда реки. И все не мог найти того, что искал.

Сосредоточенный на этом внутреннем поиске и несколько смущенный, он вернулся к центру города. Переходил улицу в направлении сквера и едва не попал под автобус. Удивился сам себе: машину не заметил, а мгновенный укоризненный взгляд водителя сквозь ветровое стекло уловил...

Весна в этом году запаздывала. Пора бы быть первым клейким листочкам, а на деревьях еще только набухали почки да стала ярче окраска стволов. Над сквером словно витала прозрачная светло-зеленая дымка.

Почти все места на скамейках были заняты. Пожилой человек читает газету. Две молодые женщины ведут между собой оживленный разговор. Три девочки нагнулись над тетрадью, которую одна из них держит раскрытой на коленях. А там, дальше, уединившись, о чем-то

шепчется юная пара... И над всем этим — мягкие, легкие очертания пробегающих в вышине облачков.

Уже на выходе из сквера он увидел свободную скамейку и на минуту присел.

На противоположной скамейке пожилой человек отвел глаза от газеты и по-дружески, добродушно кивнул художнику. Художник хорошо знал этого человека. Знал, что лет тридцать назад тот приехал сюда, в тогда еще не обжитое дикое место, вложил немало своего труда в рождение этого молодого красивого города. Сперва был строителем, затем, когда поднялись корпуса известного сейчас далеко за пределами города предприятия, стал там мастером цеха. И вот теперь он на пенсии. У него два женатых сына, дочь замужем, есть уже взрослые внуки. И этот город, который с каждым годом становится все просторнее и краше, тоже вошел в его жизнь, в его судьбу, как родное, любимое детище.

Проходя мимо, с художником поздоровался невысокого роста, широкоплечий мужчина. Он заметно прихрамывал. Лет двадцать пять тому назад, когда он, художник, впервые прибыл в эти места и работал в одной из школ преподавателем рисования и черчения, этот человек был его учеником. Одним из лучших в седьмом классе и в то же время отчаянным шалуном. Хромать он стал значительно позже, раненный в боях под Курском.

Художник пересек аллею и присел к знакомому пенсионеру, который продолжал читать газету.

— Что интересного вычитали? — спросил художник.

— О, сегодня много интересного. Главное — вот это...

Заметка, привлекавшая внимание пенсионера, не содержала ничего особенного. В ней сообщалось, что еще одна страна подписала Московский договор о частичном запрещении ядерных испытаний.

— Да-а, — протянул художник, — подписывают. Это, конечно, хорошо...

— Хорошо? Это не просто хорошо. Это очень и очень важно! — воскликнул пенсионер. От волнения он слегка скомкал газету и, ткнув ею куда-то вправо, с жаром добавил: — Для нее важно, понимаете, для нее!

Обернувшись направо, художник увидел: в светло-зеленой, надвинутой на самые глаза шапочке и легкой красной шубке, трехлетняя девочка играла в камешки. Она до того увлеклась игрой, что казалось, ничего не за-

мечала вокруг. В широко расставленных, чистейшей голубизны глазах было такое выражение интереса, сосредоточенности, словно, складывая камешек к камешку, она делает самое важное в мире дело.

Видимо, одна из женщин, оживленно беседовавших на скамейке, была матерью девочки. Разговаривая, она время от времени бросала взгляд на увлекшегося игрой ребенка. Девочке не хватило камешков. А там, подалее, их лежит много, самых различных — заостренных, круглых, плоских. Она устремилась к ним и на полпути упала. В мгновение ока мать была возле нее.

— Ах, ты! Что я тебе говорила?

Но девочка упорно тянула из маминой руки свою испачканную ладошку.

— Ну, чего там, — отозвалась со скамейки подруга, — пусть играет. Ничего с ней не станет.

Продолжая сердиться, но уже больше притворно, чем на самом деле, мать отряхнула шубку ребенка и вернулась на прежнее место. А крошка, набрав горсти прелестных камешков, поспешила туда, где ее ждало незавершенное сооружение.

Художник все время не спускал с ребенка глаз.

— Как вы сказали? — обернулся он к соседу по скамейке. — Для нее это важно?

И внезапно перед ним в новом свете предстало все вокруг — и этот сквер, и сосед на скамейке, и только что прохромавший мимо инвалид войны, его бывший ученик, и возвышающийся неподалеку стройный обелиск с цветами у подножия и золотыми буквами на белом мраморе: «Вечная память...»

Все словно сомкнулось в этот миг — и день сегодняшний, и день вчерашний, и все жертвы, принесенные во имя того, чтобы эта девочка в красной шубке могла вот так спокойно играть своими камешками в этом сквере.

Он долго ждал, чтобы девочка посмотрела в его сторону, и, когда она подняла на него глаза, спросил:

— Как тебя зовут?

— Света.

— Света? Что ты там строишь, Света?

— Я строю большой-большой дом.

Он ее слегка потрепал по веселым вихрам.

— Ну, ладно, иди, достраивай свой дом.

Сам же он вынул из бокового кармана небольшой альбом для эскизов и на чистом листке стал торопливо набрасывать черту за чертой. Взгляд в сторону девочки — штришок, еще взгляд — еще штришок. Обо всем окружающем он словно забыл, и даже картина, над которой давно уже работает и не может ее завершить, его больше не беспокоила. Он чувствовал, он точно знал: вот это ему обязательно удастся. Пенсионер, искоса заглядывая в альбом, с интересом наблюдал, как из торопливых, казалось бы, в беспорядке брошенных на бумагу штришков начинают вырисовываться деревья, скамейка, угол обелиска, ребенок у его подножия...

— Вы рисуете девочку? — тихо, боясь помешать, спросил он художника.

— И да, и нет, — не отрываясь от работы, ответил художник.

— Как это понять?

Ответа не последовало. Лишь затем, уже закрывая альбом, художник пояснил:

— Тут у меня разные наброски, так сказать, заготовки. Одни когда-нибудь пригодятся, другие, скорее всего, нет. Но вот за этот, — и он показал на последний этюд, — я должен сказать большое спасибо вам. Вы даже не знаете, на какую мысль меня навели.

— Я?

— Вы! Я напишу картину. В ее центре будет ребенок, девочка... Нет, не обязательно именно эта девочка. Через нее я покажу много девочек, всех детей земного шара. Всех тех, кому необходимо, чтобы на земле была вот такая весна, такое небо, такие распускающиеся деревья...

— Правильно! — воскликнул пенсионер с тем же жаром, с каким обратил внимание художника на девочку с камешками. — Правильно, чтоб я так жил на свете!

— Если получится, — улыбнулся художник, пожимая руку старику.

«Если получится...» Каждый раз, приступая к новой работе, он произносил эти слова вполне искренне, с затаенной тревогой. Сейчас этой тревоги не было. Сейчас он был уверен: картина будет. Она уже рождается в нем, как в набухшей почке сочный зеленый лист.



КРАСОТА

1

Людей, равнодушных к красоте, представляю себе с трудом. Говорят: «Красота и ум — не одному, а двум». У меня это вызывает досаду: такая ли уж редкость сочетание внешней и внутренней красоты в одном человеке?

К чему это я?

А вот...

Несколько лет назад в последний день командировки в Москве я заглянул как-то в огромный столичный магазин «Детский мир».

Командировка была не очень длительной, дел, как водится, уйма. Были и заказы — от соседей, сослуживцев, в том числе и для детей: купить комбинированный костюмчик для мальчика, цветные сапожки для девочки. Командировка незаметно подошла к концу, а я еще ни в одном магазине не побывал. Ну и бог с ними, с заказами, думал я, взрослым объясню, что не смог, — поймут. А что объяснишь детям? И в последний день перед отъездом я заглянул в магазин, заглянул с тем, чтобы, купив необходимое, тут же уйти, ибо времени у меня было в обрез.

Слегка потрескивали эскалаторы, вознося вверх и опуская на нижние этажи огромные массы покупателей, обремененных покупками.

В свободное время я люблю не спеша переходить из зала в зал, потолкаться среди людей. Особенно интересно наблюдать за юными покупателями. Вот молодая мать буквально тащит за руку трех- или четырехлетнюю дочурку. Мать спешит туда, где продают вязаные костюмчики изумительной расцветки и где уже выстраивается очередь, а девочка глаз не может отвести от великолеп-

ной куклы, восседающей в самом центре отдела игрушек. А этот мальчик, наоборот, нетерпеливо тащит за собой улыбающегося, несколько флегматичного на вид папашу к вожаденному углу с детскими велосипедами. Побродив этак часок-другой, даже если ничего не купишь, все равно доволен, ибо уносишь в душе не одну радостную детскую улыбку, сияние счастливых детских глаз.

Но в этот раз у меня было мало свободного времени. Предстоял еще не близкий путь в новый район столицы, где я остановился у своих родственников. Ориентируясь по многочисленным надписям, я стал разыскивать нужный мне отдел, и тут-то случилось то, что задержало меня.

Недалеко от центрального входа в магазин, посреди огромного, высокого зала, привлекала общее внимание небольшая, экзотически убранная башенка, вся увешанная изнутри цветными игрушками. Особенно заняты были сделанные из тонкой жести, пестро раскрашенные обезьянки. Снабженные особым механизмом, они, как живые, по тонкой натянутой проволоке быстро карабкались вверх, под самую крышу башенки. Легкое прикосновение к проволоке — и обезьянка столь же быстро спускается вниз... Каждый такой подъем и спуск сопровождался дружным хохотом сгрудившихся у башенки малышей. Невольно улыбались и взрослые. В самом деле, малышам нравились обезьянки, взрослым же...

Я долго подбирал слово, способное хотя бы в отдаленной степени дать представление о девушке, сидевшей в башенке и незаметно дергавшей за проволоку, по которой вверх и вниз двигались смешные обезьянки. Но, возможно, слова такого нет. При всем своем несметном богатстве язык человеческий все же очень беден, и убеждаешься в этом при виде такого вот девичьего лица, как то, которое я увидел в башенке с обезьянками... Меня, как, очевидно, и многих стоявших здесь, лицо это властно и надолго приковало к месту.

Недоступно, горделиво, с осанкой сказочной царевны устремила она какой-то потусторонний взгляд своих огромных светлых глаз поверх голов стоявших здесь и любовавшихся ею людей и с непоколебимым спокойствием делала свое дело: едва заметное прикосновение к проволоке — и раскрашенная обезьянка взбирается вверх, еще движение — и затейливая игрушка, почти ка-

саясь лица девушки, скользит вниз. И так все время дурашливое уродство обезьянок как бы спорило с необыкновенной красотой их молчаливой повелительницы...

Позже, уже сидя в такси, среди множества покупок, я все еще находился во власти внутреннего очарования случайно увиденного девичьего лица и каких-то навеянных им смутных мыслей. Постепенно мысли эти становились все определеннее, и наконец я понял, что мне девушку эту жаль. Да, жаль... «Как же так, — думал я, — такое прекрасное лицо, такая юная, и это совершенно бездумное занятие, эти обезьянки... Вверх-вниз, вверх-вниз...»

Я пытался представить: кто она, эта девушка, и что могло привести ее в эту башенку? То ли поступала в институт и не прошла по конкурсу и, всем назло, оказалась тут? То ли по окончании института спасается в этой башенке от поездки на периферию? А может быть, все наоборот: окончив торговую школу или курсы, направлена сюда на работу?..

Задумавшись, я не заметил, что дом моих родственников, у которых я остановился, мы проехали. Шофер меня предупредил, что этот новый, строящийся район ему мало знаком. Мы повернули назад, заворачивали то к одному подъезду, то к другому, и все невпопад. Кругом было много совершенно похожих друг на друга зданий и новостроек с одинаковыми подъемными кранами. Я отпустил такси и с покупками в руках, шагая через нагромождения строительных материалов, стал искать нужный мне дом.

2

Спустя год мне снова довелось быть в Москве. На этот раз командировка была и вовсе короткой — считанных несколько дней. Однако поручений и теперь хватало, в том числе и для ребят. В последний день перед отъездом я снова зашел в «Детский мир». И стоило мне только здесь очутиться, как я сразу вспомнил ту уже забытую было девушку из башенки с обезьянками. «Интересно, — подумал я, — здесь ли она еще?» Я прошел на знакомое место, и... Будто не бывало многих месяцев, прошедших со времени моего прошлого приезда в Москву. Будто само время остановилось у этой затейливо убран-

ной башенки... С тем же спокойным видом сказочной царевны, такая же недоступно горделивая, девушка смотрела своими прекрасными глазами поверх голов столпившихся у башенки людей и делала свое привычное дело: едва заметное прикосновение к проволоке — и смешная обезьянка карабкается вверх, еще одно прикосновение — и обезьянка спускается вниз.

Год прошел с тех пор, как я был здесь, целый год! Какие только события не потрясли мир в эти долгие двенадцать месяцев, а тут все как было — та же девушка в той же башенке теми же заученными движениями гоняет тех же обезьянок вверх-вниз, вверх-вниз...

Ушел я отсюда с чувством какой-то смутной грусти, и еще больше, чем в прошлом году, мне было жаль эту девушку...

Такси снова везло меня в отдаленный район столицы, где живут мои родственники. Район этот выглядел теперь совершенно по-иному. С одной стороны тянулись целые кварталы девяти-, десяти- и двенадцатизэтажных зданий. А на противоположной стороне улицы мощные экскаваторы с неумолчным грохотом рыли котлованы под новые фундаменты.

3

Прошло еще полтора года, и я в третий раз на короткое время оказался в Москве. Застроенный со всех сторон высотными зданиями район, где живут мои родственники, теперь вполне уже мог сойти за самостоятельный и не маленький город. На глаза то и дело попадались броские вывески магазинов, столовых, ателье. Вытянувшиеся на просторе ровными линиями, здания сверкали на солнце большими светлыми окнами, радовали глаз пестрым разноцветьем балконов, с прозрачными, почти сплошь из стекла, первыми этажами, в которых размещались почтовые отделения, кафе.

Напротив дома моих родственников сооружалось еще одно высотное здание, завершавшее собой ансамбль нового микрорайона. Из моего раскрытого окна на пятом этаже панорама стройки хорошо просматривалась, и в свободные минуты я с интересом наблюдал, как один за другим сюда подходят тягачи с громадными, длинными платформами, доставляя целые блоки — стенные па-

нели, дверные и оконные рамы. При помощи башенного крана все это быстро выгружалось и подавалось на строительную площадку.

Этажи как бы подгоняли друг друга. На седьмом еще только поднимали стены, а сквозь окна шестого уже видны были люди, занятые отделочными работами.

Вот вижу — девушка в синем комбинезоне, повязанная красной косынкой, из-под которой выбивается русый локон, свесилась из окна шестого этажа и что-то весело и в то же время требовательно кричит водителю только что подъехавшей машины. Выглянувший из кабины шофер помахал девушке рукой и что-то прокричал ей в ответ. Но гудел подъемный кран, девушка не расслышала ответа и вновь переспросила, еще больше перегнувшись через подоконник. Пока она ждала ответа, я внимательно присмотрелся к ней, и меня охватило какое-то непонятное волнение: где-то я уже видел это лицо...

Девушка внезапно исчезла, но вскоре появилась вновь, уже не одна — с подругой, одетой в такой же синий комбинезон, но без косынки, с подстриженными под мальчика черными волосами. Внизу тем временем подъехала другая машина, из нее вышли два парня, тоже в комбинезонах, и девушки оттуда, сверху, стали с ними весело переговариваться, пока один из парней не показал им кулак: хватит, дескать, лясы точить, пора за дело браться! И тут меня осенило: да ведь это она, девушка из магазина, честное слово, она! Но куда девалось ее царственное равнодушие, ее холодное спокойствие, откуда столько веселья, жизнерадостности, задора?

На этот раз я уехал в командировку столь неожиданно, что никаких поручений и заказов никто не успел мне дать. И все же я в тот же день отправился в «Детский мир». Не скрою — с известной опаской подходил я к тому месту, где стояла когда-то башенка с обезьянками. А вдруг мне померещилось, что та, в синем комбинезоне, — девушка из башенки... Вдруг я снова увижу ее здесь... Но башенки на месте не оказалось. Я обошел весь первый, второй и третий этажи и нигде ни башенки, ни девушки, ни обезьянок не обнаружил.

Подарков я в этот раз никому не купил, но уходил отсюда с таким чувством, будто меня самого кто-то порадовал большим подарком.

СТАРИКИ

В большом новом доме, куда мы недавно переехали, я с первых дней обратил внимание на маленькую старушку в вязаной кофте. Ежедневно после работы (где-то она еще работала), управившись с домашними делами, она выходила в чахлый скверик внутри двора, напротив наших окон. Садилась на одну из скамеек, надевала очки и принималась вязать. Занятие это прерывалось каждый раз, когда к ней подбегал кто-либо из игравших во дворе детей. Иногда строго, иногда добродушно старушка им что-то внушительно говорила. Вначале я полагал, что подбегавшие к ней дети ее внуки, но потом понял, что это не так — чересчур много их было...

Иной раз пятеро-шестеро ребят усаживались в разных позах вокруг старушки — кто на скамейке, кто прямо на земле. Судя по тому, как спокойно, равномерно кивала она седой головой, не прерывая вязанья, можно было понять, что она рассказывала им занятную быль или сказку.

— Бабушка Егоровна скоро вернется?

— А мы вот спросим у бабушки Егоровны...

— Бабушка Егоровна тебе задаст! — подобные возгласы то и дело можно было слышать во дворе.

Стоило ей появиться на скамейке, как многие ребята (кроме самых маленьких, рывшихся в песке) тут же окружали Егоровну, что-то наперебой спрашивая, и рассказывая, и жалуясь.

Со взрослыми старая женщина была куда менее общительна. По крайней мере несколько моих попыток разговориться с нею ни к чему не привели. Она что-то неопре-

деленно и отрывисто отвечала, не замедляя движения спиц в сухих, наморщенных руках.

Однажды, просматривая в скверике газету, я услышал:

— Варюша-а!.. В дом зайди-ка. Простынешь.

Звавший — высокий седобородый старик — стоял в одном из раскрытых окон второго этажа.

Я оглянулся: к кому бы мог относиться этот зов? Старик, по-видимому, звал дочь или внучку, и был я немало удивлен, когда со скамейки рядом со мной поднялась Егоровна, ловко собрала клубок и спицы и пошла, приговаривая:

— Иду, иду. Забеспокоился...

Со стариком я познакомился несколько дней спустя в том же скверике во дворе. Он оказался словоохотливей жены. Это был большой, широкоплечий, удивительно прямой для своего возраста человек. Здоровый румянец полных щек как-то особенно оттеняла недлинная седая борода. Голубые выпуклые глаза смотрели весело и чуть лукаво. Пахло от старика терпкой помесью железа и махорки. Говорил он отрывисто, сипловатым басом. И казалось странным, что есть что-то общее между ним, большим и кряжистым, и маленькой старушкой в вязаной кофточке, которую он ласково кличет «Варюшей».

Я узнал, что Влас Никодимыч потомственный рабочий. Лет сорок работал на разных заводах страны, в прошлом году ушел на пенсию, но снова попросился на завод.

— Понимаешь ты, — говорил он мне, — пенсия — великое дело. Тут забота государства дорога — одно, а другое — что разбогатели мы, крепко на ноги стали! А я помню — осьмушку хлеба в восемнадцатом году получали. Разруха... И поднялись же... Поднялись! — потряс Никодимыч, как бы угрожая кому-то, большой узловатой рукой.

Деревца в сквере роняли красноватую листву. Пролетая наискось, листья ложились к ногам.

— Ну и вот, — продолжал Влас Никодимыч, — пошел это я на пенсию. Проводили с почетом. Отдыхаю неделю, другую, месяц. И тут как-то Варюша мне говорит: «Что это ты сам не свой ходишь? И с лица даже спал. Как неприкаянный какой-то...» Пошел я, одним словом, на завод. «За пенсию, говорю, благодарю, но еще поработать хочется». Ну, уважили. Молодежь теперь обучаю. Вели-

кое дело! С молодыми и сам забываешь, что за шестой десяток перевалило... А было всякое. — Старик поднял с земли сухой березовый лист, помял его в больших узловатых пальцах, понюхал и продолжал свой рассказ. И узнал я, что Влас Никодимыч воевал еще в первую мировую войну и гражданскую всю провоевал. Сражался под Царицыном, под Владивостоком. Ходил с автоматом и по фронтам Великой Отечественной войны.

— Я выжил вот, — глухо проговорил он. — А сынов двух потерял. Младший погиб под самым Берлином...

Влас Никодимыч замолчал, затем как бы себе самому с удивлением проговорил:

— Я что? А вот Варюша, как она-то вынесла? Крепкая она у меня.

Затем, чтобы сменить трудный для него разговор, стал рассказывать:

— Разузнали комсомольцы наши, которых обучаю на заводе, что я в штурме Зимнего участвовал, и не отступают — рассказывай! Ну, оно, рассказать, конечно, надо. И я это с великой охотой делаю: пусть молодежь знает, как счастье, свободу для них добывали. А то иные из них думают, что так оно все и надо... Ну рассказываешь. А потом, смотришь, подойдет к тебе парень или девушка: «А мы, — говорят, — и не знали, что вы Зимний брали». — «А что я? — отвечаю. — Всем народом брали...»

С потеплевшим взглядом сказал:

— А мне в жизни большое счастье выпало, и об этом молодым нашим рассказываю, — как самого Ильича видел... Да не только видел, мы с ним на одной фотографии сняты. В двадцать первом году это было. Нас с западных фронтов большую группу военных собрали, чтобы послать на Дальний Восток. Вот перед отъездом Ильич к нам и пожаловал. Мы попросили его — он и сфотографировался с нами. Фотографию как святыню берегу...

Я попросил разрешения посмотреть фотографию, и Влас Никодимыч пригласил меня к себе. Жены дома не было.

— Труженица она у меня, — с гордостью сказал он. — Положено уже и ей на пенсию, но с работой не может расстаться. А дело у нее хорошее, по ней: при школе, в библиотеке книжки выдает. Любит она детей, в них души

не чает. Видали, может, во дворе — так и льнут к ней. «С детьми сама молода», — говорит. Ну и пусть. А теперь все вечера в школе: выставки, макеты...

За чаем как-то само собой речь зашла о молодых годах, и Никодимыч, усмехаясь в усы, рассказал, как с Варюшей встретился:

— Санитаркой была она в гражданскую. Там же, в боях, — под Царицыном дело было, — и встретились. Вынесла она меня раненого с поля боя... Не смотрите, что я такой богатырь, а она махонькая. Выходила меня. А я, как пришел в себя, да ее склоненную над собой в первый раз увидал, да в глаза ее синие глянул, так и прикипел... На всю жизнь...

Проговорили мы допоздна, но Варвары Егоровны так и не дождались.

Провожая меня из столовой через маленькую переднюю, Влас Никодимыч включил свет. На оклеенной светлыми обоями стене бросилась мне в глаза в овальной рамке фотография — пышноволосая, с большими светлыми глазами девушка.

— Дочь? — спросил я.

— Не было у нас дочерей. Да это же Варюша! Варюша то моя, — ответил старик.

И чувствовалось — не утратила и теперь для него Варюша ничего из того, за что он когда-то ее полюбил.

— Счастливые вы люди! — сказал я.

— Я и говорю — счастливые, — подтвердил на прощанье Влас Никодимыч.

КЛЕНЫ

— Деревья сажать? Еще что выдумали! Очень нужно...

Это сказала Танька Журавлева, та самая Танька, которая, разозлившись однажды на соседскую кошку, поймала ее за задние лапы, собираясь ударить. Не подоспей вовремя Шура Сизов, неизвестно, чем бы все это кончилось... Зло блеснула тогда Танька на парня взглядом обжигающих в прищуре синих глаз:

— Тебе-то что надо, кошачий заступник?

А он, забыв, что держит у груди взъерошенную, на смерть нерепуганную кошку, как-то странно смотрел на Таньку. Потом, вспомнив о кошке, опустил ее на землю, и та, быстро семеня, побежала к дому. Шурка не двигаясь ждал: может быть, девушка еще чего-нибудь скажет? Но Танька, презрительно вымолвив: «Надо же», — повернулась и ушла.

И вот с той же злостью, с тем же обжигающим прищуром Танька Журавлева процедила теперь, как она одна умеет: «Очень нужно»... Слова эти прозвучали тем обиднее, что сказаны были после того, как весь десятый класс на коротком и шумном, словно весенний дождь, комсомольском собрании решил: каждому посадить по два дерева.

Деревья хотели высаживать у нового сельского клуба. Он был просторный, светлый, недавно построенный из белого силикатного кирпича. Стоял на пригорке, в центре села, и был виден далеко вокруг.

— Клуб у нас наконец-то что надо, — сказал, возвышаясь над партой и теребя замок от «молнии» на груди, Шура Сизов. — Хороший клуб, но как-то голо, друзья,

вокруг него. А вот посадим деревья, да как разрастутся, да как поднимутся выше туч клены. Вы знаете, как пахнут весной почки?

— Когда это еще будет... — перебил Шуру чей-то недоверчивый голос.

— А ты помечтай, — ответил юноша, — помечтай... Потом, — продолжал он, — высадим деревья вдоль центра села. Всю школу поднимем на это — с первоклассников. — Взгляд его потеплел: — Пришел в школу — посади дерево. Через десять лет окончил ее, а дерево твое уже во какое!..

Девчонки восторженно завизжали. Ребята поддержали более сдержанно. Деловито загудели ломкими басками о том, где брать саженцы, машину. Тут-то в классе и раздалась неожиданная реплика Таньки:

— Деревья сажать? Еще чего выдумали...

Шурка Сизов весь вспыхнул, рванулся с места:

— Да ты...

— А чего я? — обернулась она. — Ну и сажай сам, коли нужно. Тоже — Тимирязев... — Обращаясь ко всем, скривилась: — Сажайте! А мне ни к чему! — Хлопнув дверь, Танька выбежала из класса.

Оторопело посмотрели друг на друга одноклассники. Расходясь, осуждающе говорили:

— На нее похоже...

— Ну, как можно — одна против всех?!

— А это чтоб выделиться: «Вот я какая...»

— И к чему?

К чему? Об этом впервые думал Шура Сизов, шагая к своему дому на краю села.

Даль заволокли уже мягким пологом мгlistые весенние сумерки. В зеленоватой высоте неба край луны бледным ноготком невидимого пальца указывал на забравшиеся в зенит светлые ребристые облачка. Ветром доносило с поля сырые запахи свежей пахоты.

Хотелось долго ходить по этой весенней земле, под этим небом, думать о том, что всегда будет кругом так же чисто, свежо, хорошо, и о том, как бы сделать, чтоб было еще светлее, еще лучше, и здесь, и во всем мире — всюду... И чтоб Танька, — нет, про себя он называл ее иначе, — чтобы она тоже всегда была рядом и чтоб была другая, не такая, какой все ее знают.

Откуда это у нее? Впрочем, не мудрено: отец оставил их с матерью, когда Танюше было лет восемь. Сошелся с другой женщиной в своем же селе. Встречались, бывало, на улице, в поле — отец и не отец. Потом вовсе уехал. Мать со временем тоже вышла замуж. Отчим вскоре стал гнать Таню из дома. А мать и ему потекает, и дочку жаль — разрывается между ними...

Так и выросла Танюша: тоненькая, худенькая, пронзительно синеглазая, с каштановыми кудрями, быстрая, юркая — не уловишь, не поймашь... И что бы ни делала, что бы ни говорила, во всем этом давняя затаенная обида. Все от обиды, тяжелой и непонятной... Дерево посадить? Ну, посадит, не одно — тысячу, да разве вернется отец? Нет, не вернется... Разве легче станет матери? Нет, не станет. Вот и это: «Очень нужно...» Или кошку зачем жалеть? Ее, Таньку, ведь не жалели...

У самого дома, в котором уже светились окна, Шура остановился. Захотелось вернуться, побежать к Танюше, сказать, что он все понимает, чтобы она ему поверила...

В воскресенье на грузовой машине ребята поехали за саженцами. Шура был вместе с ними. Саженцев привезли много, и сразу принялись копать ямки. Все были на месте, кроме Тани. Шура побежал за ней. Ребята отговаривали, но он все же побежал. Ведь кроме всего прочего он комсорг класса, а она комсомолка... Каково же было Шурино удивление, когда, разогнавшись во весь дух и перепрыгивая через ямы и бугры, чтоб поскорей добратсья до Таниного дома, он чуть не наскочил на нее. Таясь за углом, девушка с неприкрытой завистью смотрела на ребят у клуба. Шура, всегда робевший перед Танькой (никогда ведь не знаешь, что она скажет и что сделает в следующую минуту), теперь решительно, с самому себе непонятной уверенностью, даже грубовато бросил:

— А ну, пошли!

И она пошла. У клуба Шура взял лопату, другую подал Тане и указал ей место рядом с собой:

— Колай здесь.

Таня потрогала острие и решительно вонзила лопату в землю.

— А ну, кто быстрее? — крикнула одна из девушек, и, как всегда в таких случаях, среди ребят разгорелось веселое соперничество, облегчающее любой труд.

Когда разбирали саженцы, руки Шуры и Тани на миг встретились. Юноша отпрянул, как бы от испуга, а девушка чуть исподлобья посмотрела на него. Он тихо, чтобы не слышали другие, предложил:

— Посадим наши деревья рядом... Хорошо?

— Не то им скучно будет, да? — лукаво спросила она.

Почувствовав, что слова застревают в горле, Шура только молча кивнул.

— Давай! — весело сказала Таня.

Работу закончили к вечеру. Подняв лопаты на плечи, ребята направились домой. Шли кто группой в пять-шесть человек, кто по двое, по трое, весело переговаривались.

За волнистую голубизну сопок в отдалении опускалось солнце. Последние лучи ярко поблескивали на остриях поднятых над головой лопат.

Шли по длинной сельской улице восемнадцать юношей и девушек. А у клуба, где утром еще было голое место, теперь непривычно и ново чуть покачивались на ветру тридцать шесть тонких, гибких саженцев.

МУЗЫКАЛЬНАЯ НОВЕЛЛА

Молодой музыкант, недавно окончивший консерваторию, приехал в гости к родителям на несколько дней. Родители — оба уже пенсионеры: отец — бывший мастер швейной фабрики, мать — библиотечный работник. Они гордились сыном. Им очень хотелось, чтобы Фелик (для них он все еще был Феликом) что-нибудь сыграл для друзей и знакомых.

Своего инструмента в доме не было, но это не имело значения. В местной радиостудии сказали: «Пожалуйста, собирайтесь у нас. А мы запишем концерт. Это будет очень даже интересно».

Когда родители не без робости сказали об этом Феликсу, он, как в детстве, подтянул вверх нижнюю пухлую губу и усмехнулся:

— Напоказ? Вот, дескать, мы какие?

— Почему напоказ? Люди хотят послушать, как ты играешь, чего тут плохого?

— Любопытно, какие это люди?

— Обыкновенные. Мои, мамины друзья. Да и твои товарищи...

Утром следующего дня, едва проснувшись, Феликс побежал к матери, обнял ее и, заглядывая в глаза, сказал:

— Обиделась, да? Ладно, буду играть, буду...

В назначенный час собрались в студии. Здороваясь с приятелями родителей, Феликс испытывал странное волнение. Многие из этих людей знали его совсем еще маленьким. И, возможно, подумал он, ему сейчас предстоит держать экзамен куда более серьезный, чем несколько месяцев назад в консерватории.

Феликс вдруг почувствовал себя в чем-то виноватым перед окружившими его пожилыми мужчинами и женщинами. Среди них были и его первая школьная учительница, и первая учительница музыки. В далеком старинном городе, где он учился в консерватории, ему лишь изредка вспоминался молодой город на Дальнем Востоке. А они, его земляки, между тем тут не дремали: город разросся, оделся в зелень бульваров и скверов. Любопытно, вот это двухэтажное здание — было оно уже или его еще не было, когда он уезжал отсюда? Нет, кажется, не было. И виднеющиеся в окно четырехэтажные дома, над которыми летают сейчас голуби, их тоже ведь не было... И по ту сторону моста зеленая сопка тогда не целилась еще в небо острием телевизионной вышки...

Вот с этим чувством какой-то вины перед людьми, собравшимися в студии, в которой сразу стало тесно, молодой музыкант присел к роялю. Сперва сдержанно, потом все свободнее, просторнее полились звуки рахманиновского «Прелюда». Все, чему научился он за эти годы, старался Феликс вложить в свою игру. Все, что умел.

Феликс сознавал, что эти люди пришли сюда не просто послушать концерт. Они пришли потому, что желают удостовериться: делом ли занимался и он, их земляк, и не потерянным ли оказалось для него то время, когда они здесь с головой ушли в сооружение поселков, заводов, колхозов...

Со всей тонкостью, на которую был способен, старался Феликс донести до слушателей все, что играл, словно была перед ним аудитория, сплошь состоящая из профессиональных музыкантов.

В действительности же истинных знатоков в зале было всего два — первая его учительница музыки и пожилой театральный критик, известный в городе как человек едкий и насмешливый. Сидел он у самого входа с таким видом, словно заглянул сюда лишь случайно и готов сразу же уйти, как только происходящее здесь перестанет его занимать. Из-под высокого лба, как из-под укрытия, остро поблескивали глубоко посаженные маленькие черные глаза.

Феликс некоторое время чувствовал на себе этот взгляд, мешавший ему играть. Напряжением воли он от-

странил его, как нечто живое, затем, целиком отдавшись игре, и вовсе о нем забыл.

Дверь в коридор была широко раскрыта. Все же от светловыкрашенного потолка с огромной люстрой, набитой слепящими электрическими лампочками, от тяжелого темно-красного ковра на полу нестерпимо несло духотой. Но для слушателей, казалось, все окружающее исчезло. Захваченные мощным, торжественным потоком звуков, они сидели сосредоточенные, не сводя глаз с мелькающих пальцев пианиста.

В углу, в тени, какая-то очень маленькая, почти незаметная, сидела первая школьная учительница Феликса. Локтем оперлась о колено, подбородок на кулачке. Сейчас, под бурные звуки «Прелюда», ей с поразительной отчетливостью представилось...

...В первом классе, на второй парте у окна, — крепкий чернявый мальчонка. Щечки у него и так словно пампушки, а от старания он их еще больше надувает, даже кончик языка высовывает, аккуратно выводя в разлинованной тетради черточку за черточкой... Тот маленький, беспомощный мальчик и этот пианист, из-под пальцев которого вылетают такие мощные звуки, — один и тот же человек! Неужто? И ее охватывает сложное чувство — и радость, и гордость, и страх: сколько же лет с тех пор прошло?...

Приоткрыв рот, не сводит с Феликса глаз высокая, худая женщина с темной бородавкой на бледном лице. Она смутно разбирается в том, что он играет, но ей просто нравится, что столько людей затаив дыхание слушают ее маленького соседа... На губах женщины мелькает улыбка. Сколько раз родители Феликса оставляли его на ее попечение, и когда он слишком уж расходился, она, бывало, всыплет ему куда следует, чтобы вел себя потише. И вот...

Самой внимательной слушательницей была здесь, конечно, учительница музыки. Она даже несколько мешала другим: то медленно, то быстрее, то вдруг совсем быстро качала головой, губы ее что-то бормотали. Подобно чуткой клавиатуре, она вся трепетала в такт музыке.

Феликс энергично потрянул волосами — они на миг упали ему на глаза — и бессильно опустил руки. Публика зааплодировала.

Во время перерыва все двинулись в коридор, жадно вдыхая вечернюю прохладу, хлынувшую с улицы в раскрытую дверь.

К Феликсу подошла мать. Безмолвным, затуманенным от неожиданной слезы взглядом спросила, не слишком ли устал, доволен ли...

Его обступили. Отец тоже хотел подойти, но пробиться не стал. Ничего, успеется. Что-то совсем по-бабьи у него вдруг заслезились глаза...

Чуть приподнявшись на носках, театральный критик похлопал Феликса по плечу:

— Хорошо, молодой человек, хорошо...

Однако глубоко посаженные черные глаза при этом говорили другое. Или Феликсу показалось? Сегодня перед этими людьми хотелось ему играть так, как никогда еще не играл. Удалось ли? Этот критик в душе, пожалуй, издевается над ним, молодым музыкантом. Издевка слышится в его невнятном, приглушенном голосе:

— О вашем инструменте, о рояле, когда-то хорошо сказал Рубинштейн. Вы, конечно, знаете... Я имею в виду, — добавил он, — великого Антона Рубинштейна...

Критик уставился на Феликса взглядом, в котором одновременно можно было прочесть: «Конечно, знаешь, это ведь элементарно», и «Оказывается, ты об этом понятия не имеешь... Ох уж эти нынешние, нахватаются вершков...»

Феликс стоял чуть растерянный, с видом человека, занятого решением сложной задачи высшей математики, которого вдруг спросили бы: «А сколько будет дважды два?»

Он пожал плечами:

— Рубинштейн много писал о музыке...

— Верно, — согласился критик. — А что касается рояля, он, как вы знаете, сказал так: «Вы думаете, это один инструмент? Нет, это сто инструментов!»

— Ха! — Феликс рассмеялся. — Наш профессор часто любил повторять это изречение.

Критику смех не понравился, и он не без иронии заметил:

— Не забудьте, однако, сто инструментов содержал в себе его рояль, Рубинштейна... Как и Листа, Рахманинова...

Потом, чуть пожевав бледными губами, позолотил пилюлю:

— Но и в вашем рояле инструментов десять найдется...

Он отошел в другой угол, где в облаке папиросного дыма оживленно о чем-то разговаривала группа работников музыкальной школы и радиостудии. Оттуда до Феликса доносилось: «легато», «октава», «туше»... Речь, по-видимому, шла о его музыкальной технике. Критик тут же вмешался в разговор.

— Слово «техника», — сказал он, — происходит от греческого «тэхнэ», что означает «искусство»...

Феликс все еще не мог понять, в похвалу ли ему все это говорится, или уважаемый критик просто хочет лишний раз похвастать своей эрудицией.

Перерыв кончился.

Все снова сидят в зале.

На какое-то мгновение руки Феликса застыли в воздухе, затем всеми пальцами легко опустились на клавиатуру. В звучных недрах рояля зародился рокот, подобный приближению грома... И вот уже громыхают, бушуют звуки — ураган, буря, горный обвал, — и кажется: вот-вот сверкающая молния расколет небесный свод на всю его немыслимую глубину.

Постепенно бурные аккорды становятся сдержаннее. Тише, тише. После бури выглянуло солнце, отразилось в успокоенной глубине вод...

Вдруг пианист склонился у края клавиатуры, вслушиваясь в переливчатые трели, и снова — голова чуть откинута назад, а тонкие пальцы мелькают так, что, когда смотришь на них, глазам больно.

Быстро-быстро, в такт покачивает головой старая учительница музыки. Критик сидит, полузакрыв глаза. Он больше не подсчитывает, сколько в рояле инструментов... Да, это Лист. Это он — напористый, страстный, со всей своей неумейной жаждой жизни...

Гремят водопады. Разливаются океаны — людские судьбы, мечты, стремления, борьба — борьба за простое человеческое счастье...

Критик сейчас завидует молодому пианисту, завидует власти его над миром звуков. Он вспомнил свою уже далекую юность вскоре после революции, — голодная, но радостная то была юность, полная впервые открывшихся

ошеломляющих возможностей. Все дороги, все двери — настезь! Вот тогда бы да теперешнее умение выбирать! Тогда жадно хотелось схватить все сразу — театр, живопись, музыку... Но ни на одном пороге не задержался, и вот сейчас он ценитель многих искусств, всего лишь ценитель.

О чем-то своем, заветном, задумалась пожилая женщина с бородавкой на бескровном лице. Странно, почему именно сейчас она вспомнила своего мужа? Он был каменщиком, возводил дома, клал печи. Уже давно, лет тридцать назад, он погиб. В дождливый день сорвался со скользких лесов недостроенного этажа... Строили первое большое школьное здание в этом тогда еще совсем молодом селении. Позже надстроили еще один этаж. Школа до сих пор стоит и еще долго будет стоять. В ней дочь окончила десять классов, теперь там учатся внуки. Феликс тоже бегал с портфелишком в эту школу.

Странно, почему именно сейчас она вспомнила обо всем этом?..

Отец Феликса, сперва ревниво переводивший взгляд с одного слушателя на другого: «Что они думают об игре сына?» — теперь ни на кого не смотрит. Низко опустив тяжелую голову, с полузакрытыми, набрякшими веками, он где-то далеко отсюда. Он видит себя в возрасте Феликса по ту сторону океана...

Занесло его туда из бедного польского местечка... Аргентина. Пути, перепутья. Сколько их было — не счесть! Поиски работы, хлеба, доли... Иногда казалось: наконец-то нашел! Потом опять то же самое. Однажды его вместе с другими участниками рабочего собрания арестовали. Это случилось во время одного из многочисленных государственных переворотов в той стране. Собрания были запрещены. Эмигрантам было предложено убраться из Аргентины.

И вот страна его мечты. Четыре буквы — как четыре солнца: СССР.

Первая коммуна... Первые палатки... Первые дома... Трудностей множество, но еще больше силы, чтобы их превозмочь. А главное — юные сердца, крепкие руки!

И вот его сын, рожденный на этой земле, сын его — у рояля! Очаровательные слушатели... Лист... О, старику Листу есть что сказать и о нем, бывшем безработном из Аргентины, о том, как здесь, на этой щедрой даль-

невосточной земле, рванулся он с жадностью к работе, как вот этими сильными руками корчевал тайгу, вместе с товарищами ставил первые дома.

Расходились поздно. Небо над городом стояло высокое, просторное. Мимо ослепительной луны мчались тучки, и казалось, что луна куда-то торопится.

Медленно, раздумчиво шагая, критик оглянулся и заметил, что все, с кем он только что был на концерте, ушли вперед. Он ускорил шаг, догнал Феликса и, пересиливая одышку, спросил:

— Торопитесь, молодой человек?

— Извините, — вежливо ответил тот. И поинтересовался: — Вы мне что-то хотите сказать?

— Да... Сколько, я сказал, в вашем рояле инструментов?

— Что-то около десяти, если не ошибаюсь.

— Добавьте еще двадцать! За Листа.

— Благодарю.

Некоторое время шли молча. К видневшейся вдаль сопке и куда-то дальше, огибая ее, тянулась гирлянда электрических огней. Воздух был настолько прозрачным, что даже отсюда, на расстоянии нескольких километров, нетрудно было различить на вершине сопки маленький домик, уютно примостившийся у подножия телевизионной вышки. А напротив, возле строящегося многоэтажного дома, дремал с высоко поднятой стрелой башенный кран.

Критик тихо произнес:

— Не люблю сантиментов. Но сегодня вы меня растрогали...

Испугавшись последнего слова, он сразу же спохватился:

— Не только вашей игрой, нет...

— Чем же?

— Во-первых, тем, что играли вы (слово «вы» он подчеркнул), и, во-вторых, тем, что вы играли (подчеркнул он слово «что»).

— Не понимаю.

— Вам это, пожалуй, трудно понять. Видите ли, в этих местах я поселился, когда вас еще не было на свете. Примерно года за два до этого... гм-гм... события. Окончил в Москве институт и приехал сюда работать. Вот здесь, где мы сейчас шагаем, асфальта не было. Были

ямы и рытвины. В жаркий день не продохнуть от пыли, в дождливый — ног из грязи не вытянуть. . . И вот сегодня, когда вы играли, особенно когда вы играли Листа, я подумал: значит, за прошедшие годы мы здесь, вдали от тех мест, где часто даются камерные концерты, кое-что сделали! Значит, годы прожиты не зря! . . Извините, — резко оборвал он свою речь, — здесь мне нужно свернуть. Живу вот в том новом доме. . .

Он торопливо пожал Феликсу руку и скрылся.

Феликс посмотрел ему вслед. «Этот человек, — подумал он, — вовсе не такой, каким кажется».

Подумал он и о других людях, шагавших впереди. Возможно, и у них он, Феликс, своей игрой вызвал такие чувства, о которых сам даже не догадывается.

Издали, остановившись, озабоченным голосом его окликнула мать.

— Иду, мама!

Накинув пиджак на плечо, он зашагал быстрее.



ВНУЧКА

Вы говорите—внуки. А знакома ли вам моя внучка? Нет? Была бы знакома, позавидовали бы. Знаю, скажете: у самих внуки, да такие, что весь свет обойди — подобных не сыщешь... Охотно верю. Пусть растут они на радость, похваляйтесь на здоровье их умом и талантом. А я расскажу о своей внучке.

Головка у нее белокурая. Нет, белокурая — не то слово. Будь на свете шелк, сотканный из солнечных лучей, он напоминал бы ее волосы. Они волнисто спадают на плечи, и в них старательно вывязанный матерью голубой бант. Глазки у нее, как и бант, голубые, реснички длинные, темные, а вся она, как ртуть, стремительна. А щебетунья!.. Только появляясь на пороге, с таким порывом, что чуть не валит с ног, кидается в объятья и подставляет свои губки — два розовых лепестка. Все поцелуй на свете можно отдать за этот поцелуй. Затем вихрем врывается в комнаты в поисках дела.

Она уже большая — с похвальной грамотой окончила первый класс и в сентябре пойдет во второй. То же, о чем собираюсь рассказать, произошло ранее, когда ходила она еще в детский сад.

Бывало, с папой, мамой и старшим братиком заявившись в гости, тут же взгромоздится на стул и не оставит его, пока не споет все песенки и не продекламирует все стихи, которым научили ее за время, что не была у нас. А нам, взрослым, не смей и пошевеливаться... Был ли важный разговор, дело ли какое — все приходилось откладывать, пока этот импровизированный, а иногда и весьма продолжительный концерт не закончится. Мало того — маленькая актриса требовала после каждого «номера» аплодисментов...

Несколько позже она увлеклась рисованием. Ей понадобились карандаши, бумага. Да карандаши не простые, а всех цветов радуги, чтоб все нарисованное было «взаправду». Я купил ей такие карандаши, и, хорошо очиненные, они дожидались ее прихода. Хуже было с бумагой, она требовалась в неимоверном количестве. Разрисованные листы то и дело вылетали из-под ловких маленьких ручек. . .

— Линочка, — пытался я однажды ее урезонить, — ты бы поэкономней обращалась с бумагой.

— Как это поэкономней? — недоумевающе глянула она на меня. . .

— Ну вот, — пояснил я, — такой огромный лист, и что ты на нем изобразила? В одном уголке, внизу, — маленький темный домик, два зеленых деревца, а в самом верхнем углу — красное пятно с палочками. . .

— Да это же солнце! — обиделась она.

— Ну да, солнце, — согласился я. — А весь-то лист пустой.

— Как ты не понимаешь! — воскликнула она. — Это же небо, а оно такое высокое! . .

Больше я об экономии не заговаривал и выдавал ей все новые листы для следующих композиций.

Однажды субботним вечером Лина заявила в гости с папой, мамой и старшим братиком. Едва успев одарить бабушку и дедушку поцелуем, тут же ворвалась в комнату с претензией:

— А почему у вас нет пианино?

— Зачем оно тебе понадобилось?

— Играть хочу! Как Эмилия Исаевна. Сегодня Эмилия Исаевна разучивала с нами новую песню и играла на пианино.

— Хорошо, — сказали мы, — когда подрастешь и у тебя будет желание учиться музыке, мы купим пианино.

— Сейчас хочу!

— Не говори глупостей! — строго сказала мать и вместе со свекровью удалилась на кухню.

Мы с сыном, отцом Лины, прошли в кабинет, продолжая начатый разговор.

Лины долго не было слышно, и мы были рады, что она не мешает. Вдруг раздалось пение. Мать и бабушка тотчас вышли из кухни, мы с отцом Лины — из кабинета. Лина недовольно на нас замахнулась:

— Уходите! Уходите!

— Ты что, Линочка, не хочешь, чтоб мы послушали, как ты поешь?

— Пока я еще репетирую, — ответила она. — Позже позову вас.

— Ну хорошо, — сказали мы и оставили ее одну.

Спустя некоторое время она позвала нас. Мы вошли, и я не узнал нашей комнаты. На самой ее середине отливало лаковым блеском новехонькое пианино. . . Пальчики Лины быстро мелькали по клавишам. Откинув назад белокурую головку с голубым бантом, она пела песенку, которой Эмилия Исаевна научила ее в детском саду.

Свершилось чудо! В одном углу комнаты телевизор, в противоположном — журнальный столик, торшер и кресла, а посередине — темный полированный сервант. В нижней его части было два отделения. В одном из них были сложены глаженные простыни, наволочки, полотенца. Дверца этого отделения была широко раскрыта, белье лежало на полу. На низенькой скамеечке, которой бабушка пользуется при чистке картофеля, сидела Лина, и пальчики ее стремительно бегали по доске, разделявшей нижнюю часть серванта. . . Она делала это увлеченно и с таким азартом, так уверенно, что нам почудилось: всю комнату наполняют звуки аккомпанемента. . . Мы сказали, что пианино нет. Что за беспомощные люди, эти взрослые! Как же нет, когда оно необходимо! И вот же оно, вот. . . Лина играет, играет. . .

Мы долго аплодировали ей, хотя на этот раз она об этом не просила.

Когда Лина была еще совсем маленькой и у нее спрашивали, бывало, кем она хочет стать, когда вырастет, та отвечала:

— Буду продавщицей мороженого.

Позже ей хотелось стать воспитательницей в детском саду. Теперь верх ее мечтаний — профессия учительницы. А может, думается мне, и вправду вырастет она у нас пианисткой. И — кто знает? — может, доведется ей когда-нибудь услышать рукоплескания больших аудиторий. Так вот, вспомнит ли она тогда это самое первое свое выступление и эти наши первые аплодисменты?

А вы говорите — внуки. . .

РОЗОВОЕ И ГОЛУБОЕ

Морозно хмурился короткий зимний день. Расшалившимся щенком то слева, то справа насккивал ветер, прыгал в лицо. Я поднял воротник, глубже надвинул шапку, старался не глядеть по сторонам. Но что это? На голубовато-белом снегу — прыг-прыг — розовый шар... Гроздь таких шаров носят дети на первомайских демонстрациях. Стоит оторваться одному шару, и сотни людей следят, задрав головы, за его полетом. Но откуда он теперь здесь, этот розовый шар? Может, у меня галлюцинация? Протер глаза — нет... На голубоватом снегу легко подпрыгивал розовый шар. Потом ветром его приподняло и понесло наискось, мимо меня... Я оглянулся, чтоб проследить его полет, и встретился глазами с молодой женщиной, шедшей за мной. Она тоже заметила шар и уголками глаз, как бы соглашаясь со мной, улыбнулась: «Да, странно»... Под бордовой шапочкой, обрамленной белым пухом, весело блестели ее удлинненно-суженные черные глаза. Одними глазами подала она мне знак, чтоб я глянул вперед.

На то, чтоб увидеть шар, обернуться, встретиться глазами с женщиной, понять ее знак, ушло мгновение, и, оглянувшись, я еще успел увидеть в глубине улицы быстро уносящуюся светлую «Волгу». На длинных нитях взлетали над нею шары — зеленый, оранжевый, голубой... А одна нить трепыхалась на ветру пустая... С нес, видно, и сорвало розовый шар.

Поравнявшись со мной, женщина из-под обрамленной белым пухом бордовой шапочки скосила в мою сторону улыбчивый взгляд своих удлинненно-суженных черных глаз: «Понятно, откуда шар?» И прошла.

Я понял: жених и невеста в этой машине направлялись в загс. Там они торжественно распишутся, наденут друг другу золотые кольца, выпьют шампанского, а затем до поздней ночи будет греметь свадьба...

Но вот, подумал я, едут жених и невеста и не ведают, что самый красивый, розовый шар ветер с их машины сорвал и унес...

Я не знал жениха и невесты, вряд ли когда-нибудь с ними встречусь, но в груди зашевелилось опасливое и чуть суеверное чувство. Этот сорванный шар... как бы не стал он дурным предзнаменованием... Но тут же подумал: молодые-то о нем не знают, вот им и не повредит...

Машина скрылась. Шар исчез. Незнакомка прошла. Улицу заполнили новые прохожие. Никто из них не знал ни о машине, ни о сорванном шаре. Я один видел, как подпрыгивал он на снегу — розовый на голубом — и как унесло его ветром... И в душе трепетало одно желание: пусть у молодых все будет хорошо...

жизнь

Примерно в конце апреля оставшийся с зимы мешок картошки вынесли в сарай, чтобы та не портилась. С тех пор к немногочисленным домашним обязанностям сына-школьника прибавилась еще одна, которая почему-то особенно тяготила его.

— Иди, — говорила ему мать по утрам, — набери миску картошки. Да смотри, получше клубни отбирай, а то половину выбрасывать приходится.

Сын поручения выполнял без особого усердия. В спешке — скорей бы отделаться! — ронял, разбрасывал клубни. Некоторые из них закатились под старую скамью, которую когда-то выставили в сарай.

А вскоре парень заявил:

— Все. Нет больше картофеля, один только мусор остался.

— Ладно, — согласилась мать, — выбрось мусор-то. И вообще чем без толку носиться по улицам, ты бы похозяйничал, навел бы в сарае порядок.

В середине лета я как-то случайно заглянул в сарай. Там все было как прежде — кучки посеревшего угля, старая, сломанная скамейка. Но когда глаза привыкли к пыльной полутьме, я увидел: извиваясь по угольной пыли, тянутся длинные светло-зеленые плети. Не сразу догадался, откуда и как они здесь очутились. Заглянул под скамью и там, между крупными и мелкими кусками угля, увидел почти не отличимые от них серовато-черные клубни картофеля. Из этих сморщенных, как бы окаменев-

ших комочков и тянулись длинные бледно-зеленые плети, издавая еле уловимый запах роста...

Между тем лето ушло. На исходе дня в квартире стало прохладно, и жена надумала протопить в кухне плиту. Я отправился в сарай за углем и остановился как вкопанный у самого входа.

Земляной пол сарая, словно причудливым ковром, весь был покрыт густым, непроходимым переплетением зеленых побегов. Я взялся за лопату, чтобы как-нибудь пробиться к углю под старой скамьей. Но тут сквозь отверстие в двери сарая скользнул солнечный луч, и в его ярком свете я увидел среди угля, на опустошенном сморщенном тельце старой картофелины, чистый, круглый белый комочек. И столько в нем было свежести, нежности... И столько силы! Как все юное, новорожденное, он и в этом мрачном сарае упорно тянулся к свету, как бы улыбался солнечному лучу, говорил:

«Видишь — живу я! Живу!»

Я слегка приподнял странный ковер из переплетенных плетей, и — глянь-ка, глянь! — живой, веселый белый комочек-то не одинок! У него и братишки, и сестренки... Сколько их! Все жмутся к иссохшему материнскому лону и будто кричат из этой затхлой тьмы:

«Смотрите, живем мы! Живем!»

Малюсенькие, одни с горошинку величиной, другие размером побольше — с орех, с белой и розовой тонкой кожицей. А вот и несколько солидных картофелин величиной с яйцо.

Как же они выросли тут непосаженные, без дождя и солнца?

Я оглянулся и заметил в высохших досках двери довольно широкие щели. Сквозь них-то, видать, и проникали капельки дождя, заглядывало солнце. Вот и сейчас оно исполосовало здесь пыльную полутьму.

Потому-то из того угла, из-под старой скамьи, и потянулись сюда бледно-зеленые побеги — влекло их к скудному источнику влаги и света.

Ждали старые картофелины мягкой грядки, чтобы пустить в почву прочные корни и чтобы на этих корнях завязались многочисленные сочные клубни, а над землей раскинулся шатер из зеленых листьев и фиолетовых соцветий. Не дождались. И все же предназначение свое вы-

полнили. Сморщились, ссохлись, но до последней капельки перелили свои соки в новое, юное поколение.

Осторожно — не растерять бы, не повредить — собрал я нежданный этот урожай и в горстях перенес его в дом. Пусть здесь, в прохладном, затемненном углу, дожидаются весны, чтобы в будущем году дать новый, настоящий урожай.

1958

НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ

Очерк

1

Молодые дубки на дальневосточной земле в майскую пору... Буйно сверкает на солнце яркой зеленью их густая листва, и лишь кое-где — сразу и не заметишь — желтой заплатой так и не упавший прошлогодний лист...

Дубки относит назад, а навстречу все новые и новые... Акварельно голубеют сопки у горизонта...

Молодой шофер включил радио, но я прошу его выключить — пусть ничто не нарушает тишину и ясность этого весеннего утра и мысли, навеянные им.

С мягким шелестом ложится под шины асфальт. Я еду в Валдгейм и думаю о том, что не всегда асфальт покрывал эту дорогу. Было время, когда разбитое шоссе, все в рытвинах и ухабах, выворачивало тут душу наизнанку. В те времена и мне однажды довелось ехать по этой дороге. Вез меня в кабине своего грузовика Ехиел Рак. Когда я посетовал на плохую дорогу, он, помню, не снимая с баранки больших рук, измазанных в масле, повернулся ко мне и, усмехаясь, сказал:

— Это рай, а не дорога в сравнении с тем, что мы здесь застали в тридцатом году.

В тридцатом году он, Ехиел Рак, возница из маленького украинского местечка, вместе с другими переселенцами приехал в эти места и обосновался в Валдгейме. Он стал тут первым трактористом, а позже — бригадиром первой тракторной бригады.

Спустя годы помнится тройной юбилей этого труженика: ему исполнилось пятьдесят лет, из них тридцать в колхозе и двадцать пять — во главе тракторной бригады.

А тогда, сидя в кабине грузовика, Ехиел Рак мне рассказывал:

— Машин было мало. Большой частью ездили на лошадях. В ненастную погоду по непролазной грязи чуть ли не сутки добирались от Тихонькой до Валдгейма.

Я понял, почему разбитую шоссейную дорогу назвал он «раем».

А что бы сказал Ехиел Рак об этой прямой асфальтовой ленте, мчащейся стрелой от Биробиджана (бывшей Тихонькой) до Валдгейма?

Но Ехиела Рака нет уже в живых. Он умер несколько лет назад. В Валдгейме живут теперь его дети и внуки.

Машина мчится по асфальту, а по обе стороны дороги бегут и бегут назад молодые дубки с желтыми заплатами неупавших прошлогодних листьев в ярко зеленеющих кронах.

«Да, и в жизни так, — подумал я, глядя на эти дубки, — старое еще не отпало, а новое уже цветет. В жизни, однако, это происходит посложнее, чем в природе. На этих вот дубках прошлогодние листья с зелеными, молодыми не спутаешь, а в жизни нередко отцветшее, отжившее пытается вырядиться в зеленую тогу, — поди различи! Для этого требуется уже зоркий глаз да немалый жизненный опыт, ум. Люди, обладающие этими качествами, особенно нужны обществу». К такому-то человеку я и ехал теперь в Валдгейм.

Мне предстояло встретиться там с председателем колхоза «Заветы Ильича» — Владимиром Израилевичем Пеллером, который незадолго до этого был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.

Мы проехали село Птичник, которое находится на полпути между Биробиджаном и Валдгеймом. Село это, как и другие — Пронькино, Валдгейм, Желтый Яр, — входит в колхоз «Заветы Ильича», где много лет уже председательствует Пеллер, человек, хорошо знающий свое дело. С тех пор, как Владимир Израилевич стал председателем, колхозные угодья увеличились в несколько раз, выросли и доходы, увеличился достаток в колхозных домах. Пеллер был удостоен высшей награды — ор-

дена Ленина и Золотой Звезды Героя Социалистического Труда. А до этого у него было немало наград фронтовых и среди них орден Славы всех трех степеней.

Но увидеть Владимира Израилевича Пеллера при всех его орденах можно не часто. Помнится, когда Еврейской автономной области вручали орден Ленина, Пеллер удостоился чести внести знамя, к которому должны были прикрепить орден. Надо было его видеть тогда: высокий, широкоплечий, с гордо поднятой головой, при всех орденах и медалях, он легко и торжественно нес бархатное темно-красное знамя...

В будни, за работой, вы никаких наград на нем не увидите, и только когда едет в город на пленум или на сессию, он прикрепляет на грудь Золотую Звезду.

Увидеться с Пеллером не так-то легко. И не потому, что он избегает людей или, боже упаси, хочет придать себе побольше весу, — такое называет он «ломать комедию» и сам бы на это ни за что не пошел, — он просто всегда по горло занят.

Нередко случается так: вы приходите в правление колхоза — кабинет председателя закрыт.

— Где Владимир Израилевич?

— В Пронькине.

Вы мчитесь туда.

— Владимир Израилевич? Только что уехал в Желтый Яр.

В Желтом Яре вам говорят:

— Он собирался ехать на Птичник.

Вы устремляетесь вслед и слышите:

— Да, был Владимир Израилевич. Но только что его вызвали в райком.

Завтра может повториться то же самое.

Мне повезло. Несколько дней ранее состоялся пленум обкома партии. Я знал, что Пеллер непременно будет на пленуме, и приехал пораньше, чтобы договориться о предстоящей встрече.

В просторном фойе Дворца культуры, где должен был состояться пленум, царил приглушенный шум сотен смешавшихся голосов — обменивались приветствиями, обсуждали последние новости, беседовали, и во всем чувствовалось то деловое и в то же время приподнятое настроение, которое характеризует подобные встречи.

Пеллера я увидел окруженного большой группой людей, среди которых он выделялся своей высокой, кряжистой фигурой. Когда людей вокруг него поубавилось, я сказал:

— Владимир Израилевич, у меня к вам дело.

Он улыбался одними глазами, и я с удивлением заметил, что глаза у него не серые, как я всегда полагал, а светло-голубые. Так вот, улыбаясь одними светло-голубыми глазами, Пеллер сказал:

— Я догадываюсь, о чем идет речь. Но, может быть, мы как-нибудь обойдемся без этого?

— Нет, — сказал я, — это исключено.

— Почему же?

— В плане редакции записано: «Очерки о кандидатах в депутаты». Мне поручено написать о вас. Ни меня, ни вас никто от этого не освободит.

— Когда? — спросил он, сдаваясь.

— Об этом хочу спросить у вас. Я готов хоть сегодня.

— Сегодня не выйдет. После пленума у меня встреча с избирателями Петровского совхоза.

— Завтра?

— Завтра после работы встреча на швейной фабрике.

— А вечером, после встречи?

— Нет. Голова для беседы должна быть ясной.

— Когда же?

— Давайте послезавтра, в семь утра, в правлении колхоза. Идет?

— Идет.

И вот я еду в Валдгейм, к Пеллеру.

Мне всегда приятно встречаться с этим ладным, сильным, крепко сбитым человеком — тружеником и солдатом.

Совсем молодым приехал он на эту обширную, мало обработанную приамурскую землю, да так и остался на ней. Здесь он рос и мужал. Его крепкие руки жаждали работы, а неосвоенным здешним просторам нужны были руки. Счастливое сочетание дало плоды. Вскоре на берегу Амура, в поселке Амурзет, вырос колхоз, который евреи — переселенцы с Украины называли «Красный Октябрь».

В экспозиции биробиджанского музея «Хозяйственное развитие Еврейской автономной области» можно видеть

фото — молодой человек, а внизу подпись: «Первый председатель колхоза «Красный Октябрь» В. И. Пеллер». А в другой экспозиции, «Наши земляки — участники Великой Отечественной войны», можно увидеть фотографию 1944 года: у развернутого знамени полка с надписью: «Смерть немецким захватчикам!» стоит brave солдат, полный кавалер орденов Славы. И это — Пеллер.

Обе фотографии дают отчетливое представление о Пеллере — труженике и солдате.

Новый период жизни этого человека начался в том же самом приамурском колхозе, куда Пеллер возвратился после войны и где снова стал председателем. Последние годы он возглавляет колхоз «Заветы Ильича». О хорошей работе этого колхоза, о его уважаемых людях, о самом Пеллере много пишут в областной и краевой прессе. Номер хабаровской газеты «Тихоокеанская звезда» с корреспонденцией о колхозе «Заветы Ильича» попал как-то в руки И. Баграмяну. И вот что маршал написал в редакцию:

«Искренне благодарю за присланный номер газеты «Тихоокеанская звезда», из которого я узнал о достижениях в труде бывшего фронтовика, нашего боевого товарища по Балтийскому фронту Пеллера Владимира Израилевича. Как это видно из газеты, теперешний труд товарища Пеллера достоин его славного боевого прошлого. Я прошу передать товарищу Пеллеру мой сердечный привет, и мои пожелания ему и его землякам, — дальнейших успехов в подъеме коллективного хозяйства — основы их благополучия.

Маршал Советского Союза

И. Баграмян»

Это все хорошо, размышлял я, приближаясь к Валдгейму. Но что написать о Пеллере? Повторять известное вряд ли стоит, и я решил беседу с Владимиром Израилевичем повести вокруг актуальных задач, которые стоят перед колхозом сегодня, вокруг проблем, которые ему предстоит решить, поговорить о перспективах. Конкретная, повседневная работа, осуществляемая колхозом и его руководителем, — это ведь, в конце концов, главное.

Когда-то Валдгейм встречал вас двумя-тремя низенькими деревянными домишками по обеим сторонам дороги. Подальше стояли дома повыше, и в одном из них помещалось правление колхоза.

Теперь уже в самом начале деревни вы видите совершенно иную картину. Справа приветливо смотрит на вас своими витринами небольшое, одноэтажное, из силикатного кирпича, белое здание — магазин «Светлячок». В этот ранний час магазин был еще закрыт, и казалось, в нем еще спали, отдыхая, телевизоры, радиолы.

С левой стороны улицы возвышаются над деревьями два типично городских здания — школы Валдгейма: десятилетка (ею уже много лет руководит один из старейших жителей этого села, заслуженный учитель РСФСР Исаак Абрамович Пришкольник). Во втором здании помещается школа-интернат, там живут и учатся дети окрестных деревень.

Справа, рядом с магазином, совсем недавно поднялось еще одно двухэтажное здание. На первом этаже, судя по вывескам, находится комбинат бытового обслуживания, стоматологический кабинет. Весь верхний этаж занимает правление колхоза.

Чуть подальше строятся коттеджи для колхозников.

С дальнего края деревни донеслось растянутое «ку-ка-ре-ку». Тут же со всех концов откликнулись петухи. Где-то промычала корова. Звуки эти испокон веков напоминали о пыльных или грязных проселках, соломенных крышах. И как-то плохо сочетаются эти древние звуки с асфальтом и кирпичными строениями. Деревня ли это? Да, новая деревня. И какое-то своеобразное, радующее сочетание есть в этой новизне...

Улица была пустынной. Люди ушли в поле, на фермы.

Над входом в правление надпись:

«За победу в социалистическом соревновании и в ознаменование 50-й годовщины Великого Октября колхоз «Заветы Ильича» 21 октября 1967 года награжден памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Знамя оставлено в колхозе на вечное хранение, как символ героического труда».

Такова визитная карточка колхоза.

Дверь правления была еще закрыта. На улице показался невысокий, грузноватый человек в темной, будничной одежде — главный зоотехник колхоза Шимен Ходос.

Я спросил о Пеллере.

— Он еще где-то в бригадах, — ответил Ходос. — Скоро будет.

Подкатил и остановился у правления колхоза мотоцикл. На нем восседал высокий мужчина с узко сощуренными глазами на широком лице.

— Нет еще? — подмигнул он в сторону закрытой двери.

— Нет, — ответил Ходос. — Что так рано, Смолько?

— Нужно подписать наряд, — ответил тот. — Я сейчас вернусь.

Мотоцикл с ревом сорвался с места и помчался вверх по пустынной улице.

Явился колхозный бухгалтер Панич и открыл дверь. По чисто вымытой лестнице мы поднялись на второй этаж. Я зашел к Ходосу в кабинет. Сразу же зазвонил телефон, и главный зоотехник принялся кому-то долго разъяснять, что только сегодня — обязательно сегодня — нужно отослать в город, на приемный пункт, те пять бычков, о которых шла речь вчера, когда он, Ходос, был на ферме, — этих бычков в его присутствии и отобрали вчера специально для этой цели. Он предупредил, чтобы ни в коем случае не брали ни одного из тех бычков, которых нужно пока попридержать для дальнейшей прибавки в весе.

Положив трубку, Ходос сказал:

— Все мало! Четыре года назад мы продали государству пятьсот пятьдесят центнеров мяса. Этого было мало. В прошлом году сдали две тысячи шестьсот пятьдесят центнеров — чувствуете разницу? — и все мало!

Нет, он ни на что не собирался сетовать, он просто хотел лишь пояснить, как повышается с каждым годом продуктивность, и тут же показал это на нескольких примерах.

— В начале пятилетки, в 1966-м, — сказал он, — общая прибыль колхоза составила шестьсот тысяч рублей. В 1969 году мы уже имели прибыль в миллион девятьсот тысяч рублей. Эти девятьсот тысяч — без малого миллион! — дало животноводство.

А в этом году, — с уверенностью добавил Ходос, — мы только от одного животноводства будем иметь больше миллиона.

— Так вы же миллионеры!

— А что вы думали? — рассмеялся Ходос. — Думали, мы бедные родственники? ..

Он поднялся с места.

— Пойду посмотрю, Пеллер уже должен быть здесь.

Я некоторое время оставался в кабинете Ходоса, но, видя, что он долго не возвращается, вышел в коридор, отыскал председательский кабинет и вошел туда. Кроме Пеллера и Ходоса здесь уже собралось порядком людей, среди них был и Смолько.

Пеллер сидел за столом у окна. Заметив меня, он сделал извиняющийся жест — придется, мол, подождать. Я, тоже жестом, его успокоил: ничего, посижу, мне здесь будет интересно.

Кабинет длинный, просторный, у стен удобные кресла.

По обе стороны от Пеллера сидели двое молодых людей, и мне почему-то сразу бросилось в глаза заметное сходство между ними, хотя тот, что сидел справа, был светловолос, а тот, что слева, — брюнет. И оба они мне очень напоминали кого-то третьего. Но кого?

Когда я вошел в кабинет, Ходос что-то объяснял присутствующим. Очевидно, как только он появился здесь, его втянули в разговор, и он не мог уже вернуться ко мне и сказать, что Пеллер здесь.

Разговор шел о сооружении установки для размола травяной муки — хорошего витаминного корма для скота. Установка, собственно, была готова, но над пуском ее предстояло поработать электрикам.

Пеллер, обращаясь к молодому человеку, сидевшему справа от него, спросил:

— Как ты считаешь, Арон Ехилович?

Потом повернулся влево:

— А ты что скажешь, Борис Ехилович?

«Вот оно, сходство, — подумал я, — да это ведь братья Рак! И как они оба похожи на отца — первого тракториста в Валдгейме Ехиела! Он оставил хорошую смену. Арон — заместитель председателя колхоза, Борис — главный инженер».

В обсуждавшемся вопросе братья придерживались противоположных мнений.

Арон сказал:

— Эту работу мы вполне можем сделать собственными силами.

— Надо пригласить специалистов из города, — возразил ему Борис и добавил: — Я уже договорился с бригадой, они быстро все сделают.

— А я думаю, — продолжал Арон, — мы можем положиться на наших колхозных электриков и сэкономить кругленькую сумму.

Во время этой дискуссии Пеллер молчал, ничем не выдавая, на чьей он стороне, но при последних словах Арона заметил:

— Это главное. — И спросил у Бориса: — Сколько они просят?

— Шестьсот рублей.

— Шестьсот рублей! — ужаснулся Пеллер и уже сердито заговорил: — А ты не пробовал сосчитать, сколько капусты, к примеру по четыре копейки за килограмм, должен продать колхоз, чтобы получить такую сумму?

— Я хотел как лучше, — ответил Борис.

— Не всегда дороже лучше, — вставил Арон.

— Хорошо мы будем выглядеть, нечего сказать, — сердился Пеллер, — если начнем кидаться колхозными сотнями. Нет, Бориса я понимаю: колхоз богатый, миллионер, почему же и не позволить себе? Миллионеры-то мы действительно, но колхозную копейку надо беречь! Арон, ты не прикинул, во что это обойдется, если взяться собственными силами?

— Раз в пять дешевле.

— Ну, вот решили: делать будем собственными силами. Веселов здесь? — спросил Пеллер.

В эту минуту на пороге появился невысокий, пожилой, крепкого сложения мужчина в сапогах, с въевшейся угольной пылью на лице.

Он сел с виноватым и в то же время каким-то вызывающим видом.

Пеллер с минуту молча смотрел на него, потом с очень мягкой и вместе с тем строгой интонацией произнес:

— Вася...

Так отец, узнав о проказе своего сына, обращается к нему с укоризной.

— Вася, ты даже не пробуй отговариваться. Ты понимаешь, что дальше так продолжаться не может?

— Ну, было... Ну, после обеда уж... Что ж такого? Пеллер помрачнел.

— Вася, хочешь, позову свидетелей? Ты целый день с утра пил, и по твоей вине не вышел в поле трактор. Веселов молчит.

— Ну хорошо, — продолжал Пеллер, — самого себя ты не жалеешь, портишь себе жизнь, но почему ты еще подбиваешь на это родного сына? Ты же вместе с ним пил?

— Сын не отвечает за меня, а я — за него.

— Э, нет, — повысил голос Пеллер, — за сына-то ты как раз в ответе. Так вот: будешь пьянствовать — нечего тебе больше делать ни в кузнице, ни в колхозе. Слышишь?

— Могу уйти хоть сегодня, — огрызнулся Веселов.

— Не руби сплеча, Вася. Слушай, что тебе говорят. Такими заработками, как твои в колхозе, не швыряются. Ты можешь здорово испортить себе жизнь, если не поймешь, чего от тебя хотят.

Веселов молчит.

— Так вот: если еще хоть раз увижу тебя пьяным...

Колхозный кузнец, получив изрядную нахлобучку, покинул комнату, и Пеллер совсем другим тоном, тихо сказал:

— Его, конечно, можно было наказать как следует. Но человек столько лет работает в колхозе, и у него золотые руки... Борис, — обратился он к главному инженеру, — возьми его под свою опеку — гляди, чтобы такое больше не повторялось.

— А сейчас у меня вопрос к тебе, — повернулся Пеллер к Смолько, механику, — известно ли тебе, что вчера бригада твоя приступила к работе на час позже, а оставила работу на час раньше?

— Не может этого быть!

Пеллер некоторое время молча, строго глядит на Смолько.

— К сожалению, это так. Вчера я был у тебя в бригаде и утром, и вечером.

Смолько молчит.

— А почему работа на ферме до сих пор не закончена?

Смолько вскакивает с места:

— Неправда, закончена. Вы не в курсе. Вот Борис Ехилевич знает...

Это уже было слишком — сказать Пеллеру, что он не в курсе. Но Пеллер совершенно спокойно спрашивает:

— Когда закончили?

— Вчера.

— А, вчера. А я был там позавчера. Что же, сегодня посмотрю.

На этом планерка закончилась, и мы с Пеллером наконец остались в кабинете одни.

— Теперь мы можем поговорить, — сказал он и взглянул на часы. — Только не очень долго. К одиннадцати я должен быть в Биробиджане — пленум райкома.

И очень просто добавил:

— Я сегодня с четырех утра на ногах.

— С четырех? — удивился я.

— Старая привычка. Четыре часа — и меня словно кто подбрасывает на постели... Всюду надо поспеть. Вот, вы слышали, здесь шла речь о дисциплине в бригаде Смолько. Это не с бухты-барахты.

— А что за человек Смолько?

— Мастер какого поиска! — ответил Пеллер как ни в чем не бывало.

«Вот главное, что он ценит в человеке, — подумал я, — мастерство, умение и желание работать. А лишнее, пусть даже обидное, слово не в счет».

— А когда вы ложитесь спать? — спрашиваю я.

— Когда в двенадцать ночи, когда и в час. Редкий вечер выдается ведь без собрания, совещания. Домой приходишь поздно. Ну, и в газету тоже надо заглянуть...

— А как со здоровьем?

Он долго молча смотрит на меня, — я, очевидно, затронул «больной» вопрос.

— Не то, что было. Сердце...

Мне известно, что в прошлом году его положили в больницу и он оттуда сбежал. Напоминаю ему об этом случае.

— Вам тогда это гладко сошло?

Он смеется.

— Чудак человек, это меня спасло! Представляете — весна в разгаре, сев, а я лежу и ничего не делаю. Да я бы погиб там. Но, — добавляет он, вынимая из кармана трубочку с валидолом, — если приходится носить с собой такой «патрон», это не годится...

Когда-то носил он другие патроны.

В Сталинграде было так. Шел бой за трехэтажный дом. Сражались уже внутри — в комнатах, коридорах, на лестнице. Наши солдаты оттеснили гитлеровцев на третий этаж. У обеих сторон истощились патроны, дрались врукопашную. Пеллер распахнул дверь в одну из комнат — четверо немцев. Одного он сразу уложил, трое на него бросились. Через некоторое время подоспели наши солдаты и видят — Пеллер в комнате один.

— Где фрицы?

— Поглядите во двор. Я их выбросил в окно...

Те времена и имеет в виду Пеллер, когда на вопрос о здоровье отвечает: «Не то, что прежде...»

3

Родился он в маленьком местечке Ольгополь на Украине. Отец его был кузнецом, росло у него четверо сыновей. Один погиб на фронте.

До службы в армии Пеллер работал в ольгопольском колхозе. Служил он на границе, на Дальнем Востоке, и после демобилизации остался там, поселился у Амура.

Я спрашиваю его о родителях.

— Отец еще до войны умер. А мама, — это имя он произносит с особой нежностью, — мама живет со мной, ей восемьдесят девять лет.

Мне интересно знать, как ее зовут.

— Гитл, — отвечает он.

Сам Пеллер — отец большого семейства: три дочери и сын. Все они имеют уже свои семьи. Они живут и работают тут же, в Валдгейме.

Оказывается, Пеллер, этот сильный, практичный человек, — мечтатель, да еще какой! Это открытие я делаю для себя, когда у нас заходит разговор о нынешних делах колхоза, его перспективах.

О чем же мечтает Пеллер?

— Зерновых снимаем мы сейчас по двадцать центнеров с гектара, — говорит он. — Для наших мест это не так плохо, но мы должны снимать минимум по двадцать пять. Должны добиться двухсот пятидесяти центнеров картофеля с гектара, овощей — до трехсот пятидесяти центнеров. Ну, и еще нам необходима большая птицеферма.

И прибыли хотя бы четыре миллиона в год, вместо нынешних двух. Это все необходимо, потому что...

Пеллер закуривает и продолжает:

— Колхоз должен государству около двух миллионов долгосрочного кредита, и мы выплачиваем по пятнадцать тысяч рублей ежемесячно. Прибавьте расходы на капитальный ремонт, другие необходимые расходы, и вот остается всего ничего! Это значит — топтаться на одном месте. Ну, а на какие средства расти дальше? Вот поэтому нам и нужно четыре миллиона в год. При четырех миллионах, — продолжает Пеллер свои подсчеты, — можно свободно выплатить кредиты, около миллиона оставить в неделимом фонде, двести тысяч вложить в капитальный ремонт, и еще останется немало средств на строительство, интенсификацию хозяйства. Животноводство у нас обеспечено нужными постройками и оборудованием. Можно продолжать строить новые жилые дома со всеми удобствами для колхозников, улучшать их быт.

Вот это главное, о чем мечтает Пеллер. Но он бы не был Пеллером, если бы мечты его не имели под собой надежной основы. Мечты эти зафиксированы в плане, и не только зафиксированы. Оказывается, помещение для птицефермы уже почти готово. И вольеры уже тоже заказаны, хотя Пеллеру это далось не так легко. Благодаря этим вольерам можно будет уже с самого начала завезти на ферму не восемь тысяч кур, а тридцать тысяч.

— Вообще эта ферма, когда она вся целиком будет готова, — говорит Пеллер, — рассчитана на семьдесят тысяч кур. Они будут давать в год до пятнадцати миллионов яиц и пятидесяти тонн мяса. Чистая прибыль от фермы составит почти миллион!

— Это и будет один из тех двух, которых недостает вам до четырех миллионов?

— Да. А второй миллион дадут повышенные урожаи, животноводство. Но ради этого мы сейчас стараемся работать так, чтобы себестоимость всей продукции была как можно ниже. Кое-чего мы в этом отношении достигли.

— А как отражается растущая прибыль на заработках, на жизненном уровне колхозников?

О, об этом Пеллер рассказывает с особенным удовольствием — о стиральных машинах, телевизорах, мотоциклах, о современной мебели, которую можно уже сей-

час увидеть почти в каждом колхозном доме, о том, как одевается деревенская молодежь.

— Вы ее от городской не отличите! Впрочем, при теперешних заработках колхозников, — добавляет он, — это не удивительно.

Ему приятно рассказывать и о заработках колхозников:

— Овощеводы получают у нас по сто сорок рублей в месяц. Шофер зарабатывает сто — сто шестьдесят, доярка — сто восемьдесят, тракторист — до двухсот рублей. Можно жить!

В кабинет вошел Арон Ехилович. Увидев, что мы еще заняты беседой, он повернулся, чтобы уйти.

— Подожди минутку, — остановил его Пеллер, — я должен поговорить с тобой об одном деле.

— Знаю, — ответил тот, — я за этим как раз и пришел.

Спрашиваю у Пеллера, когда отходит в город автобус.

— Автобус? — переспрашивает он и поворачивается к заместителю: — Машина на месте?

— Да, — отвечает тот.

— Отвези, пожалуйста, товарища в город. Приедешь, тогда мы поговорим.

Я пожимаю на прощанье большую и твердую руку Пеллера.

...Мы едем в колхозном «газике». Молодые дубки, что раньше неслись навстречу, теперь убегают назад. Со стороны приглядываюсь к светловолосому молодому человеку, сжимающему в руках баранку. Продолговатое лицо, длинный нос, серые глаза смотрят чуть исподлобья, — до чего же он похож на своего покойного отца Ехиела Рака. Я рассказываю Арону, как отец его вез меня когда-то в кабине грузовика по разбитому шоссе и как он сказал: «Это рай по сравнению с тем, что мы здесь застали в тридцатом году...»

Арон улыбается. Он говорит:

— Послезавтра я должен быть в Благовещенске.

— Командировка?

— Нет, собираюсь поступать в сельскохозяйственный институт. Буду сдавать экзамены.

«Газик» останавливается. Мы прощаемся. Я желаю Арону успехов в учебе.

А с Пеллером у нас была еще одна неожиданная встреча.

Спустя несколько дней после того, как я побывал у него в правлении колхоза, Еврейский народный театр в Биробиджане показывал новую постановку — «Вечер Шолом-Алейхема». В программу вечера входила и одноактная пьеса «Люди».

Я увидел во время антракта в фойе Пеллера. Он стоял довольный, радостный, в темном костюме, на котором сверкала Золотая Звездочка.

— Какими судьбами вы тут очутились? — спросил я.

— Вы один, что ли, — улыбнулся он, — почитаете Шолом-Алейхема?

— Но как удалось вам выкроить свободный вечер?

— Когда нужно, выкраивают.

Мы немного поговорили, и Пеллер извинился — в буфете его ждала жена.

Я смотрел ему вслед, когда он уходил, и думал о том, что он оказался здесь очень к месту, Владимир Израилевич Пеллер, на постановке пьесы, в которой Шолом-Алейхем когда-то с такой душевной болью высказал свою тоску по тем временам, когда люди станут настоящими людьми...

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Ясность. Перевод Л. Ген	7
На полном ходу. Перевод автора	136

РАССКАЗЫ

Комсомольцы. Перевод М. Шамбадала	199
Золото. Перевод М. Шамбадала	209
Сызнова. Перевод М. Шамбадала	225
Другая концовка. Перевод Л. Ген	236
Проводы. Перевод С. Колосовой	241
Новый секретарь. Перевод автора	256
Пэрл и Ной. Перевод Н. Фридмана	262
Два рассказа. Перевод Л. Ген	281
Люди идут по утрам на работу. Перевод Н. Фридмана	292

НОВЕЛЛЫ

Весенний этюд. Перевод Н. Фридмана	303
Красота. Перевод Н. Фридмана	307
Старики. Перевод автора	312
Клены. Перевод автора	316
Музыкальная новелла. Перевод Н. Фридмана	320
Внучка. Перевод Г. Рабинкова	328
Розовое и голубое. Перевод автора	331
Жизнь. Перевод Н. Фридмана	333
Настоящие люди (очерк). Перевод Л. Ген	336

МИЛЛЕР БОРИС ИЗРАИЛЕВИЧ

ЯСНОСТЬ

М., «Советский писатель», 1974, 352 стр. План выпуска 1974 г. № 211.
Художник И. А. Литвишко. Редактор В. П. Максимов.
Худож. редактор Д. С. Мухин. Техн. редактор З. Г. Игнатова.
Корректор С. И. Малкина.

Сдано в набор 3/I 1974 г. Подписано в печать 8/V 1974 г. А 02266.
Печ. л. 11,0 (18,48). Уч.-изд. л. 18,15. Бумага 84×108¹/₃₂, тип. № 3. Ти-
раж 30 000 экз. Заказ № 41. Цена 77 коп.

Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнезников-
ский пер., 10. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская ти-
пография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Со-
вета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.